

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1973

СОДЕРЖАНИЕ

А. В. Десницкая (Ленинград). Проблемы исторической диалектологии албанского языка	3
<i>ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ</i>	
И. Р. Гальперин (Москва). О понятиях «стиль» и «стилистика»	14
А. И. Ж у р а в с к и й (Минск). О некоторых различиях между письменной и разговорной формами белорусского литературного языка	26
Л. П. К р ы с и н (Москва). К социальным различиям в использовании языковых вариантов	37
Л. С. Б а р х у д а р о в (Москва). К вопросу о поверхностной и глубинной структуре предложения	50
Р. К. П о т а п о в а, Н. Г. К а м ы ш н а я (Москва). Слогоделение с позиций сегментирующей функции речи	62
<i>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</i>	
М. Н. Б о г о л ь б о в (Ленинград). Арамейская законодательная надпись Ашоки из Афганистана	71
Е. И. Ц а р е н к о (Донецк). К функциональной характеристике ларингальности в языке кечуа	78
В. Е. Ш е в я к о в а (Москва). Актуальное членение повествовательного предложения в английском языке	90
В. Н. Х о х л а ч е в а (Москва). Некоторые вопросы теории словообразования	99
<i>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
<i>Обзоры</i>	
К. И. Л о г а ч е в (Ленинград). Проблема новогреческого литературного языка в постановке основоположников новогреческого языкознания	105
А. П. С к о в о р о д н и к о в (Красноярск). О критерии эллиптичности в русском синтаксисе	114
<i>Рецензии</i>	
И. С. И л ь и н с к а я (Москва). <i>С. И. Ожegov</i> . Словарь русского языка	124
Ю. С. М а с л о в (Ленинград). <i>С. Д. Кацнельсон</i> . Типология языка и речевое мышление	126
У. Я. Е д л и н с к а я, В. Л. К а р п о в а (Львов). «Гістарычная лексікалогія беларускай мовы»	131
З. П. К о м о л о в а, А. Е. К а р п о в и ч (Ленинград). <i>J. Praninskas</i> . Trade name creation	136
Н. М. Т е р е щ е н к о (Ленинград). «System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe». I	138
Н. И. Л е т я г и н а, Д. М. Н а с и л о в (Ленинград). <i>В. И. Рассадин</i> . Фонетика и лексика тофаларского языка	142
Т. Г. В и н о к у р (Москва). <i>К. Кожевникова</i> . Спонтанная устная речь в эпической прозе	145
<i>НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ</i>	
Хроникальные заметки	150
РЕДКОЛЛЕГИЯ:	
<i>О. С. Азманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,</i>	
<i>Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),</i>	
<i>Б. А. Серебrenников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),</i>	
<i>О. Н. Трубочев, Ф. П. Филин (главный редактор), Г. В. Церетели, В. Н. Ярцева</i>	
Адрес редакции: Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55	

А. В. ДЕСНИЦКАЯ

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ
АЛБАНСКОГО ЯЗЫКА

I. История албанского языка неотделима от его диалектологии, так как на протяжении многих веков язык этот существовал только в устной форме как совокупность более или менее близких диалектов. До недавнего времени албанские диалекты были почти не изучены, и научный подход к языку в целом, опиравшийся на ознакомление лишь с одним-двумя из его территориальных вариантов, оставался по необходимости ограниченным в своей значимости.

К настоящему моменту изучение лингвистических ландшафтов Албании значительно продвинулось вперед, главным образом благодаря широким масштабам работы, развернутой диалектологами Албанской Народной Республики, которые создали серию типовых описаний говоров различных районов страны. Если считать основной формой научной фиксации территориальных наречий создание лингвистических карт, то сейчас уже созданы необходимые предпосылки для организации такого рода работ. Составление лингвистического атласа Албании в настоящее время является вполне реальной задачей. Следует заметить, что добытые исследованием факты уже сами по себе дают значительный материал для обобщений и выводов лингвогеографического порядка.

Диалектология албанского языка сложилась как историческая дисциплина, и в этом ее большое теоретическое значение. Наряду с описанием диалектных фактов осуществляется их историческая интерпретация, проводимая путем сравнения с данными памятников раннеалбанской (начиная с XVI в.) письменности. Исследованиями проф. Э. Чабея, соединившего филологический подход с лингвогеографическим, открыта новая страница в изучении истории албанского языка.

Для языка с относительно поздней и ограниченной письменной традицией историческая диалектология является неопределимым источником сведений о предшествующих этапах его развития, особенно если есть возможность соотнести лингвистическое членение диалектных областей с фактами истории народа. Изучение диалектов, определение связей и различий между ними, обусловленных конкретной географической и социально-исторической средой, позволяют значительно обогатить сумму сведений по истории албанского языка, необходимую для понимания общих закономерностей и специфических деталей сложения его фонетической системы, грамматического строя и лексического состава.

II. К задачам исследований в области албанской исторической диалектологии относятся: определение исторических основ диалектного членения, установление относительной хронологии явлений, лингвистическая интерпретация языковых изменений и языковых движений, воссоздание социально-исторических контекстов, в рамках которых осуществлялись языковые движения (пути распространения инноваций, создание обобщенных типов речи — койне, взаимодействие диалектов).

Рассмотрение диалектного членения албаноязычного ареала, естественно, начинается с констатации общей схемы: две большие диалектные области (гегская и тоскская) и полоса смешанных говоров между ними. Более сложным представляется внутреннее членение каждой из основных диалектных областей. Особенно сильно расчленена гегская область, в пределах которой можно выделить несколько больших диалектных районов, а внутри каждого из них — локальные центры иррадиации отдельных явлений, а также окраинные участки, смыкающиеся с периферией соседних районов. Значительно слабее выражена дифференциация в тоскской диалектной области, для которой в основном характерна непрерывность постепенного накопления немногих различительных признаков по сплошной территории единообразного в целом типа речи.

Длительность процесса формирования двух основных диалектных зон является неоспоримым фактом истории албанского языка. Внутри этих зон в свою очередь действовали с разной степенью интенсивности процессы образования и распространения новых различий. Различия между тоскской и гегской областями выражаются не только в наличии специфичной для каждой из них суммы признаков фонетического, морфологического и лексического порядка, но также в территориальном распределении этих признаков, а следовательно — в самом характере лингвистической карты. Значительная расчлененность гегского ареала и отнесенность единство тоскского явились следствием причин социально-исторического порядка; в известной мере они связаны также с особенностями географических ландшафтов северной и южной частей страны.

В поисках объяснения типологических различий, характеризующих конфигурацию диалектных отношений на отдельных участках албанской территории, необходимо учитывать многообразие форм речевого общения, связанных с длительным сосуществованием в прошлом нескольких общественных укладов и типов хозяйства. Древние родоплеменные отношения с присущими им своеобразными типами речевых связей; объединения территориального характера, возникавшие в условиях феодального общества; отгонное скотоводство, предположившее сезонные перемещения с гор на равнины; рост городов, становившихся центрами экономического притяжения для обширных сельскохозяйственных районов; развитие экономических и культурных отношений между областями — все эти разнородные факторы по-своему определяли процессы диалектного развития в сравнительно небольшой, но очень разнообразной по природным условиям стране.

Результатом историко-диалектологических исследований албанских лингвистов, в первую очередь Э. Чабея, является установление следующих важных положений: 1) албанский язык средневековой эпохи имел более единообразный характер, чем в настоящее время. Основные диалекты (гегский и тоскский) были тогда, по-видимому, ближе один к другому и в большей степени выявляли общий тип языка; 2) характерные явления, разделяющие в настоящее время гегский и тоскский, выкристаллизовались не сразу и не все одновременно, но развивались постепенно; в значительной части их можно считать относительно новыми. Для многих из них мы в состоянии определить время возникновения, установить относительно точную, а иногда и абсолютную хронологию¹.

Э. Чабей полагает, что преобладающее количество инноваций, главным образом фонетических, возникло в гегской диалектной области в первые века турецкого владычества. Инновации эти распространялись из центральных областей и не захватили некоторых периферийных зон.

¹ См. об этом: E. Ç a b e j, Gjon Buzuku, «Buletin për Shkenecat Shqërore», Tiranë, 1955, 2, стр. 81.

Данные исторической диалектологии действительно показывают, что некоторые из явлений, характерных для гегского и тоскского диалектных типов, развились и сгруппировались в пучки специфических признаков в сравнительно недавнее время. Аналогичные наблюдения могут быть сделаны и в отношении образования диалектных различий внутри каждой из двух больших диалектных областей. Поэтому не приходится удивляться тому, что историческая диалектология албанского языка естественным образом оказалась ориентированной на изучение диалектных явлений и отношений, складывавшихся на протяжении последних четырех столетий. Сравнительная обзорность свидетельствующих эту близкую историю диалектных фактов, возможность обращения к письменным памятникам XVI—XIX вв., а также относительная доступность сведений общеполитического порядка, с которыми языковые факты могут быть поставлены в связь, — все это стимулирует успешное изучение этого периода истории албанского языка.

Однако в отношении предшествующих исторических периодов нерешенной остается проблема возникновения основного диалектного членения албанского языка, о древности которого свидетельствует явление ротацизма в тоскском — изоглоссы, резко разделившей албаноязычный ареал, по-видимому, еще в I тысячелетии н. э.

Основываясь на факте значительного схождения раннегегского и раннетоскского состояний, засвидетельствованного письменными памятниками XVI—XVII вв., а также исходя из относительной новизны ряда специфических особенностей гегского диалекта, албанские исследователи склонны считать, что сложившееся постепенно членение на гегскую и тоскскую диалектные области в принципе относится к новому периоду истории Албании. Такая позиция подтверждается и этнографическими данными, поскольку названия *геги*, *Гегния*, *тоски*, *Тоскерия* имели в прошлом гораздо более ограниченный круг применения: *Гегния* распространялось не на всю северную Албанию, но лишь на южную ее часть, а название *Тоскерия* исторически связано лишь с северо-восточной частью южноалбанской территории².

Однако концентрация внимания на явлениях позднего происхождения неравномерно оставляет в тени предысторию основного диалектного членения албанского языка, возникновение которого относится к значительно более раннему времени.

III. Различие ротацированных тоскских и неротацированных гегских форм до сих пор является, несмотря на свой исторический характер, наиболее релевантным и абсолютно значимым признаком диалектной принадлежности любых вариантов албанской речи. В настоящее время различие состоит в следующем: гегскому *n* в интервокальной позиции (исключения имеют свое объяснение) соответствует тоск. *r*. Например: гег. *vĕn(ĕ)*, *vĕna* — тоск. *verĕ*, *vera* «вино»; гег. *rān(ĕ)*, *rāna* (<лат. *arena*) — тоск. *rĕrĕ*, *rĕra* «песок»; гег. *i tyne* — тоск. *i tyre* «их» (род. п. мн. ч. от *ai*, *ajo* «он, она»). Так же и в тех случаях, когда неударное *ĕ* в конце или в середине слова редуцировалось и позиция *n* (*r*) уже не является интервокальной: гег. *i dashun* — тоск. *i dashur(ĕ)* «любимый; милый», гег. *dimĕn*, *dimni* — тоск. *dimĕr*, *dimri* «зима»; гег. *Shqipni* — тоск. *Shqip(ĕ)ri* «Албания».

Изменение *-n > -r-*, получившее название ротацизма, развилось и распространилось в части албаноязычного ареала, по-видимому, еще в древнеалбанскую эпоху. Для точной датировки данных не имеется, одна-

² См.: R r. Z o j z i, Ndamja krahinore e popullit shqiptar, «Etnografia Shqiptare», I, Tiranë, 1962, стр. 26.

ко важно, что славянские заимствования в основном оказались не застигнутыми этим фонетическим сдвигом, который охватил исконную лексику индоевропейского происхождения и древний слой латинских и греческих заимствований.

Ротацизм может считаться специфической инновацией одной из частей древнеалбанского лингвистического ареала. Изогlossa эта не потеряла своего значения до настоящего времени и до сих пор является основным признаком, отличающим тоскский диалект от гегского. По этому признаку начало выделения двух диалектных типов албанской речи должно быть отнесено к ранним периодам албанской истории, хотя в остальном эти типы могли оставаться очень сходными, пока позднее не произошло наследие новых различительных черт. Поскольку с этнографической точки зрения подвергается сомнению правомерность наименований «тоски» и «гегги» для соответствующих частей древнеалбанского этноса, то от наименований этих можно было бы отказаться, ограничившись чисто лингвистическими обозначениями «ротацирующего» и «неротацирующего» диалектов. Сущности дела это не меняет. Перед нами важный факт ранней истории албанского народа, получивший отражение в языке, однако в объяснении этого факта до сих пор все остается, к сожалению, неясным: характер самого звукового изменения, хронология, внешнеисторические условия диалектного членения.

Фонетические основы албанского ротацизма, имеющего себе параллель в сходных явлениях некоторых румынских диалектов, еще не получили развернутой научной трактовки. В свое время Г. Педерсен в комментариях к записям чамерийских текстов обратил внимание на своеобразный характер интервокального *n*, акустически близкого к звуку *r*³. Предполагается наличие определенной связи между ротацизмом и явлением назализации гласных. Э. Чабей, обратив внимание на то, что в тоскском при наличии ротацизма отсутствует назализация, а в гегском наблюдается обратное соотношение (есть назализация гласных, но нет ротацизма), справедливо замечает, что «это сложное соотношение не случайно, но связано с фонетической структурой албанского языка»⁴. Вероятной кажется мысль о том, что подмена сонанта *n* сонантом *r* могла быть связана с сильной степенью веляризации этих звуков. Веляризованность части согласных так же, как и тенденция к передвижению назад артикуляции некоторых гласных (в частности, назализованного *ā* в гегском), представляет собой одну из конститутивных особенностей албанского произношения, проявляющуюся в диалектах с различной степенью интенсивности. Все это остается, однако, на уровне предварительных соображений. Только специальное экспериментально-фонетическое исследование может дать необходимую основу для более или менее вероятных гипотез в отношении фонетических предпосылок и условий возникновения инновации, захватившей некогда часть албаноязычного ареала.

Изогlossa ротацизма, разделившая этот ареал на две части, указывает на существование границы языкового общения в определенный период ранней истории албанского народа. В настоящее время приходится удовлетворяться лишь самыми общими предположениями о возможных причинах имевшей место языковой изоляции — территориальный разрыв в результате переселений, внедрение иноязычного этноса, языковое смешение или что-либо иное? Если датировать возможный период осуществ-

³ H. Pedersen, Albanesische Texte mit Glossar, «Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften», XV, III, Leipzig, 1895, стр. 8.

⁴ E. Çabej, Fonetika historike e Shqipërisë, «Dispensë e botuar nga Universiteti shtetëror i Tiranës», 1960, стр. 102.

вления фонетического сдвига второй половиной 1-го и началом 2-го тысячелетий н. э., то нужно иметь в виду, что именно этот хронологический отрезок является наиболее темным в истории Албании. Иначе говоря, вопрос об основах албанского диалектного членения упирается в сложнейшую проблему исторической локализации албанского этноса на Балканском полуострове в период переселения народов и начала становления феодальных отношений. Необходимо заметить, что при исследовании этой проблемы языковые явления, отразившие в себе определенные события внешне-исторического порядка, должны иметь значение исторических фактов и соответственно приниматься во внимание. В этом отношении факт древнего членения албанского ареала, засвидетельствованный изоглоссой ротацизма, столь же значим, как и загадочное наличие древнего слоя албанских заимствований в румынском языке. Оба эти факта должны быть учитываемы при решении проблемы в целом.

Оставаясь в области гипотез, можно предполагать, что во время дальнейшего формирования албанской народности существовавшие ранее барьеры общения утратили значение и что уже в XIII—XV вв. (период албанского феодализма) конвергирующие тенденции преобладали над дивергирующими. Во всяком случае нет оснований думать, что река Шкумбини, вдоль которой в историческое время проходит граница гегской и тоскской диалектных областей, могла быть тем барьером языкового общения, который некогда создал разделение двух диалектных типов. К югу от р. Шкумбини с давних пор происходило взаимодействие двух в основном уже сложившихся диалектных типов, о чем ясно свидетельствуют описания пограничных говоров. Говоры эти представляют собой варианты смещения гегского и тоскского диалектов. Они не являются говорами переходного типа, образовавшимися в условиях лингвистической непрерывности, но каждый из них может быть определен как результат наслоения тоскских признаков на гегскую основу (например, говор района Люшни на севере равнины Мюзеке, говор района Думре к юго-западу от г. Эльбасана) или, наоборот, гегских признаков на тоскскую основу (например, говор района Сулевы и некоторых других районов на севере Тоскери). Взаимодействие говоров пограничной полосы, проходящей по центру страны, принадлежит уже к тому разделу исторической диалектологии албанского языка, исследование которого опирается на твердую фактическую основу.

IV. Сложность лингвистической карты северной части албаноязычного ареала дает основания для различий в ее интерпретации, что нашло выражение в выдвижении нескольких классификационных схем. Ниже предлагается следующая классификация гегских говоров: I. северногегские, II. среднегегские, III. южногегские говоры⁵. Каждая из этих групп имеет далее свои подразделения. В частности, в северногегскую входят: 1) северо-западные, 2) дукаджинские и 3) северо-восточногегские говоры. Особо выделяется городской говор Шкодры (в его двух разновидностях).

Классификация эта построена с учетом лингвистических признаков актуального членения североалбанского диалектного ареала. При рассмотрении явлений, присущих различным гегским говорам, в качестве отправной точки для сравнения взято понятие общегегского состояния. В соотношении с ним выделяются как инновации, так и консервативные признаки отдельных говоров. Состояние это, пройденное всеми гегскими говорами, может быть реконструировано путем их сравнительного ана-

⁵ Иную классификацию дает Й. Гъинари: 1) северный поддиалект, 2) гегский диалект центральной Албании (J. G j i n a r i, Essai d'une démarcation dialectale de la langue albanaise, Tirana, 1966 («I-er Congrès international des études balkaniques et sud-est européennes. Communications de la délégation de la R. P. d'Albanie»), стр. 22.

лиза. Результаты такой реконструкции практически почти совпадают с состоянием языка, засвидетельствованным в памятниках старогегской письменности XVI в. и первой половины XVII в. Как показывают эти памятники и как это подтверждается данными диалектологического исследования, гегский диалект обладал в то время значительно большей степенью единства, чем в последующие периоды. Инновации, нарушившие унаследованное единство гегской речи, в основном развились относительно поздно — в XVIII в., а частично даже в XIX столетии.

Во внутриязыковых отношениях северногегского ареала важную роль играло устно-поэтическое койне, сложившееся в центральных районах североалбанской горной области. Это койне с давних пор приобрело значение наддиалектной нормы, оказывавшей определенное влияние на живую разговорную речь. Североалбанское устно-поэтическое койне в основных своих признаках соответствовало старогегскому состоянию, от которого в той или иной степени отошли современные гегские говоры. Говоры отдельных горных районов северной Гегерии различаются между собой степенью близости к старогегскому состоянию, отраженному в нормах устно-поэтического языка. Эта близость устойчивее сохраняется в центре ареала и сильнее размыва инновациями на периферии. Инновации проникали из западных и восточных районов, а также с юго-востока — из среднегегской диалектной зоны.

На равнинных землях западной и восточной окраин северной Гегерии характер расселения был иным, чем в горах. Как в Шкодранской низине, так и в Косове и Метохии население деревень формировалось на протяжении нескольких столетий в основном из представителей различных североалбанских родоплеменных коллективов, спускавшихся из горных областей на равнины. Смешанным по происхождению было и население городов. Диалектная речь, первоначально соответствовавшая в своих основных чертах унаследованному старогегскому состоянию, в новых условиях расселения ее носителей оказывалась в большей степени подверженной развитию инноваций, хотя наддиалектная норма североалбанского устно-поэтического койне в старой Албании сохраняла свой престиж даже в городах.

Со своей стороны города как центры экономического притяжения для населения горных областей оказывали сильное влияние на последние не только в хозяйственном и культурном отношениях, но также и в языке. Влияние Шкодры, с одной стороны, и городов Косово-Метохийского края, с другой, исторически определили сложившееся в период турецкого владычества деление северногегской диалектной зоны на западную и восточную части.

Северо-восточная разновидность гегской речи несколько обособилась от общего северногегского диалектного типа благодаря тому, что внутренние балканские области с албаноязычным населением с давних пор входили в экономическую зону, независимую от зоны Адриатического побережья. Разобщенность отдельных областей была обычным явлением для Турецкой империи с ее слабой централизацией и неразвитой сетью путей сообщения. Для диалектного членения Албании вообще сыграло значительную роль выделение и обособление экономических зон периода турецкого владычества. В частности, резкое своеобразие среднегегского диалектного типа развилось в условиях изоляции долин рек Мати и Черного Дрина, притом при относительно высоком уровне экономического развития этих густонаселенных районов внутренней Албании.

Особую проблему составляет образование южногегского народно-разговорного койне. Благодаря концентрации населения и относительной интенсивности экономической жизни на равнинах и в городах централь-

ной Албании уже во времена турецкого владычества создались условия для выработки обобщенного типа речи. Некоторые предпосылки для этого, возможно, намечались уже ранее, в период существования средневековых албанских княжеств. Но в основном этот процесс, по-видимому, развернулся в XVII—XVIII вв. в связи с ростом городов, развитием в них ремесленного производства и усилением экономических связей между городами и селами этой части албанской территории. Благодаря тому, что все участки этой зоны были так или иначе взаимосвязаны, она представляла собой до некоторой степени единую в экономическом и культурном отношении область, которая в то же время не была замкнутой и изолированной. Открытая влияниям как с юга (со стороны Берата и Влоры), так и с севера (со стороны Шкодры), эта зона сама была очагом влияний, распространявшихся в северном, южном и восточном направлениях. Сложившись на основе эльбасанского говора, южногегское народно-разговорное койне распространилось из долины р. Шкумбини на всю приморскую зону, вплоть до Шкодры. Развитие торговли и ремесленного производства, повышение уровня сельского хозяйства на плодородных землях долины р. Шкумбини и соседних с нею районов, увеличение количества городского и сельского населения, стремление к концентрации территорий, проявившееся в политике борющихся друг с другом крупных феодалов — пашей Шкодры и Тираны, и, наконец, расширение границ государства Шкодранских Бушатов — все это способствовало утверждению значимости народно-разговорного койне, в основу которого лег эльбасанский говор, издавна славившийся в качестве образцового типа речи. Влияние стандартной формы эльбасанского говора было достаточно велико, чтобы обусловить возможность языковой концентрации на ее основе в пределах южногегского ареала. Более того, влияние сложившегося в центральной Албании южногегского народно-разговорного койне распространилось к северу и захватило город Шкодру с прилегающей к нему низменностью. Говор мусульманского населения Шкодры, в ряде своих признаков отличный от более консервативного говора шкодранских католиков, слагался под воздействием сильных языковых влияний, шедших с юга, из городов центральной Албании. Такие явления, как монофтонгизация дифтонгов $ie > \bar{i}$, $ye > \bar{y}$, $ie > \bar{i}$, а также последовательность проведения изменения $mb > m$, $nd > n$, распространились из южногегской диалектной зоны.

V. Сравнительный обзор гегских говоров, соотнесенный с географической конфигурацией и с социально-историческими характеристиками соответствующих районов северной Албании, позволяет сделать некоторые заключения об исторической динамике развития и распространения диалектных явлений в этой части страны.

При подходе с точки зрения истории языка в гегской диалектной области довольно ясно обнаруживается различие между относительно более консервативными, с одной стороны, и более интенсивно осуществляющими инновации говорами, с другой стороны. Консервативные гегские говоры в основном сосредоточиваются на севере ареала. Говоры, характеризующиеся более решительным проведением инноваций, в свою очередь группируются вокруг находящихся в центральных районах страны очагов распространения соответствующих диалектных явлений.

Зона консервации отдельных признаков старогегского состояния территориально совпадает прежде всего с горными областями, лежащими к северу от р. Дрин. Довольно значительную часть входящих в нее говоров составляют говоры горных районов. Однако в диалектном отношении область не однородна. Она включает также говоры обширного района албанских поселений на северо-востоке ареала (Косово — Метохия), и, кро-

ме того, городские говоры Шкодры, представляющие собой участок скрепления северногегских диалектных признаков с южногегскими, с давних пор проникавшими благодаря экономическим, политическим и культурным связям города с районами центральной Албании.

Наиболее устойчивой в отношении сохранения старогегских языковых форм является средняя часть северногегской диалектной зоны, обозначаемая мною как область дукаджинских говоров. В высокогорных краях Дукаджина и прилегающих к ним районах сохранение отдельных признаков старогегского речевого состояния, в частности произношение дифтонгов *ue*, *ye*, *ie* и долгого назализованного \bar{a} (без лабиализации), поддерживалось не только относительной изолированностью горцев, но также благодаря большой значимости и авторитету традиционных норм устно-поэтического койне. Язык устной поэзии, постоянно сопровождавшей жизнь албанских горцев, выступал в качестве идеальной модели, стоявшей над узлокальными речевыми вариантами. Этот идеальный тип речи, сохранивший более архаический облик, оказывал активное влияние на живой разговорный язык, содействуя сохранению в нем старых норм и сдерживая развитие инноваций. Однако локальные варианты северногегской речи все же возникали, притом преимущественно на периферийных участках диалектной зоны. Так, например, в говоре Большой Мальсии специфическое развитие получают сложные фонемы *mb*, *nd*, спорадически переходящие в глухие смычные ($mb > p$, $nd > t$). Лабиализация долгого назализованного \bar{a} в этом, как и в других говорах северногегской периферии, получила довольно широкое распространение, параллельно с обычно сопутствующей ей тенденцией к смешению сильно веларизованных *dh* [d] и *ll* [l]. Вместе с тем в этом говоре сохранилось произношение *ua*, отражающее более раннюю, чем в дукаджинском, фазу развития старогегского *uo*.

Сочетание узлокальных инноваций с некоторыми архаическими особенностями еще в большей степени характерно для говора района Краи, занимающего окраинное положение на северо-западе гегского ареала, и особенно для изолированного варианта этого же говора, получившего независимое развитие в албаноязычном селе Арбанас в Далмации.

Несколько иной характер имело развитие диалекта в северо-восточной части гегского ареала. В Косово — Метохии развились и закрепились некоторые специфические инновации, наиболее характерной из которых можно считать появление простых заднеязычных на месте старых общепалбанских сочетаний **kl*, **gl*. Но в целом говор в большей мере сохранил общие черты северногегского диалектного типа. Черты эти постепенно размываются. Однако преобразование идет не в сторону дробления на узлокальные варианты, но под влиянием общегегских народно-разговорных норм и литературного языка.

Продвижение большинства инноваций, получивших особенно широкую сферу распространения внутри гегского ареала, например монофтонгизации дифтонгов ($ue > \bar{u}$, $ye > \bar{y}$, $ie > \bar{i}$), изменения $mb > m$, $nd > n$, перехода $h > f$ (в середине и в конце слова), прослеживается в направлении с юга на север. В исследованиях по исторической фонетике Э. Чабей неоднократно подчеркивает, что эти инновации распространялись из центральной части гегского ареала, главным образом, в первые века турецкого владычества. Представляется возможным локализовать этот очаг инноваций, выделив долину реки Шкумбини с лежащим на ней городом Эльбасаном как центр, откуда шло их распространение. Это продвижение совершалось в процессе более или менее интенсивного междиалектного общения, определявшегося экономическими связями между городами центральной и северной Албании. Влияние народно-разговорного койне,

сложившегося в центре страны на базе эльбасанского говора, распространилось далеко на север, вдоль Адриатического побережья и захватило город Шкодру с окружающей его низиной.

Параллельно с этим движением, во внутренних областях Гегерии, отгороженных от морского побережья высокими горными хребтами, совершался другой, также довольно мощный процесс иррадиации диалектных инноваций. Распространением его определялись границы среднегегской диалектной области, имеющей своим центром долины рек Мати и Черного Дрина. В среднегегских говорах вся система ударенных гласных, унаследованная от старогегского состояния, подверглась сильнейшим сдвигам. Концентрация артикуляции гласных в области средних подъемов языка и явления дифтонгизации преобразили весь облик гегской речи в говорах Мати и Дибры. Существенным изменениям подвергся также консонантизм этих говоров.

Фонетические инновации особенно интенсивно проявились в центральных частях среднегегской диалектной территории и заметно ослабевают на ее периферийных участках, например на севере — в говоре Мирдиты, на юго-западе — в говоре горного селения Гур и Барде (на границе долины р. Мати с Тиранской Мальсией). Это дает возможность проследить пути продвижения языковых влияний, распространявшихся по окрестным горным районам из экономически более развитых долин рек Мати и Черного Дрина.

Среднегегский диалектный ареал значительно расширился также в восточную сторону благодаря потоку переселений в западную Македонию, направлявшемуся в основном через Дибру. Характерно, что иррадиация среднегегских диалектных явлений происходила в основном только на север и на восток, ограничиваясь внутренними областями и не выходя на полосу морского побережья, по которой двигался поток южногегских инноваций. Лишь в районах Круи и Лежской Мальсии явления, связанные с дифтонгизацией гласного *i*, частично проникли несколько западнее, что, однако, не меняет общей картины исторического соотношения двух независимых языковых движений.

Несмотря на то, что территория распространения среднегегских диалектных явлений довольно обширна (особенно если учесть албаноязычные поселения западной Македонии), продвижение этого типа диалектной речи оказалось в целом локально ограниченным и не вышло за пределы областей, непосредственно примыкающих к долинам Черного Дрина (область Дибра) и Мати. Если инновации, распространившиеся из южногегской зоны, постепенно приобрели, главным образом благодаря влиянию сложившегося в долине р. Шкумбини народно-разговорного койне, общегегский характер, то среднегегские инновации, наоборот, стали признаком обособленного и отклоняющегося от общих норм типа диалектной речи.

В турецкий период оба потока инноваций двигались, по-видимому, в значительной мере параллельно друг другу, но независимо. Их историческое значение в процессе становления общегегских речевых норм оказалось существенно различным.

Обзор основных направлений продвижения диалектных явлений внутри гегского ареала должен быть завершён указанием на процессы иррадиации гегских явлений в тоскскую диалектную область к югу от р. Шкумбини. Различные формы и степени скрещения признаков гегской и тоскской речи создали специфический облик говоров смешанного типа, широкая полоса которых проходит в центральной части страны.

VI. Характерной особенностью южноалбанского, или тоскского, диалектного ареала можно считать его относительно слабую расчлененность.

Исторически это связано с тем, что на этой территории, во-первых, не получила развития тенденция языковой дифференциации и, во-вторых, довольно активно действовали процессы языковой конвергенции.

При объяснении того, почему на территории южной Албании не создалось более или менее изолированных диалектных единиц, следует иметь в виду целый комплекс условий. В их числе известную роль играл характер географического ландшафта, однако не как самостоятельный фактор, но в связи с общими особенностями процесса общественно-экономического развития и политической истории этой части страны. В целом географический ландшафт южной Албании, несмотря на свою сложность, не создавал естественных предпосылок для изоляции отдельных областей и тем самым — для диалектного обособления. Правда, географическое членение территории не могло не получить некоторого отражения на лингвистической карте в виде более или менее обширных диалектных районов.

В период турецкого владычества, к которому в основном относится процесс формирования диалектной карты Албании в том виде, как она дошла до нас, ландшафт страны уже хранил исторические воспоминания о прошедших столетиях. Традиционны были места поселений, некоторые торговые центры, пути сообщения; традиционны были пути миграций пастушеских общин с их стадами. Однако общая картина расселения албанского народа и типов поселений окончательно сложилась именно в турецкий период, длившийся четыре столетия.

Турки не создали в Албании единого политического, экономического и культурного центра. В административном отношении албанская территория оказалась разорванной на отдельные санджаки, границы которых не раз изменялись. Однако исторический процесс консолидации и внутреннего членения отдельных частей страны совершался в основном помимо этих делений, сообразуясь прежде всего с экономическими условиями жизни населения, с его составом и уровнем общественного развития, а также с конфигурацией географического ландшафта.

Одним из ярких отличий южноалбанского ареала в сравнении с северным было образование относительно большого числа городов и крупных поселений. При этом города располагались по всей территории, будучи центрами экономического притяжения для прилегающих к ним районов. Горные районы фактически никогда не бывали отрезаны от внешнего мира. Посещение локальных торговых центров, ближних, а иногда и более дальних городов по базарным дням всегда составляли важный момент в жизни южноалбанских деревень, даже самых глубинных.

Феодальный строй в Албании в силу специфических условий его развития вообще не благоприятствовал развитию процесса диалектной дифференциации. Языковые отношения внутри южноалбанского диалектного ареала развивались независимо от политических междоусобиц, составлявших статус существования недолговечных феодальных образований. Развитие шло не по пути выделения обособленных диалектных единиц в границах феодальных владений, имевших временный характер, но в соответствии с общими тенденциями распространения и укрепления экономических и культурных связей между естественно сложившимися зонами общения.

Относительное единообразие южноалбанского диалектного типа дает основания усматривать не только вызванную социально-историческими условиями инертность тенденций к дивергенции, но и активность действия процессов конвергенции. Эти процессы в основном получили развитие уже в период заметного оживления экономики страны в XVII—XVIII вв., ознаменовавшегося ростом городов, расширением ремесленного производства и торговли. Усилилось влияние городов на окружающие

сельские районы, расширились экономические и культурные отношения между отдельными городами и областями, повысилась интенсивность общественных форм речевой коммуникации. В XIX—XX вв. эти тенденции проявлялись с еще большей активностью. В процесс речевой унификации вовлекались значительные массы городского и сельского населения.

Процесс языковой конвергенции, развивавшейся в южной Албании в XVII—XIX вв., привел к образованию на этой территории народно-разговорного койне. Это койне сложилось в пределах одной большой диалектной области, однако с рядом локальных вариантов, обусловленных географическим и экономическим членением этой части страны. Достигнутое единство послужило в конце XIX — начале XX в. основой для быстрого достижения успехов в создании южноалбанской формы литературного языка.

VII. При общем единстве диалектного типа на территории южной Албании существует все же локальная вариантность речи, не доходящая до резкого обособления отдельных диалектных районов, но все же заметная как самим говорящим, так и лингвистам. Помимо лексической вариантности, которая повсюду в Албании довольно велика, различия отмечаются в области фонетики и морфологии.

Различия в целом незначительны. Иногда они имеют характер архаизмов, задержавшихся на окраинных территориях, но в большинстве случаев это инновации, которые распространялись в разных направлениях, постепенно продвигаясь из района в район. В соответствии с этим изоглоссы отдельных явлений, хотя и выявляют общие очертания нескольких больших ареалов, не скапливаются на границах определенных участков территории и тем самым не создают диалектного обособления. Свободная и широкая сеть пересекающих одна другую изоглоссы является отражением исторических условий языкового общения на территории южной Албании, при которых не получали развития процессы дивергенции и которые, наоборот, способствовали достижению относительного единообразия речи в пределах всей диалектной области.

Основные ареалы, естественно выделяющиеся благодаря географическому членению южноалбанской территории, это — северо-западный, северо-восточный и южный. Из них первые два, представляющие вместе севернотоскский диалектный тип, обладают значительным количеством общих явлений; южный в большей мере сохраняет отдельные архаические черты, являясь в то же время областью возникновения некоторых инноваций.

Естественную границу северо-западного и северо-восточного ареалов образуют высокие горные хребты, отделяющие приморскую равнину Мюзеке и холмистую Малакастру от обширных котловин Корчи и Коломни. Границей южного ареала является р. Вийоса, пересекающая южноалбанскую территорию в направлении с юго-востока на северо-запад.

Различия, устанавливаемые при изучении отдельных участков южноалбанской диалектной области, в целом не нарушают единства типа, определяемого как общетоскский. Этот тип доминирует над локальными различиями, имеющими более или менее частный характер. Известное исключение составляют лишь ляберийские говоры, обнаруживающие своеобразные фонетические явления.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. Р. ГАЛЬПЕРИН

О ПОНЯТИЯХ «СТИЛЬ» И «СТИЛИСТИКА»

Прошло почти 20 лет с тех пор, как на страницах «Вопросов языкознания» была проведена дискуссия по проблемам лингвистической стилистики¹. Эта дискуссия, как и последовавшие за ней две конференции по стилистике — в Университете штата Индиана в 1958 г. и проведенная совместно Московским государственным педагогическим институтом иностранных языков, Институтом русского языка АН СССР и Институтом языкознания АН СССР в 1969 г., заметно оживили интерес к вопросам, выходящим за пределы формально-схематического анализа языковых фактов. Было высказано много интересных, иногда весьма противоречивых мыслей о содержании и методах стилистики, о связях ее с другими разделами науки о языке и смежными науками². Настало время еще раз поставить вопрос об основных проблемах лингвистической стилистики и попытаться обобщить накопленный опыт, уточнить объект науки лингвистической стилистики и описать пути, по которым идут исследования в этой области языкознания.

В последнее время в мировой лингвистике заметно усиление внимания к содержательной стороне языковых фактов. Гиперболизация формально-

¹ См.: ВЯ, 1954, 2—6 и 1955, 1.

² Из наиболее известных работ советских и зарубежных лингвистов можно назвать следующие: В. В. Виноградов, *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*, М., 1963; «Поэтика и стилистика русской литературы, сб. памяти академика В. В. Виноградова», Л., 1971; А. И. Ефимов, *Стилистика художественной речи*, М., 1957; И. Р. Гальперин, *Очерки по стилистике английского языка*, М., 1958; Ю. С. Степанов, *Французская стилистика*, М., 1965; E. Riesel, *Stilistik der deutschen Sprache*, М., 1959; Р. А. Будагов, *Литературные языки и языковые стили*, М., 1967; сб. «Развитие функциональных стилей современного русского языка», М., 1968; В. В. Виноградов, *Сюжет и стиль*, М., 1963; А. В. Федоров, *Язык и стиль художественного произведения*. М.—Л., 1963; сб. «Теория стиха», Л., 1968; «Проблемы лингвистической стилистики. Тезисы докладов», М., 1969; сб. «Вопросы языка современной русской литературы», М., 1971; сб. «Style in language», New York—London, 1960 (материалы конференции по лингвистической стилистике, проведенной в Университете штата Индиана в 1958 г., и среди них особенно: R. Jakobson, *Concluding statement: linguistics and poetics*); сб. «Essays on the language of literature», Boston, 1967; N. E. Enkvist, J. Spenser, M. J. Gregory, *Linguistics and style*, London, 1967; K. Hausenblas, *Zaklandí okruhy stylistické problematiky*, Praha, 1963; «Proceedings IX International congress of linguists», The Hague, 1964 (доклады по стилистике); «Actes du X^e Congrès international des linguistes», Bucarest, 1970 (доклады по стилистике); L. Doležel, *Vers la stylistique structurale*, «Travaux linguistiques de Prague», I, 1964; P. Jakobson, *Грамматика поэзии и поэзия грамматики*, сб. «Поэтика», Warszawa, 1961.

В 1967 г. в Америке начал издаваться журнал «Style», а в 1968 г. журнал «Language and style». В скором времени в Англии начнет выходить «Journal of literary semantics», в котором главным образом будут освещаться проблемы стилистики языка. Интересный сборник «Literary style: a symposium» (London—New York, 1971) содержит материалы симпозиума по стилистике, проходившего в Италии в августе 1969 г.

структурных особенностей языковых явлений, как известно, привела к недооценке плана содержания, а в крайних проявлениях — к полному его исключению из сферы лингвистики. Сейчас мы наблюдаем обратное. Содержательность микро- и макроязыковых единиц становится главным предметом наблюдения и выступает в ряде работ как ведущая, определяющая сторона и языка как системы и языка в действии. Примечательно в этом отношении замечание М. Халлидея: «Функциональная теория языка — это теория о значении, а не о словах или конструкциях»³.

Стилистика языка — наука, изучающая не только эффект речевого произведения, но и те приемы, которыми этот эффект достигается. Отсюда изучение средств языкового выражения, обеспечивающих прагматический аспект высказывания. Поэтому в сферу стилистических исследований входят как необходимый ингредиент не только онтология экспрессивно-эмоциональных средств языка, но также и способы их передачи. Таким образом, задачей стилистики в какой-то мере является изучение лингвистическими методами всего процесса коммуникации, состоящего, как известно, в порождении, передаче и восприятии сообщения. В терминах теории информации эту задачу можно было бы сформулировать следующим образом: получить такой код, который, будучи расшифрован, сообщит бы некоторую дополнительную (суперлинейную) информацию. Такая информация имеет целью вызвать желаемую реакцию получателя сообщения.

Лингвистика, изучающая единицы уровней структуры языка, в основном сосредоточивает свое внимание на формальных и смысловых характеристиках языковых единиц и, до некоторой степени, на их функционировании. Однако более глубокое проникновение в сущность языковых единиц, предполагающее учет их семантических свойств (включая их компонентный состав и их материальные характеристики), не всегда стоит в центре внимания исследователей⁴.

В области изучения лексики основное внимание главным образом уделяется устоявшейся смысловой структуре, классификациям слов, морфологической структуре слова, его традиционным сочетаниям, в то время как огромные потенциальные возможности, заложенные в природе этой основной единицы языка, остаются вне поля зрения исследователей. Слово не раз воспевалось поэтами и лингвистами. Уместно здесь привести высказывания и поэта и лингвиста, перекликающиеся между собой. Одно из стихотворения Маршака «Словарь» — «В подвалы слов не раз сойдет искусство, держа в руке свой потайной фонарь» и второе — замечание Ф. П. Филина — «Отдельное слово существует только в ряду других слов и в то же время оно является самим собой, оно не п о в т о р и м о (разрядка наша. — И. Г.). Каждое слово — особый микромир, изучить тайны которого не только необходимо, но и поучительно»⁵.

Фонетические исследования тоже ограничиваются фактами, легко выделяемыми, так сказать, лежащими на поверхности явлений, игнорируя, к примеру, такие вопросы, как звуковые повторы, ритмическая организация высказывания, паралингвистические факты звучащей речи. Точно так же и в работах по морфологии редко можно найти анализ необычных сочетаний основы и аффикса, расширения смысловой структуры

³ M. A. K. H a l l i d a y, Linguistic function and literary style, «Literary style: a symposium», London — New York, 1971, стр. 337.

⁴ Многообещающим исключением можно признать некоторые работы последнего времени, в которых содержательной стороне единиц уделяется достойное внимание. См. в особенности: С. Д. К а ц н е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972 и W. C h a f e, Meaning and the structure of language, New York, 1971.

⁵ Ф. П. Ф и л и н, О некоторых философских вопросах языкознания, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 15.

морфа, самостоятельного функционирования словообразовательных морфем и пр. Что же касается синтаксиса, то здесь исследования до последнего времени в большинстве случаев ограничивались вопросами структуры предложения и словосочетания⁶. Лишь в самое последнее время единицы синтаксиса, получившие обобщенное название сверхфразовых единств, стали предметом изучения в синтаксических исследованиях. Все же эта проблема еще очень мало разработана и до сих пор остается «падчерицей» грамматики.

Какие же проблемы обычно относятся к компетенции стилистики языка? По моим наблюдениям, их пять. Первая — это общее понятие стиля и предмета стилистики; вторая — функциональные стили языка как разновидности литературного языка; третья — особые средства языка, «...которые, обладая особой стилистической окраской, противопоставлены звукам, формам и знакам с иной стилистической окраской»⁷ — иными словами, особые приемы комбинирования языковых средств, дающие дополнительную, суперлинейную информацию; четвертая проблема — индивидуальный стиль автора как особая комбинация языковых средств, характерная для данного писателя, и, наконец, пятая — особая форма коммуникации — поэтическая речь в ее формально-структурных и смысловых особенностях.

1. Наиболее разнохарактерным представляется понимание стиля языка, стилистических средств и стилистики как науки, изучающей эти явления. Есть мнение, что стилистики как отдельного раздела языкознания не существует. Согласно этой концепции стилистические средства представляют собой не что иное, как те же фонетические, морфологические, лексические и синтаксические средства, причем им отказывается даже в своеобразии их организации. «Двустороннее единство языка и мышления, — пишет Г. В. Колшанский, — означает прежде всего полное выражение содержания в форме языка и абсолютную однозначность (разрядка наша. — И. Г.) языковых форм при передаче того или иного конкретного содержания (с учетом всех факторов — лингвистических и экстралингвистических, преобразующих общую полисемию языковых форм в однозначные конкретные высказывания)». «...исследование структурной формы высказывания должно основываться на принципиальной равноценности всех средств (разрядка наша. — И. Г.), участвующих в образовании того или иного высказывания»⁸.

Очевидно, что «глобальный анализ структуры реализации мысли»⁹ может быть осуществлен только на основе дифференциации явлений, в противном случае понятие «глобальное» представляется как нерасчлененное, а не всеобщее. Что же касается «равноценности всех средств», то надо ли доказывать, что *голова и башка* или *я не виновата и не виновата я, не виновата!* — неравноценные средства?

Многие лингвисты рассматривают стилистику как область, в которой подвергается исследованию только язык художественной литературы, и даже считают ее особой областью, лишь косвенно связанной с лингвистикой¹⁰. Некоторые из них и многие другие исследователи, закономерно занимаясь вопросами отношения средств выражения к выражаемому содержанию, незаметно, но преднамеренно переключаются на проблемы

⁶ Это хорошо видно хотя бы на примере «Граматики современного русского литературного языка», М., 1970.

⁷ Г. О. Винокур, О задачах истории языка, «Уч. зап. МГПИ», 5, 1, 1941, стр. 18.

⁸ Г. В. Колшанский, Лингвистические основы анализа языкового стиля, Проблемы лингвистической стилистики. Тезисы докладов, М., 1969, стр. 65—66.

⁹ Там же.

¹⁰ См.: «Literary style: a symposium», стр. IX—XV.

эстетико-познавательного характера. Понятие «стиль» берется чрезмерно широко и начинает захватывать психологию языка, прагматику, литературоведение и другие области знания, выходящие за пределы собственно лингвистики. Несколько варьируясь, эта концепция представлена в американской школе стилистики, которая в основном, исходя из теории бихевиоризма, рассматривает стиль как некую абстрактную категорию, несущую в себе черты индивидуальности, присущие отдельной личности.

Некоторые представители американской школы стилистики прекрасно отдают себе отчет в том, что термины «стиль» и «стилистика» многоаспектны. Так, С. Чэтмен в предисловии к сборнику «Literary style» пишет, что термин «стиль» в равной степени относится к своеобразию пользования языком индивидуума или группы индивидуумов; и к формализованным признакам определений группы текстов (включая поэтические); и к эмфатически повышенной выразительности высказывания; и к особым средствам украшения речи; и ко многим другим вопросам организации речи¹¹.

Изолированное наблюдение исследуемого явления для более глубокого проникновения в его сущность вполне правомерно само по себе. Беда в том, что иногда это ведет к абсолютизации и, в конечном счете, к фегишизации явления, которое берется при этом вне его связей с другими явлениями. Так, Л. Долежел и пражская школа стилистики, выдвигая на первый план понятие текста как связанного отрезка речи, требует независимой (autonomous) теории текста как основы стилистики¹². Согласно этому пониманию, стилистика главным образом должна заниматься разновидностями текстов, «произведенных» на одном и том же языке. Абсолютизация текста как связанного целого в отличие от набора предложений, не связанных между собой, характерна и для концепции М. А. Халлидея, который даже выделяет особую функцию языка — текстологическую¹³. Так же абсолютизирует звуковую сторону речи, разнообразие ее звучания И. Фонадь¹⁴.

Существует концепция неразличения нормы и стиля, уходящая своими корнями в односторонне утилитарную точку зрения. Стиль понимается как система правил, определяющая доступность и полное соответствие с установившимися нормами литературного языка. «Стилистика, — пишет А. М. Гвоздев, — имеет прикладной характер, обучая языковому мастерству, вырабатывая сознательное отношение к языку»¹⁵. В своей рецензии на эту работу В. В. Виноградов заметил, что автор смешивает стилистику с нормативной грамматикой. Особенно часто приходится встречаться с противоположным пониманием — стиль рассматривается как отклонение от нормы¹⁶. Почти всякое нарушение «правильности» рассматривается с этой точки зрения как стиль и, как это ни парадоксально, отклонения возводятся в ранг наиболее характерных черт стиля, определяющих его статус. Такое понимание стиля сводит на нет всякое представление о различии текстов, об индивидуальном употреблении средств

¹¹ Там же, стр. XI.

¹² L. Doležel, Toward a structural theory of content in prose fiction, «Literary style: a symposium», стр. 95 и сл.

¹³ M. A. K. Halliday, Language structure and language function, сб. «New horizons in linguistics», 1971, стр. 143.

¹⁴ I. Fonda, The functions of vocal style, «Literary style: a symposium», стр. 171.

¹⁵ А. М. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., 1952, стр. 8.

¹⁶ См.: I. Rosengren, Style as choice and deviation, «Style», 6, 1, 1972; N. E. Enkvist, On the place of style in some linguistic theories, «Literary style: a symposium»; A. Hill, Some further thoughts on grammaticality and poetic language, «Style», 1, 2, 1967; S. Saporita, The application of linguistics to the study of poetic language, «Style in language», New York — London, 1960; R. Quirk, J. Svartvik, Investigating linguistic acceptability, The Hague, 1966.

языка, о коммуникативной функции языка и о прагматике языковых построений. Все сводится, в конечном итоге, к такой зашифровке сообщения, которая требует особых усилий для его декодирования, усилий иногда бесплодных¹⁷ и чаще всего вызывающих необходимость переосмысления грамматических характеристик и смыслового содержания компонентов словосочетаний и целых предложений.

Концепция «стиль как отклонение от нормы» противостоит концепция «стиль как отбор средств языкового выражения». Здесь в основу кладется принцип частотности употребления и связанный с ним вопрос о предсказуемости и вероятности. Сами средства, отбираемые в определенных целях сообщения, представляют собой некую систему, которая, к сожалению, пока конкретной характеристики в науке не получила. А ведь важно то, что предсказуемость определяется не системой, она является результатом наблюдения, предварительных знаний о характере текста или своеобразии слога писателя. Как и представители концепции «стиль как отклонение от нормы», приверженцы односторонней концепции «стиль — отбор средств», неизбежно сужая объект наблюдений, возводят отбор средств в определяющий признак понятия «стиль».

Среди других концепций следует еще выделить абсолютизацию прагматического подхода к проблеме стиля языка. При этом стиль языка рассматривается только в плане «эффекта сообщения»¹⁸. При такой постановке вопроса исчезает лингвистический аспект и наука приобретает явно психологическое направление. «Что» и «как», обеспечивающие желаемый «эффект сообщения», остаются вне поля зрения исследователя или, в лучшем случае, затрагиваются попутно.

Разноголосицу в определении исходного понятия можно показать на примере нескольких определений стиля из многочисленных работ по стилистике. «Стиль — это свойство языка точно передавать эмоции и мысли или систему эмоций и мыслей» (М. Маррей). «Стиль — это одна из соотносительных разновидностей ее (языковой системы. — И. Г.), характеризующихся индивидуальными своеобразиями экспрессивного отбора слов, фразеологии, синтаксических конструкций, иногда произношения и морфологических особенностей» (А. И. Ефимов). «Стилистику можно определить как теорию употребления языка в эстетических целях, включая и изучение результатов эстетического употребления языка» (В. де Гроот). «Стиль — это контекстуально ограниченная вариация языка» (Н. Э. Энквист). «Стиль — это в основном процесс цитации, корпус формул, память (в почти кибернетическом смысле слова), культурное, а не эмоциональное наследие» (Р. Бартерс). «...стилистика оперирует суждениями оценочного характера» (А. Ж. Жуилан).

В нашей лингвистической литературе абстрактно-умозрительным рассуждениям о понятии «стиль» почти совсем нет места. Несмотря на закономерное и обязательное для развития науки некоторое расхождение во взглядах, в последнее время в нашей науке предмет стилистики более или менее определился. Его наиболее общая характеристика выводится из наблюдений над функционированием языковых элементов в связных отрезках речи, в котором проявляется характер отношений между ними и самая природа этих единиц. Уместно будет здесь напомнить слова

¹⁷ См., например, замечание составителя антологии современной английской поэзии К. Элота к стихам известного английского поэта В. Эмпсона: «Я выбрал стихи, которые я понимаю или думаю, что понимаю... Есть некоторые стихи, которые я совсем не могу понять» («The Penguin book of contemporary verse», selected by K. Allot, London, 1960, стр. 157).

¹⁸ См.: M. Riffaterre, The stylistic function, «Proceedings of the IXth International congress of linguists», The Hague, 1964, стр. 316—317.

К. Маркса о том, что «...свойства данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении...»¹⁹. А так как употребление, в котором наиболее отчетливо обнаруживается определенная дополнительная стилистическая информация, всегда не безразлично к самой природе функционирующих единиц, то стилистика должна опираться на изучение природы этих единиц и их взаимоотношений с точки зрения их потенциальной информативности.

Лингвистическую стилистику можно определить как науку о природе особых маркированных элементов, особых сочетаний языковых единиц, способных сообщать дополнительную информацию к основному содержанию высказывания (текста), и об отношении одних средств выражения к другим в данном типе текста. Такое определение предмета стилистики и ее задач покрывает, по сути дела, основные области ее компетенции, а именно, установление стилистических приемов, их классификацию и употребление в разных текстах и системность функциональных стилей языка, которая, в конечном счете, выявляется в соотношении одних средств выражения с другими.

Сущность стилистического явления проявляется прежде всего в его отношении к другим явлениям, причем это отношение главным образом синтагматического плана. Возьмем для примера прием²⁰, известный под названием хиазма. Его сущность может проявиться только во взаимоотношении двух последовательно расположенных, смежных предложений. Оба предложения образуют некое единство, которое, будучи разложено на составные части, т. е. на два самостоятельных предложения, потеряет свою стилистическую значимость. Не требует доказательства тот факт, что так называемые тропы, т. е. такие стилистические приемы, которые основываются на семантике слова, тоже не могут быть реализованы вне связи с другими словами. Метафора, метонимия, ирония, оксиморон, эпитет — все проявляет свою стилистическую значимость только в плане синтагматики. Некоторые явления семасиологического порядка также могут возникать только в процессе столкновения одних единиц языка с другими. И метафора — это не перенесение значения с одного объекта действительности на другой, а отношение двух типов лексических значений — контекстуального и словарного, реализуемых одновременно в определенных сочетаниях²¹. В процессе частого употребления таких сочетаний контекстуальное может закрепиться за единицей языка и стать значением словарным. В этом случае метафора перестает быть стилистическим явлением и может быть воспринята лишь этимологически.

Одновременная реализация двух значений свойственна не только значениям лексическим. И значения грамматические проявляют такую способность в определенных условиях²². Так, например, риторический вопрос или литота — это не что иное, как отношение двух грамматических значений — утверждения и вопроса или утверждения и отрицания, реализуемых одновременно. Как в лексике, так и в грамматике такая одно-

¹⁹ К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., 23, стр. 67.

²⁰ Речь идет здесь о стилистическом приеме, а не об отдельных словах, так или иначе стилистически окрашенных или имеющих эмоциональное значение (типа *бабка*, *сыночек*, *лопать*, *хулиганье* и т. п.). Такие единицы являются уже фактами словарного состава языка, но и они в соответствующем окружении могут быть компонентами стилистического приема.

²¹ Подробнее см.: и. Р. Гальперин, Очерки по стилистике английского языка, стр. 127; е г о ж е, Stylistics, Moscow, 1971, стр. 136 и сл.

²² См. интересную статью Е. И. Шендельс «Грамматическая метафора» (ФН, 1972, 3).

временная реализация двух значений опирается на нечто устоявшееся, что является как бы отправным моментом ее. В метафоре это основное, предметно-логическое значение слова во взаимодействии с контекстуальным, в риторическом вопросе — это значение вопросительного предложения во взаимодействии со значением утверждения, в литоте — это значение отрицания и значение утверждения, в антитезе — это два антонима, которые вовлекают в свои противительные отношения значения других слов в предложении. Это — онтологические свойства стилистических единиц, отличающие их от единиц других уровней.

2. Функциональные стили языка — обширная область наблюдений и исследований, в которую советская школа стилистики внесла существенный вклад.

Функциональный стиль языка — одна из разновидностей литературного языка, вызванная к жизни определенными потребностями общества в дифференциации форм языкового общения в связи с целью высказывания.

Расслоение литературного языка на функциональные стили непосредственно отражается в некоторых наиболее существенных проблемах социолингвистики. «Целесообразность коммуникации, — пишет В. Н. Ярцева, — вытекающая из потребностей общества на данном этапе его развития, является стимулом, который приводит к разграничению стилей речи, а средством их дифференциации служат различия в их отборе и комбинировании языковых фактов»²³.

Социальная обусловленность разновидностей литературного языка ясно проступает в самом термине «функциональный стиль», предложенном В. В. Виноградовым. Действительно, в основе стиля языка художественной литературы²⁴ лежит эстетико-познавательная функция, определяющая отбор языковых средств и их своеобразную комбинаторику. Основой стиля языка газеты является функция информации о событиях общественно-политической, культурной и производственной жизни. Функциональные стили языка деловых документов, научной прозы, публицистики имеют своей целью соответственно договоренность, доказательство, убеждение (пропаганду).

Определение основных, характерных черт и признаков каждого отдельного функционального стиля языка в их отличии от другого функционального стиля еще не дано с достаточной ясностью и четкостью. Отдельные работы по этому вопросу лишь выделяют то, что сразу бросается в глаза, лежит на поверхности явлений. Так, например, в определении характерных черт стиля научной прозы прежде всего указывается на терминологический аспект лексики и на строгую синтаксическую организацию высказывания, в которой преобладает гипотаксис над паратаксисом, а так называемая развернутость изложения выделяется как наиболее характерная черта этого стиля. В стиле языка художественной литературы ведущими признаками считаются образность изложения, несобственно-прямая речь как способ реалистического изображения мыслей и чувств героя, многообразие стилистических приемов в авторском тексте и некоторые другие. Стиль языка публицистики и стиль языка деловых документов тоже определяются по лежащим на поверхности фактам.

«Опыты показывают, что интуитивные представления о пяти или шести главных функциональных стилях современного русского литературного языка подтверждаются данными статистики. Вместе с тем становится

²³ В. Н. Ярцева, Шекспир и историческая стилистика, ФН, 1964, 1, стр. 34.

²⁴ Отнесение стиля языка художественной литературы к функциональным стилям представляется вполне правомерным. См. об этом также: Л. Д о л ж е л, Вероятностный подход к теории художественного стиля, ВЯ, 1964, 2.

очевидной неполнота и бедность привычных представлений о языковых стилях, в особенности об их структурных признаках и о линиях их различения и разграничения»²⁵. Недаром Ю. С. Сорокин считал возможным поставить под сомнение существование функциональных стилей языка из-за того, что многие характерные признаки одного стиля встречаются и в других²⁶.

Представляется целесообразным выделять стили языка не только по наиболее характерным и ведущим признакам, но и в каждом стиле по характеру взаимоотношений этих черт между собой, с одной стороны, и с нейтральными средствами, с другой. Например, отношение терминологической лексики и лексики нейтральной, сложноподчиненных предложений и предложений сочиненных, отношение образных средств языка к нейтральным и т. п. дает более объективную картину параметров стиля научной прозы, чем простое перечисление этих черт. Нарушение установленных отношений будет разрушать цельность данного стиля. Значительная роль в этом плане принадлежит статистическим методам²⁷.

Установление постоянных параметров каждого функционального стиля дает возможность абстрагировать данный стиль, представить его в виде конкретных правил употребления. В этой области действительно непочатый край работы. Стилистика русского языка до сих пор не имеет сведенного воедино, тщательно разработанного труда по функциональным стилям языка.

Становление и развитие стилей русского языка, равно как и стилей других развитых литературных языков, еще находится в стадии изучения²⁸. А ведь развитие литературного языка народа органически связано с развитием его стилей. В работах Р. А. Будагова, Г. В. Степанова, В. Н. Ярцевой и М. М. Гухман по романским и германским языкам и в работах В. В. Виноградова, А. И. Ефимова, Ф. П. Филина, Н. Ю. Шведовой, В. Д. Левина и др. по русскому языку можно найти много интересных данных о нормах литературного языка на каждой данной стадии его развития, об их закономерных изменениях, о борьбе различных направлений в установлении этих норм. Но и в этих и в других работах чаще всего представлены лишь отдельные очерки о возникновении того или иного стиля, его характерных чертах и области функционирования. В целом же эти вопросы можно решать только на основе выработанной теории организации высказывания.

Любой текст представляет собой ряд высказываний, в той или иной степени связанных между собой. В некоторых типах текстов смысловая связь отдельных высказываний, достаточно очевидная по самому содержанию компонентов, поддерживается еще и формально-грамматическими средствами. В других смысловая связь лишь угадывается и не поддерживается такими средствами. В третьем типе текстов смысловая связь вообще отсутствует, несмотря на наличие формально-грамматических средств связи. Такое противоречие между разрывом в плане содержания и связью в плане выражения иногда вызывает переосмысление характера отношений между отдельными смысловыми отрезками, и, в конечном итоге, намечает какие-то отдаленные смысловые связи.

²⁵ Б. Н. Головин, *Язык и статистика*, М., 1971, стр. 122.

²⁶ См.: Ю. С. Сорокин, К вопросу об основных понятиях стилистики, ВЯ, 1954, 2.

²⁷ См.: А. Я. Шайкевич, Опыт стилистического выделения функциональных стилей, ВЯ, 1968, 1.

²⁸ См. одну из немногих работ: О. А. Лептева, Внутрестилевая эволюция современной русской научной прозы, сб. «Развитие функциональных стилей современного русского языка», М., 1968.

Не вызывает сомнения тот факт, что типы связей между отдельными высказываниями в тексте во многом зависят от цели сообщения и прагматической установки. А развернутость изложения, типичная для письменного варианта литературного языка, предусматривает доходчивость или, иначе, «обратную связь» сообщения. Там, где ясно очерчена цель сообщения, средства всегда могут быть подобраны так, чтобы цель была осуществлена. А так как функциональные стили языка прежде всего предопределяются целью, то и средства для достижения определенной цели в достаточной степени объективированы в каждом отдельном функциональном стиле.

Таким образом, функциональный стиль языка можно определить как систему взаимообусловленных средств языка, направленных на достижение определенной цели сообщения, причем характер взаимообусловленности этих средств является типичным только для данного конкретного типа сообщения.

Отработанная в процессе своего развития система таких средств становится в большей или меньшей степени автоматизированной и поэтому легко воспроизводимой. Чтобы убедиться в этом, достаточно увидеть, с какой легкостью обычно пишутся деловые справки, газетные заметки, приказы и пр. Даже в поэтических произведениях, которые характеризуются деавтоматизацией средств языкового выражения, тоже можно увидеть автоматизированный прием — ритм. Вообще всякая деавтоматизация возможна только на фоне полностью автоматизированных средств. Именно отработанная, автоматизированная система связей средств выражения лежит в основе почти немедленного распознавания типа текста, т. е. функционального стиля.

3. Проблема автоматизации средств выражения подводит к рассмотрению природы и характера функционирования языковых средств, участвующих в формировании того или иного стиля. Не подвергаются ли они каким-то изменениям, вступая в отношения взаимообусловленности в каждом данном стиле? Такие исследования составляют треть из названных нами направлений стилистических работ. В них содержатся в основном наблюдения над употреблением того или иного приема у отдельных авторов. К сожалению, пока еще нет работы, где показывалась бы в обобщенном виде вариантность стилистического приема. Для этого следует провести подробный сопоставительный анализ.

В последнее время многое уже сделано в этой области, хотя формула отношения средств выражения к выражаемому содержанию еще требует своего раскрытия. Представляется весьма актуальным создать обобщающее исследование по стилистическим приемам, где будут собраны наблюдения над их функционированием, прослежен характер их изменений в процессе развития литературного языка и выявлено национальное своеобразие применения того или иного стилистического приема в разных языках.

Наблюдения над функционированием стилистических приемов показывают, что оно ограничено их онтологическими характеристиками, которые еще недостаточно изучены. Значительную помощь в этом отношении могут оказать некоторые положения теории информации и в особенности теория кода, помех, избыточности и методов декодирования сообщения.

Стилистические приемы — основной инвентарь стилистики.

Стилистический прием можно определить как типизированное и целенаправленное обобщение, «сгущение» характерных признаков в обще-

языковых выразительных средств (ср., например, стилистический прием сентенции, в основе которого лежат такие выразительные средства языка, как пословицы). Стилистические приемы являются абстракцией и могут быть моделированы в виде определенных схем и правил. Эти правила должны учитывать не только формально-структурную сторону приема, но и его содержательные признаки. Так, например, тот же прием хиазма может быть изображен правилом: $S + V + O$: $O_1 + V_1 + S_1$, где S — подлежащее, V — сказуемое, O — дополнение.

Но и здесь, где структурная характеристика превалирует, все же нужно дополнить правило содержательным моментом, а именно необходимо указать, что любой из членов инвертированной конструкции может повторить лексическое выражение соответствующего члена прямой и что в этом случае повтор не нарушит приема, хотя и придаст ему несколько иной смысловой оттенок.

Если дать правило применения приема развернутой метафоры, то оно должно быть сформулировано так, чтобы содержательная сторона была определена как ведущая, а формально-структурная дистрибуция компонентов сочетания, дающая двуплановый, контрапунктный эффект, — как подчиненный признак. Контрапунктный эффект, достигаемый многоплановой реализацией значений одного слова или смыслов двух речений, накладываемых одно на другое, или сосуществованием двух грамматических значений — одно из характерных свойств стилистического приема. В метафоре это свойство особенно заметно, но оно проявляется и в таких приемах, как перифраз, сентенция, аллюзия и других.

Подход к стилистическому приему как к представителю определенной группы стилистических средств позволит раскрыть их системный характер, их роль в системе языка.

4. Исследование языка автора или, вернее, индивидуального стиля писателя — пограничная область между литературоведением и лингвистикой. Однако каждая из этих наук, имея один и тот же предмет исследования, подходит к нему с разных сторон. Лингвиста прежде всего интересует своеобразие выбора языковых средств и системность такого своеобразия. Конечно, проблема индивидуального стиля писателя этим не ограничивается. Некоторые вопросы, выходящие за пределы чисто лингвистического анализа, все же в той или иной степени предопределяют выбор языковых средств. К ним, в частности, относятся композиция произведения, сюжет и способы его развертывания, литературная школа или направление, к которому принадлежит писатель, и многие другие. Эти вопросы — компетенция литературоведов; в исследованиях индивидуального стиля писателя, проводимых в лингвистическом плане, они могут занимать лишь подчиненное место. Лингвиста также интересует проблема литературной нормы, ее колебания, оправданные и неоправданные ее нарушения, границы этих нарушений или отступлений и ряд других вопросов, связанных с функционированием норм литературного языка данной эпохи.

Большинство работ по истории развития литературных языков разных народов основывается в значительной степени на изучении языка писателей. Само понятие литературного языка часто неправомерно сужается. Норма, как ведущий показатель литературного языка, рассматривается главным образом с морфологической и лексической сторон. Произношение и синтаксис с точки зрения их нормативов в большинстве работ как по истории русского литературного языка, так и по истории английского, французского, немецкого языков еще очень мало исследованы. Очевидно, что такое исследование, в особенности для ранних периодов становления литературных языков, может быть проведено лишь при обобщении ряда

фактов языка, представленных в произведениях разных писателей данного периода.

Не стесненные строгими канонами литературной нормы, писатели могут показать внутренние, лишь потенциально реализуемые возможности языковых единиц. Русская стилистика много сделала в этом отношении. Исследования языка Пушкина, Гоголя, Некрасова, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского, Достоевского, Толстого и других писателей не только раскрыли своеобразие их творческой манеры, но и пролили свет на возможные колебания литературной нормы.

Однако многое остается еще не сделанным. В большинстве этих работ имеется чрезвычайно интересный материал, который, к сожалению, еще недостаточно систематизирован и обобщен. Так, например, до сих пор не определена неповторимость образной системы у того или иного автора, ее отличие от образной системы других авторов той же эпохи, процесс формирования этой системы, отличие особенностей начальных периодов творчества от более зрелых и устоявшихся форм образности. Так же мало обобщены подчас тонкие наблюдения над особенностями употребления синтаксических конструкций у разных авторов, в разных жанрах художественной литературы.

Основное отличие стиля языка художественной литературы от других функциональных стилей заключается в деавтоматизации средств языкового выражения. Если языковые средства, которыми передается содержание высказываний стилей языка официального, газетного, научного, легко декодируются и поэтому в большей или меньшей степени предсказуемы, то средства языкового выражения в стиле языка художественной литературы останавливают внимание получателя информации своей оригинальностью, своеобразием, неповторимой системой взаимообусловленности. Конечно, не следует думать, что все средства деавтоматизированы. Это сделало бы сообщение трудно воспринимаемым, что, кстати говоря, характерно для ультрамодернистской поэзии. Деавтоматизация средств языкового выражения в стиле языка художественной литературы очень тесно переплетена с обычными автоматически декодируемыми средствами. Интересно отметить, что в трех разновидностях этого стиля, а именно поэзии, художественной прозе и драме, степень деавтоматизации различна. В поэзии эта степень очень высока и форма властно заявляет свои права на особое признание, которое появляется лишь после глубокого анализа ее содержательной стороны. В драме, основанной главным образом на звучащей речи — диалоге, степень деавтоматизации почти равна нулю. В художественной прозе она колеблется в зависимости от авторской манеры, его эстетического кредо, литературной школы, жанра. Но во всех разновидностях «своеобразие языка художественной литературы, неповторимая индивидуальность языка каждого крупного писателя никогда не уложится в худосочные схемы „чистых“ отношений»²⁹.

5. Область стихосложения и, шире, поэтики часто рассматривается как самостоятельная дисциплина, не составляющая органическую часть ни теории литературы, ни лингвистики. Показательно в этом отношении название книги В. В. Виноградова: «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика». Не ставя себе задачей анализ этих трех понятий, должен, однако, заметить, что стилистика, если ее понимать как раздел языкознания, который рассматривает разные формы коммуникации, их дифференциальные признаки, не может исключить стихотворную речь из сферы своих наблюдений.

²⁹ Ф. П. Ф и л и н. О некоторых философских вопросах языкознания, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 15.

Исследованием стихотворной речи занимаются и литературоведы, и лингвисты, и математики, и психологи. Для каждой специальности в ней есть свой объект исследования. Ведущим признаком этого способа передачи сообщения является его звуковая организация — ритмическая основа³⁰.

В поэтике неизбежно затрагиваются как общие проблемы стилистики в их конкретном преломлении, так и специфические проблемы, вытекающие из особой природы стихотворной речи. К первым относится своеобразие, определяемое одним из ведущих признаков стихотворной речи — ее лаконичностью, сгущенной образностью. Краткость изложения, сжатость синтаксических конструкций, большая нагруженность высказывания образностью, которая тоже в значительной степени является функцией лаконичности изложения — все это предопределяет особое отношение средств выражения к их содержанию. Закодированность сообщения здесь несколько выходит за пределы обычного, шифр общеязыкового кода не всегда легко применим. Так, например, звуковая организация высказывания представляет собой очень сложную систему связей, которые лишь опосредованно могут быть поняты с точки зрения их отношения к содержанию. Что касается специфических проблем этой области, то они, главным образом, связаны со структурой ритмико-образующих факторов и разными системами ритмической организации высказывания.

Совершенно непонятно, почему проблемы стихосложения исключаются из языкознания. Ведь ритмическая организация речевого сообщения, как и всякая упорядоченная форма речевого потока, является лишь типизацией, высокой степенью обобщения заложенных в самом языке свойств. Такие понятия, как речевая группа, синтагма, кристаллизуются в нашем лингвистическом сознании не только как некие смысловые, но и как ритмико-интонационные единства. Более крупные отрезки речевого потока будут в разной степени подчинены и физиологическим предпосылкам говорения, которые по природе своей требуют ритмического упорядочения.

И тем не менее не только стихосложение, но и стилистика в целом до сих пор не получили официального признания как разделы науки о языке. Несмотря на огромное количество работ, имеющих как теоретическое, так и практическое значение для языкознания, стилистика остается «ничейной землей». Показательно, что даже в таком обобщающем труде, как три тома «Общего языкознания» под ред. Б. А. Серебренникова (М., 1970, 1972, 1973), в котором охвачены кардинальные проблемы этой науки, стилистике как разделу языкознания не нашлось места.

Названные проблемы говорят о настоятельной необходимости системного описания стилистических средств в их историческом развитии, а также выявления связей лингвистической стилистики с другими лингвистическими дисциплинами со смежными науками. Особое значение при этом могут приобрести перспективы применения компонентного анализа, которые, безусловно, шире прямых результатов лексикологических исследований.

³⁰ Интересный сборник статей по стихосложению выпущен Институтом русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) («Теория стиха», Л., 1968). В нем большое внимание уделено методам математической статистики, без помощи которой «...современная теория стиха не может обойтись» (стр. 5). [Статьи В. М. Жирмунского, В. Е. Холщевникова, М. Л. Гаспарова, А. Н. Колмогорова, В. В. Иванова и других внесли большой вклад в разработку методики анализа стихотворной речи. В статье В. М. Жирмунского, в которой частично критикуется книга Б. Унбегауна «Русское стихосложение», хорошо показана зависимость особенностей стиха от национальной специфики языкового материала.

А. И. ЖУРАВСКИЙ

О НЕКОТОРЫХ РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ ПИСЬМЕННОЙ
И РАЗГОВОРНОЙ ФОРМАМИ БЕЛОРУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В лингвистической литературе в качестве аксиомы отмечается, что различие между разговорным и письменным стилями имеет общелингвистический характер и проявляется во всех развитых языках, однако глубина и степень подобных расхождений определяется конкретными условиями развития каждого языка. При этом из числа славянских литературных языков в качестве примера приводится чешский язык, где различие между письменной и разговорной формами ощущается больше, чем в других славянских языках¹.

В противоположность этому белорусский литературный язык можно отнести к числу таких славянских литературных языков, в которых расхождения между письменной и разговорной формами относительно невелики.

Следует, однако, заметить, что в белорусском языкознании эта проблема специально еще не изучалась, поэтому в настоящее время по ней можно высказать только некоторые предварительные соображения, которые в будущем могут получить дальнейшую детализацию.

Сравнительно незначительные различия между письменной и разговорной формами белорусского литературного языка объясняются некоторыми особенностями его исторического развития. Современный белорусский литературный язык относится к числу самых молодых славянских литературных языков. Он начал формироваться в эпоху славянского национального возрождения, но из-за неблагоприятных политических условий процесс становления его проходил значительно медленнее, чем у других славянских народов. Новый белорусский литературный язык окончательно оформился лишь в первых десятилетиях нашего столетия.

Заметной особенностью нового белорусского литературного языка является то, что он создавался полностью на живой народно-диалектной основе, вовсе не используя достижения письменного языка предыдущих столетий². Веским доказательством отсутствия прямой преемственности между старым и новым белорусским литературным языком можно считать тот факт, что новому белорусскому языку вовсе не свойственны старобелорусские книжные средства. Так, в современном белорусском языке отсутствуют лексические старославянизмы, которые в значительной мере сохраняются, например, в русском языке и были употребительны в старобелорусской письменности. Свойственные современному белорусскому языку немногие старославянизмы типа *вобласць*, *глава*, *глаголіца*, *здравіца*, *злак*, *кратны*, *млечны*, *пасрэднік*, *стражнік*, *храбры*, *храм*, *член*,

¹ Р. А. Б у д а г о в, Введение в науку о языке, М., 1965, стр. 449.

² См.: А. І. Ж у р а ў с к і, І. І. К р а м к о, Важнейшыя адрозненні паміж новай і старай беларускай літаратурнай мовай, сб. «Беларускае і славянскае мовазнаўства», Мінск, 1972.

илем, как и производные от них, заимствованы в новое время через посредство русского литературного языка ³.

Чисто народная основа современного белорусского литературного языка проявляется в том, что в нем и в настоящее время сознательно не допускаются к употреблению такие грамматические средства, которые не находят своего соответствия в белорусских народных говорах. Типичным примером в этом отношении может служить судьба в белорусском языке причастий действительного залога настоящего времени. В процессе изучения истории литературных языков выявлена закономерность: «литературный язык, даже если он основывается на каком-либо одном диалекте, никогда не остается тождественным последнему, а развивает свои собственные черты — в области фонетики, морфологии, синтаксиса и словаря» ⁴. В процессе имманентного развития большинства славянских литературных языков в них закрепились в качестве особой грамматической категории причастия действительного залога настоящего времени.

Как известно, вследствие естественного развития славянских народно-разговорных языков членные формы праславянских активных причастий изменились в прилагательные, а застывшие нечленные — в деепричастия ⁵. Такое развитие причастий имело место во всех славянских народно-разговорных языках, и белорусский язык в этом отношении не был исключением. Иное развитие получили причастия в славянских литературных языках. Как важное средство лаконичного выражения сложного синтаксического содержания, заменяющее, говоря словами А. С. Пушкина, вялые обороты выразительной краткостью ⁶, причастия были сохранены в большинстве славянских литературных языков или же восстановлены в них. Активные причастия настоящего времени широко употреблялись в старобелорусском литературном языке, где они составляли самостоятельную грамматическую категорию. Интересно отметить, что в старобелорусской письменности унаследованные из древнерусского литературного языка причастия старославянского оформления на *-у-* типа *берущий, идущий, несущий* постепенно были заменены белорусскими эквивалентами со звуком *-ч-*: *берущий, идущий, несущий*. Однако эти причастия позже оказались забытыми в связи с упадком белорусского письменного языка на исходе XVII в.

В новом белорусском литературном языке по мере развития в нем публицистического и научного стилей активные причастия также получили распространение, на этот раз уже под влиянием русского языка. Однако позже, в 20-х годах нашего столетия, под воздействием пуристических стремлений они были устранены из употребления в художественной литературе, и такое отношение к причастиям сохраняется до настоящего времени ⁷, хотя в публицистических и в особенности в научных произведениях эта глагольная форма встречается довольно часто ⁸.

Пример с историей причастий наглядно показывает, что в белорусском письменном языке весьма ограниченно развиваются такие средства,

³ См.: Н. І. Крукоўскі, Рускі лексічны ўплыў на сучасную беларускую літаратурную мову, Мінск, 1958, стр. 48—50.

⁴ Р. О т и, Языковое возрождение славян Австрийской империи 1780—1850 гг. (некоторые проблемы нормализации и образования новых литературных языков), «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй», М., 1962, стр. 53.

⁵ См.: «Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов», Київ, 1966, стр. 234 и 302.

⁶ А. С. П у ш к и н, Полн. собр. соч. в десяти томах, VII, М. — Л., 1949, стр. 439.

⁷ См.: «Граматыка беларускай мовы», I — Марфалогія, Мінск, 1962, стр. 377.

⁸ История причастий в белорусском языке освещена в кн.: Д. А. Л я о н ч а н к а, 3 гісторыі форм дзеепрыметнікаў у беларускай мове, Гомель, 1957.

которые не подкрепляются фактами белорусской народно-разговорной речи. В этих условиях в принципе не может быть существенной разницы между письменной и разговорной формами литературного языка. Тем не менее некоторые различия между письменной и разговорной формами наблюдаются и в нем.

Устная белорусская речь в настоящее время реализуется в трех разновидностях, которые находятся в разных отношениях к письменному языку: официальный стиль устного литературного языка, который используется в театре, радио, телевидении, в официальных выступлениях, лекциях, совещаниях и конференциях; повседневно-разговорная устная речь, которой пользуются говорящие на белорусском литературном языке в беседах неофициального характера, в бытовом общении и домашней обстановке; народно-диалектная речь, сохраняющаяся главным образом среди сельского населения.

Для официального стиля белорусского литературного языка характерно строгое соблюдение кодифицированных орфоэпических, грамматических и лексических норм, несмотря на то, что некоторые из них имеют искусственный характер и не соответствуют состоянию их в большей части белорусских народных говоров. В отличие от этого в повседневно-разговорной устной речи допускаются разнообразные отступления от официальных норм, в связи с чем повседневно-разговорная разновидность оказывается в большей мере отдаленной от норм письменного языка, она занимает промежуточное положение между официальной формой литературного языка и белорусской диалектной речью с уклоном в ту или иную сторону в зависимости от степени владения говорящим нормами литературного белорусского языка.

В зависимости от происхождения и распространения особенностей повседневно-разговорного языка их условно можно разделить на три основные группы: а) общеполитские явления, вызванные произносительно-артикуляционными факторами; б) явления, вызванные воздействием диалектов; в) явления, связанные с унификацией грамматических форм белорусского письменного языка.

Явления первой группы проявляются больше всего в фонетике. Так, согласно нормам белорусского литературного произношения дентальные *д* и *т* перед гласными переднего ряда в заимствованных словах произносятся твердо: *дэкада*, *дэкан*, *дэкрэт*, *дэлегат*, *дэпутат*, *тэатр*, *тэлефон*, *тэхніка*, *дызель*, *дыктант*, *дыктар*, *дынаміт*, *тыран*, *тытан*, *тытул* и т. п. В повседневно-разговорном варианте это требование, как правило, не выдерживается, такие согласные произносятся тут мягко: *дз'экада*, *дз'екрэт*, *ц'ел'ефон*, *ц'экс'ніка*. Характер произношения согласных *д* и *т* перед гласными переднего ряда усложняется тем, что это правило литературного языка имеет ряд исключений. Перед суффиксами и сочетаниями суффиксального происхождения *-ін*, *-ір*, *-ёр*, *-ец* и *-ейск-* в словах иностранного происхождения *д* и *т* произносятся мягко и на письме передаются через *дз* и *ц* (*каранцін*, *камандзір*, *акцёр*, *гвардзеец*)⁹. Но такое разграничение практически выдерживается только лицами, в совершенстве владеющими нормами литературного произношения. В речи же многих лиц, стремящихся говорить на литературном языке, но не знающих этого правила, наблюдается орфоэпический гипернормализм: под воздействием слов типа *дэлегат*, *дэкрэт*, *дырэктар*, *тэлефон* твердые *д* и *т* произносятся и в словах, где они должны произноситься мягко: *арыйентьір*, *мундьір*, *пунктьір*, *транспартьір* (вместо *арыйенцёр*, *мундзір*, *пункцёр*, *транспарцёр*) или *арыйентьірбўка*, *балатьірбўка*,

⁹ «Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», Мінск, 1959, стр. 34—35.

бамбардырбўка, камандырбўка, прайектырбўка (вместо *арыенціроўка, балаціроўка, бамбардзіроўка, камандзіроўка, праекціроўка*).

Многие отличия повседневно-разговорной разновидности обуславливаются воздействием орфографии. Такие отступления выражаются в подчеркнуто выразительном произношении всех звуков в составе слова без учета разнообразных ассимилятивных процессов, свойственных литературно-правильной белорусской речи. Под воздействием орфографии в произношении сохраняются сочетания *жс* вместо *с'с'* (*адважс'а* вместо *адвас'с'а*), *жж* вместо *жж* (*разжбўца* вместо *разжжбўца*), *жч* вместо *шч* (*грўжчык* вместо *грўшчык*), *ши* вместо *ши* (*б'ашшўмна* вместо *б'ашшўмна*), *сч* вместо *шч* (*п'ерап'ысчык* вместо *п'ерап'ышчык*), *тч* вместо *чч* (*л'бтччык* вместо *л'бччык*) и т. п.

В повседневно-разговорном варианте распространено отпадение конечного *ц'* в сочетании *с'ц'*: *йос'* (~ *ёсць*), *шэс'* (~ *шэць*), *в'ёрнас'* (~ *вернасць*), *карыс'* (~ *карысць*), *радас'* (~ *радасць*), *х'йтрас'* (~ *хитрасць*) и т. д.¹⁰

В области грамматики к этому типу явлений относятся, например, формы повелительного наклонения, в состав которых входит приставка *вы-*. Эта приставка выделяется тем, что в формах повелительного наклонения она перетягивает на себя ударение всей формы, в связи с чем конечный гласный *-i* (*-ы*), оказавшись без поддержки ударения, утрачивается в произношении. Такие формы широко употребляются во всех белорусских говорах: *выб'ер*, *выв'едз'*, *выган'*, *выкал'*, *выкруц'*, *вым'ец'* и т. п.¹¹ В письменной форме белорусского литературного языка образования этого типа употребляются с конечным *-i* (*-ы*), как и соответствующие бесприставочные формы, где окончание поддерживается ударением: *бярэ* — *выбярэ*, *вучэ* — *вывучэ*, *вядзі* — *выведзі*, *гані* — *выгані*, *заві* — *вызаві*, *кажэ* — *выкажэ*, *калі* — *выкалі*, *нясі* — *вынесі*, *пішы* — *выпішы*. Однако в повседневно-разговорной форме литературного языка такие образования произносятся, как правило, в сокращенной форме: *выб'ер*, *вывуч*, *выв'едз'*, *выган'*, *выкаж*, *выкал'*, *вын'ес'*, *вып'иш*. Вообще же употребление таких форм в разговорной речи не поддается регламентации. Выбор того или иного варианта зависит от темпа и выразительности речи. Известную роль тут играет характер основы, начало последующего слова и интонационное оформление высказывания.

В области словообразования заметную неустойчивость и разнообразие показывают глаголы иноязычного происхождения с суффиксом *-ір-*. В ранний период нового белорусского литературного языка глаголы этого разряда оформлялись по образцам польского языка без суффикса *-ір-*. В словарях белорусского языка 20-х годов нашего столетия и в практическом употреблении распространены были глаголы вроде *дэфіляваць*, *дыкусаваць*, *дысціплінаваць*, *драпаваць*, *капітуляваць*, *кампіляваць*, *кансерваваць*, *каардынаваць* и т. д. Позже в результате проникновения в белорусский язык русских словообразовательных моделей этот тип глаголов начал оформляться по русскому образцу с суффиксом *-ір-*. В итоге в современном белорусском языке сосуществует несколько разновидностей глаголов этого типа: а) без суффикса *-ір-*: *абстрагаваць*, *агітаваць*, *аналізаваць*, *апеляваць*, *групаваць*, *датаваць*, *дэкламаваць*, *дэталізаваць*, *ігнараваць*, *ілюстраваць*, *іранізаваць*, *кантраляваць*, *ліквідаваць*, *матываваць*,

¹⁰ О других случаях подобного произношения см.: Ф. Я н к о ў с к і, Беларускае літаратурнае вымаўленне, Мінск, 1960, стр. 23—27. Ср. также: «Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Фанетыка, арфаграфія, лексікалогія», Мінск, 1961, стр. 92.

¹¹ Подробнее см.: А. І. Ж у р а ў с к і, Гісторыя форм загаднага ладу ў беларускай мове, «Працы Інстытута мовазнаўства АН БССР», 4, Мінск, 1957, стр. 16.

нерваваць, планававць, рамантаваць, рэзаваць, рэгуляваць, сімуляваць, фіксаваць, цэментававць; б) с суффиксом -ір-: акупіраваць, апладзіраваць, базіраваць, блакіраваць, браніраваць, буксіраваць, вентыліраваць, газіраваць, гравіраваць, дазіраваць, дубліраваць, зандзіраваць, камандзіраваць, капіраваць, курсіраваць, лавіраваць, лакіраваць, маскіраваць, мініраваць, пазіраваць, пікіраваць, прэміраваць, фантазіраваць, фармуліраваць, фарміраваць, штудзіраваць, эмігрыраваць; в) дублетные формы с суффиксом -ір- или без него: кансервіраваць и кансерваваць, нарміраваць и нармаваць, плямбіраваць и плямбаваць.

Такая пестрая картина этих форм в письменном языке имеет следствием то, что практически совершенно нет возможности руководствоваться каким-либо критерием и определять, какие глаголы следует употреблять с суффиксом -ір- и какие без него. Даже для письменного языка этот вопрос в случае сомнения приходится решать, обращаясь к словарю. В разговорной речи допускается значительная свобода, причем в большинстве случаев отдается преимущество употреблению суффикса -ір- в глаголах, где согласно письменным нормам его не должно быть. Для повседневно-разговорной речи обычными можно считать формы *абстрагіраваць, апеліраваць, групіраваць, дэкламіраваць, ігнарыраваць, ізаліраваць, кантраліраваць* и т. п. С другой стороны, под воздействием глаголов типа *агітаваць, апеляваць, групаваць, датаваць, планававць* в разговорной речи возможны гипернормализованные формы вроде *апераваць, вентыляваць, дубляваць, маскаваць, фармуляваць, фармаваць, эвакуаваць, эміграваць*.

Все рассмотренные выше явления имеют общеполорусский характер, они проявляются вследствие недостаточного владения нормами литературного языка и не зависят от диалектного происхождения говорящих.

Вторую группу расхождений между письменной и разговорной формами белорусского литературного языка образуют диалектные черты, которые в настоящее время все еще остаются устойчивыми и накладывают значительный отпечаток на произношение лиц, стремящихся говорить на литературном языке.

В белорусских говорах очень пеструю картину имеет безударный вокализм; здесь различаются диссимилятивное, недиссимилятивное и умеренное аканье и оканье. Нормой литературного произношения считается недиссимилятивное аканье, при котором звуки *о, е* и *а* после твердых и отвердевших согласных во всех безударных слогах произносятся как *а* независимо от характера гласного под ударением¹²: *вада́, галава́, рака́, трава́*. Но для представителей северо-восточного белорусского диалекта, которому свойственно диссимилятивное аканье, усвоение недиссимилятивного аканья оказывается затруднительным, и они обыкновенно в беглой повседневной речи сохраняют особенности своего диалекта: *ва́да, гва́лава, ра́ка, тра́ва*. Представители говоров с умеренным аканьем также сохраняют особенности своих говоров: *мно́го, с'эно́, хо́че*. Для представителей северо-восточного диалекта довольно устойчивым оказывается также диссимилятивное яканье: *б'ида́, в'исна́, с'истра́* (при литературных *ба́да, ва́сна, са́стра*).

Диалектные особенности особенно заметны в области грамматического строя, причем грамматическая вариантность значительно увеличилась за последнее десятилетие, что находит свое объяснение в историко-культурных факторах. Еще первая грамматика белорусского литературного языка Б. Тарашкевича¹³, ориентированная на практику досоветских белорусских изданий и на наиболее характерные диалектные особенности,

¹² См.: «Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Фанетыка, арфаграфія, лексікалогія», стр. 88.

¹³ Б. Т а р а ш к е в і ч, Беларуская граматыка для школ, Вільня, 1918.

в значительной мере узаконила в качестве литературной нормы юго-западные грамматические черты, например, формы двойств. числа существительных жен. рода (*дзве хаце, дзве сасне*), звательные формы существительных (*браце, голубе*), окончание *-ом* для существительных муж. и ср. рода дат. падежа мн. числа (*палём, садом*), окончание *-ох* для предл. падежа существительных муж. и ср. рода мн. числа (*у палёх, у садох*), окончание *-ае* для прилагательных жен. рода род. падежа ед. числа (*зялёнае, новае*), окончание *-ма* для повелительного наклонения 1-го лица мн. числа (*будзьма, кіньма*), окончание *-еце* (*-эце*) для повелительного наклонения 2-го лица мн. числа (*бярэце, нясеце*) и др.

После первой мировой войны Белоруссия оказалась поделенной на две части и западная ее часть вошла в состав Польши, где сфера использования белорусского литературного языка была очень ограниченной. Зато в восточной Белоруссии, вошедшей в состав СССР, создались очень благоприятные условия для развития белорусского литературного языка и расширения его общественно-культурных функций. При этом многие грамматические формы литературного языка, имевшие своим истоком юго-западные белорусские говоры и ранее узаконенные грамматикой Б. Тарашкевича, оказались чуждыми для большей части населения восточной Белоруссии. Постепенно они были заменены чертами, свойственными северо-восточному белорусскому диалекту.

После воссоединения западной Белоруссии с восточной и в особенности после второй мировой войны в белорусскую литературу и вообще на арену общественной и культурной жизни Белоруссии пришло много представителей из западной Белоруссии, и это имело следствием возобновление в белорусском литературном языке некоторых грамматических особенностей юго-западных белорусских говоров. Проявление этой тенденции особенно заметно отражается на эволюции окончаний существительных род. падежа мн. числа. Набор флексий существительных род. падежа в белорусском языке вообще характеризуется большим разнообразием по сравнению с другими падежами. Тут может употребляться нулевое окончание (существительные жен. рода основ на *-а* и некоторые муж. рода: *бязроз, дарог, кніг, меж, рэк, год, салдат*), окончание *-аў* (орфографически *-аў, -яў, -оў, -ёў*) (существительные муж. и ср. рода основ на *-о*, частично существительные жен. рода основ на *-а* и существительные жен. рода основ на *-і*: *дамоў, лясоў, палёў, сёлаў, лазняў, студняў, печай, рэчай*) и окончание *-эй* (*-ей*) (существительные жен. рода основ на *-і*: *начэй, радасцей*).

В юго-западных говорах белорусского языка окончание *-аў* (*-яў, -оў, -ёў*) в род. падеже употребляется значительно шире по сравнению с литературным языком, распространяясь на существительные жен. рода основ на *-а* и *-і*: *межай, хатаў, ночаў, сенажацяў*. В соответствии с этим представители юго-западного диалекта в последнее время широко вводят в письменный язык окончание *-аў* для существительных жен. рода: *кнігаў, песняў, хатаў, косцяў, роляў, соляў*. Другие же белорусские авторы придерживаются традиционных письменных норм. Этот наметившийся в письменной практике разноречивый еще в большей мере отражается в разговорной речи.

В литературном белорусском языке в соответствии с особенностями юго-западного диалекта формы глаголов изъявительного наклонения 1-го лица мн. числа морфологически отличаются от форм повелительного наклонения: *бяром, нясём* и *бярэм, нясем*. В северо-восточных говорах нет специальной формы для повелительного наклонения, для которого используются формы изъявительного наклонения, сопровождаясь специфической императивной интонацией: *б'арбм! н'ас'бм!*. Это неразличение со-

храняется у выходцев северо-восточного диалекта и в разговорной форме литературного языка.

Основные диалекты белорусского языка противопоставляются также по употреблению глагольных форм 2-го лица мн. числа изъявительного наклонения: юго-западные *идз'ац'э*, *н'ес'ац'э* и северо-восточные *идз'иц'б*, *н'ис'иц'б*. Нормой литературного белорусского языка являются юго-западные формы, но для представителей северо-восточного диалекта в разговорной форме литературного языка обычными остаются формы типа *идз'иц'б*, *н'ис'иц'б*.

В разговорной форме белорусского литературного языка широко отражаются и синтаксические особенности основных диалектов — главным образом в структуре словосочетаний, в характере предложно-падежного управления: *с'м'айацца з йагб* — *с'м'айацца л'а йагб*; *йехац' кан'бм* — *йехац' на кан'й*; *пайс'ц'й да бац'к'и* — *пайс'ц'й к бац'ку*; *пайехац' на дрэвы* — *пайехац' у дрэвы*; *пайс'ц'й на грыбы* — *пайс'ц'й у грыбы*; *вучыцца за дбктара* — *вучыцца на дбктара*; *дайц' карбвы* — *дайц' карбў* и т. д.

Различия между письменной и устной формами белорусского литературного языка проявляются и в области словарного состава. Такие различия практически наблюдаются в каждом языке, ибо письменный язык всегда имеет значительно большее количество лексических средств по сравнению с разговорным языком. Но в белорусском языке существуют и свои специфические особенности в этом отношении, характеризующие его в большей мере, чем другие славянские языки. Так, некоторые различия между письменной и устной формами литературного языка по крайней мере для части пользующихся литературным языком имеют своим источником несовпадение средств номинации в белорусских народных говорах. Отношение белорусского литературного языка к лексическим противопоставлениям диалектов неодинаково. Юго-западная диалектная основа литературного языка проявляется в том, что в большинстве случаев письменной нормой признаются лексические средства, свойственные юго-западным говорам: ср. юго-западное и литературное *бачыць* и северо-восточное *в'ідз'ец'*, соответственно *гара* — *чардак*, *гаспадар* — *хаз'а-ин*, *качка* — *вўтка*, *кошык* — *карз'ынка*, *кураня* — *п'искал'бнак*, *лазня* — *бан'а*, *певень* — *п'атўх*, *рубель* — *жэрдз'*, *сахор* — *в'ілк'и*, *свіран* — *кл'ец'* и т. д. Второй разряд диалектных лексических средств образуют слова, которые на правах лексических дублетов одинаково употребляются в письменном литературном языке: *адрына* — *пуня*, *вясёлка* — *радуга*, *кахаць* — *любіць*, *кашуля* — *сарочка*, *мэндлік* — *бабка*, *нарог* — *лямеш*, *спязець* — *пець*, *студня* — *калодзеж*, *фурманка* — *падвода*, *хутка* — *ско-ра*, *шашок* — *тхор*, *шмат* — *многа*. К третьему разряду относятся лексические дублеты, которые оцениваются неодинаково в литературном языке: один, большей частью юго-западный, вариант признается основным, а второй, северо-восточный, — факультативным, второстепенным; в словарях он снабжается ограничительными пометами вроде «областное», «разговорное»: *бусел* — *бацян*, *ваўчыца* — *ваўчыха*, *вельмі* — *дужа*, *глабыш* — *гарлач*, *дрэва* — *дзерава*, *журавель* — *жораў*, *жывёла* — *скаціна*, *запалка* — *сярнічка*, *іржышча* — *іржэўнік*, *кветка* — *краска*, *ляшчэўнік* — *ляшчыннік*, *паяць* — *літаваць*, *серабро* — *срэбра*, *футляр* — *футарал*, *штаны* — *нагавіцы* и т. п. В большинстве случаев употребление того или иного варианта в устной форме литературного языка зависит от диалектного происхождения лица, пользующегося литературным языком.

Многие лексические различия между письменной и разговорной формами белорусского литературного языка связаны с характером развития белорусского литературного языка в 20-е годы XX в., когда особенно интенсивно складывались основные пласты книжной и терминологиче-

ской лексики. Среди языковедов и вообще культурных деятелей того времени распространилось стремление к закреплению в литературном обиходе таких лексических средств, которые не совпадают с соответствующими словами русского языка. Эта особенность развития словарного состава тогдашнего белорусского литературного языка замечена была уже в 1927 г. Н. Н. Дурново, который обратил внимание на то, что вследствие стремления части белорусских писателей порвать со всеми традициями и сделать свой литературный язык отличным и от русского, и от украинского в белорусский литературный язык, особенно в язык научной прозы, вошло много чужих элементов, не свойственных ни русскому литературному языку, ни живым белорусским говорам¹⁴. Столкнувшись с необходимостью дифференциации литературной и диалектной лексики, составители тогдашних белорусских словарей, естественно, не смогли определить пласт общенародной лексики и в ряде случаев переводили русские слова узкими белорусскими диалектизмами, заимствованиями из польского языка или искусственными новообразованиями, например: *абажур — каптур, автомат — самарух, аксиома — пэўнік, арсенал — збраёўня, бандероль — перавязка, бедность — бабыльства, беспокойство — турбацыя, беспорядок — рагаза, библиотека — кніжніца, биржа — гельда, вентилятор — ветрагон, водолаз — нырэц, гайка — мутэрка, гарнизон — залага, сосед — даматур, жаба — курапа, изваяние — вылепак, кислород — плён, кресло — фатэля, маятник — хістальнік, металлургия — гамарства, мольберт — шталога, приманка — лібіла, продовольствие — еміна, рассказчик — павядач, этаж — навалак и т. д.*¹⁵

Позднейшие белорусские лексикографические труды в большей мере начали ориентироваться на русский литературный язык, в связи с чем значительная часть заимствований и неологизмов 20—30-х годов вышла из употребления в литературном белорусском языке. Некоторая часть слов того времени сохраняется в современном литературном языке, но она существует параллельно с общенародной лексикой и квалифицируется как устаревшая или разговорная: *алмаз — дыямент, вывад — выснова, карандаш — аловак, касцюм — гарнітур, латунь — мосенж, парус — ветразь, площадь — пляц, руль — стэрно, чай — гарбата, чарніла — атрамант.*

Однако многие слова того времени в полной мере сохраняются в белорусском литературном языке и культивируются как специфически белорусские, они не имеют дублетов в письменном языке, но в разговорной речи многих лиц заменяются словами, общими с русским языком: *ванітаваць — ташн'іць, газа — карас'ін, локшына — лапшы, сцізорык — нбжык, тытунь — табака, футра — м'ех, цесля — плбтн'ік, цукерка — канф'эта, цыгарэта — с'ігарэта, цырата — кл'айбнка, шкарпэтка — насбк, шкіпінар — ск'ип'ідар, шпалеры — аббі и т. д.*

На характер лексических отличий значительное влияние оказывает распространенное в Белоруссии белорусско-русское двуязычие. Как показывают результаты социологических исследований, около 77% опрошенных, кроме родного, постоянно пользуется русским языком¹⁶. В белорусской речи такие говорящие, естественно, более часто употребляют русские слова или такие диалектные лексические средства, которые совпадают с соответствующими русскими.

¹⁴ Н. Н. Дурново, Введение в историю русского языка, М., 1969, стр. 29—30.

¹⁵ Подробнее см.: И. И. Крамко, А. К. Юрэвич, А. И. Янович, Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, II, Мінск, 1968, стр. 195—210.

¹⁶ П. Машеров, О некоторых чертах и особенностях национальных отношений в условиях развитого социализма, «Коммунист», 1972, 15, стр. 29.

Отмеченный выше процесс диалектизации белорусского письменного языка не ограничивается областью грамматики, но распространяется и на лексический состав, причем осуществляется здесь он более свободно и беспрепятственно. Многие современные молодые белорусские писатели широко вводят в литературный обиход узкодиалектные слова, практически понятные лишь узкому кругу читателей. Показательной в этом отношении является литературная деятельность молодого белорусского прозаика Ивана Пташника. В язык своего романа «Мстижи» (1972) он ввел около 200 диалектных слов и индивидуальных новообразований, которые не фиксируются словарями белорусского литературного языка. Употребление некоторых из таких диалектизмов стилистически оправдано, поскольку они служат для обозначения местных или общеполитских реалий и понятий, не имеющих в литературном языке специальных средств наименования, или же дают возможность передать дополнительные семантические нюансы, например, *верхаллё* «верхушки деревьев», *додніца* «предутренний рассвет», *паспешка* «скороospelка», *пярэчка* «поперечная борозда», *туляг* «одинокая туча», *шуметнік* «место для выброса мусора», *шыллё* «осыпавшаяся игла хвойных деревьев» и др.

Вместе с тем этот автор широко употребляет местные фонетические и словообразовательные варианты, которым в литературном языке соответствуют однокоренные эквиваленты иного фонетического и словообразовательного оформления: *альшэўнік* при литературном *алешнік* «ольшаник», соответственно *далець* = *аддалаўца* «удаляться», *касьлю* = *касьляна* «косовище», *квят* = *кветка* «цветок», *крыжаватка* = *скрыжаванне* «перекресток», *мэнчыца* = *мучыца* «мучиться», *пад'ялевец* = *ядловец* «можжевельник», *рукаво* = *рукаў* «рукав», *тофель* = *таполя* «тополь», *шклунак* = *клунак* «котомка», *шэнціць* = *шанцаваць* «везти» и т. п. Введение в литературное произведение узкодиалектных форм вроде *высака*, *глыбака*, *шырака* вместо общепринятых *высока*, *глубока*, *широка* или образований типа *адумысла*, *удваёчках*, *усягды*, *ценка* вместо *сумысла*, *удваіх*, *заўсёды*, *тонка* нельзя расценивать как обогащение литературного языка, поскольку в нем уже закреплены традицией необходимые слова для обозначения таких понятий. Употребленные в этом романе существительные вроде *беражніца*, *вандэлак*, *дарожніца*, *дзярняк*, *жыліна*, *жмук*, *канаторжнік*, *крыжоўка*, *латочына*, *ляжэйка*, *матачына*, *нажутка*, *надзежнік*, *павалакан*, *спрага*, *трасочнік*, *умеце*, *уручка*, *хващанка*, *шпалёўка*, глаголы *адтатурваць*, *вышмыкваць*, *вышчалукуць*, *галяшыць*, *дырчаць*, *жмакаць*, *згусаць*, *назызаць*, *пастрэпаць*, *перажаргнуць*, *сіляць*, *учарэпіць*, *цыльгікаць*, *шваргатаць*, *шлеіць*, прилагательные и причастия *здрэжаны*, *падцыглясты*, *праштабнаваны*, *разбайдаваны*, *разбалабашаны* и другие остаются непонятными широкой массе читателей даже в контексте литературного произведения. Такие лексические средства, естественно, не употребляются в разговорной форме литературного языка.

Подобная диалектизация словарного состава только увеличивает различие между письменной и разговорной формами белорусского литературного языка в области лексики.

Некоторые различия между письменной и разговорной формами белорусского литературного языка вызваны также тенденцией к у н и ф и к а ц и и таких грамматических форм, которые в белорусских говорах имеют разные средства выражения и соответственно не имеют единства в письменном языке. Сама по себе тенденция к унификации — явление положительное, поскольку она содействует выработке и закреплению в литературном употреблении единых грамматических средств и тем самым отвечает функции литературного языка. К сожалению, в некоторых

случаях она осуществляется слишком прямолинейно, без учета фактов истории языка и современного его состояния.

Из истории белорусского языка известно, что предложный падеж существительных основ на *-o* издревле имел окончание *-b* (*-e*) в твердом варианте и *-и* — в мягком. Однако очень рано вследствие смешения основ в существительные на *-o* проникло окончание прежних основ на *-и*, и этот процесс широко отражается памятниками старобелорусской письменности, где обычными являются формы типа *в дому, в жалю, в звычайю, в каменю, в кораблю, в монастыру, в полю, в раю, в тыдню, в тѣню, на берегу, на коню, на крижу, на олтару, на палацу, при стогу* и т. д.¹⁷ В современных белорусских говорах широко проявляется тенденция к закреплению окончания *-у* во всех видах основ муж. и ср. рода: *на айсу, на вазу, на валасу, на ветру, на дню, на дубу, на кусту, на палу, на пасту, на плыту, на сярпу, на шляху, на закону, на свету, у гаду, у даму, у саду, у тылу, у хляву, у цяню* и т. п.¹⁸ Вопреки этому в белорусском литературном языке в его письменном варианте действует стремление сохранить старые формы на *-e* и *-i*: *на гусце, на загадзе, на сакрэце, на сэнсе, на вызваленні, на жаданні, на заданні*. В связи с распространением этой тенденции значительно увеличивается разрыв в формах предл. падежа белорусского письменного языка и его повседневно-разговорной формы, находящейся под заметным влиянием диалектного формоупотребления.

Проявление тенденции к унификации в белорусском письменном языке особенно заметно отражается в структуре предложных сочетаний. В белорусском языке для указания на содержание или основание мысли, предположения, на предмет говорения или чувства употребляются близкие по значению предлоги *аб* и *пра*, причем первый из них характеризуется большей абстрактностью, второй — очевидной конкретностью, хотя в большинстве случаев они выступают как синонимы¹⁹, ср. *Я павінен падумаць аб сваіх дзеях, ці я не павінен думаць пра іх?* (М. Лыньков). Отсутствие четких границ употребления каждого из этих предлогов приводит к тому, что предлог *аб* фактически устраняется из белорусского литературного языка и соответственно получают распространение конструкции с предлогом *пра*: *апавяшчэнне пра парушэнне, артыкул пра творчасць, загад пра назначэнне, звесткі пра прыроду, навука пра грамадства, гаварыць пра неабходнасць, сведчыць пра характар* и т. д. Подобную же судьбу имеет и предлог *к*, вытесняющийся конструкциями с предлогом *да*. Предлог *на*, употребляющийся в белорусском языке с дат., вин. и предл. падежами, ограничивается употреблением только в вин. и предл. падежах.

С другой стороны, в белорусском литературном языке последних лет наблюдается необычайно активная экспансия предлога *на* в разнообразных синтаксических условиях: *пісаць на адрас, служыць на флоце, заданне на высвятленне, помнік на ўшанаванне, слесар на рамонт, вялікі на аб'ём, неабходны на выраб* и т. д.

Усиленная диалектизация и прямолинейная унификация грамматических средств белорусского литературного языка на протяжении последнего десятилетия, вопреки ожиданиям ее приверженцев, отрицательно сказалась на общем процессе развития белорусского литературного языка и его престиже. Это стало особенно ощутимым в последние годы, когда в белорусской печати, в передачах по радио и телевидению и даже в учеб-

¹⁷ Другие примеры из памятников приводит М. А. Жидович («Назоўнік у беларускай мове», ч. 1 — Адзіночны лік, Мінск, 1969, стр. 90—92).

¹⁸ Там же, стр. 94—101.

¹⁹ См.: П. П. Шуба, Прыназоўнік у беларускай мове, Мінск, 1971, стр. 169—170.

никах по белорусскому языку начали обнаруживаться недопустимые нарушения орфографических, орфоэпических и грамматических норм, кодифицированных прежними пособиями по белорусскому языку и закрепленных многолетней практикой. Вполне естественно, что усилившийся в последние годы грамматический разнобой в белорусском письменном языке неизбежно создал предпосылки для еще большего разнобоя в разговорной белорусской речи, нормы которой вообще в меньшей мере поддаются регламентации по сравнению с письменным языком.

В связи с создавшейся обстановкой в феврале 1972 г. в Академии наук БССР было проведено специальное совещание по вопросам культуры белорусского языка. В работе совещания приняли участие представители Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства просвещения, Союза писателей БССР, редакций республиканских газет и журналов, главной редакции Белорусской Советской Энциклопедии, Института языкознания им. Якуба Коласа и Института литературы им. Янки Купалы Академии наук БССР, кафедр белорусского языка высших учебных заведений, Государственного комитета Совета Министров БССР по телевидению и радиовещанию, работники издательств и других учреждений и организаций, которые в своей практической деятельности имеют непосредственное отношение к белорусскому языку в его письменной и устной формах.

В результате обмена мнениями совещание признало ненормальным положение, при котором в белорусской периодической печати, на радио, телевидении и даже в некоторых учебниках допускается нарушение правописных и орфоэпических правил; отдельные редакции и некоторые авторы произвольно проводят по своему усмотрению изменения правил правописания и грамматики, неоправданно распространяют в литературном языке диалектные грамматические формы.

Коллективная мысль участников совещания была доведена до сведения широкой общественности специальной статьей народного писателя Белоруссии, вице-президента Академии наук БССР Кондрата Крапивы²⁰. После этого совещания большинство белорусских издательств отказалось от неоправданного новаторства и перешло к употреблению традиционных грамматических форм.

²⁰ См.: К а н д р а т К р а п і в а, Грамадская неабходнасць і беспадстаўнае наватарства, газ. «Звязда», 29 III 72.

Л. П. КРЫСИН

К СОЦИАЛЬНЫМ РАЗЛИЧИЯМ В ИСПОЛЗОВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ВАРИАНТОВ*

В современном русском литературном языке существуют варианты, допускаемые нормой в качестве стилистически дифференцированных или полностью дублетных единиц. Обычно варианты составляют вариативную пару или, реже, вариативный ряд; совокупности таких пар и рядов характерны для разных ярусов языковой структуры¹. Например: [з'в']ерь/[зв']ерь, л[е]с'н'ик / л[е]сн'ик, [шы⁹]ги / [ша]ги, э[н]ергия / э[н']ергия; ре́ку/реку́, ведомо́стей/ведомостей, поме́стится/поместится, собра́лись/собрáлись; чаю/чая, тракторы/тракторá, в отпуске/в отпуску, каплет/капает, гаснул/гас; резка/резание, плотничий/плотни́цкий/плотнический, лицеве́рить/лицемерничать; по пяти рублей/по пять рублей, отзы́в о чем /отзыв на что, указа́ть что/указать на что и т. п.

Для того чтобы выяснить, как распределены среди носителей современного литературного языка варианты такого типа, зависит ли их распределение от социальной характеристики говорящих и, если зависит, каково количественное соотношение вариантов в разных социальных группах, — было предпринято специальное исследование. Основным его инструментом явились лингвистические вопросники, составленные в Институте русского языка АН СССР по инициативе и под руководством М. В. Панова². Полученный с помощью этих вопросников материал и послужил базой для проверки главной исходной гипотезы — гипотезы о том, что распределение допустимых нормой вариантов зависит от территориальной, возрастной, профессиональной, образовательной и т. п. — словом, от социальны́х, в широком смысле, характеристик говорящих.

Цель настоящей статьи — сообщить некоторые результаты работы. Поэтому мы не будем касаться проблем, связанных с теоретическим

* Эта статья написана на материале фонетического и морфологического разделов монографии «Русский язык по данным массового обследования (опыт социально-лингвистического изучения)», выполненный в 1970 г. в Институте русского языка АН СССР под руководством автора коллективом сотрудников в составе В. Л. Воронцовой, М. Я. Гловинской, Е. И. Голановой, Н. Е. Ильиной, М. В. Китайгородской, Л. П. Крысина и С. М. Кузьминой.

¹ Вопрос о вариантах в лексике связан с проблемой разграничения разных типов синонимов. Чтобы сохранить понятие варианта для называния формально варьирующих единиц всех ярусов, можно отнести к лексическим вариантам (в нашем смысле) полные синонимы, т. е. слова с одинаковым толкованием и совпадающей синтаксической, семантической и лексической сочетаемостью. Так как в этой статье и в указанной монографии лексические варианты не рассматриваются, воздержимся от более подробного обсуждения вопроса о вариантах в лексике, ограничившись этим общим замечанием.

² См.: «Вопросник по современному русскому литературному произношению», сост. М. В. Панов, М., 1960; «Вопросник по современной русской морфологии», отв. ред. И. П. Мучник, М., 1963; «Вопросник по современному русскому словообразованию», сост. Р. В. Бахурина, отв. ред. Е. А. Земская, М., 1963; «Вопросник по лексике современного русского языка», отв. ред. Д. Н. Шмелев, М., 1964.

обоснованием методики письменного опроса и практическим применением ее в нашем исследовании; они освещены в ряде опубликованных работ³.

В соответствии с аргументацией, содержащейся в этих работах, мы считаем материал, полученный с помощью вопросников, достаточно репрезентативным в том отношении, что он позволяет судить о количественном распределении вариантов в различных социальных группах говорящих.

Так как все носители языка, служившие нам информантами, при ответе на вопросники были поставлены в одинаковые ситуативно-контекстные условия, то сам собой отпал вопрос о таких расхождениях в ответах, которые были бы обусловлены контекстно-стилистическими различиями (с подобными различиями мы неизбежно столкнулись бы при изучении естественной, спонтанной и подготовленной, речи)⁴.

Таким образом, ответы на вопросники содержат однородный в лингвистическом отношении материал, что в данном случае является положительным моментом, так как появляется возможность проанализировать социально обусловленные языковые различия между говорящими «в чистом виде», не осложненные различиями контекстными, ситуативными и т. п.

Была обследована совокупность носителей современного русского литературного языка, при выделении которой из состава всех говорящих по-русски применялись следующие три критерия: 1) лица, для которых русский язык является родным и которые с детства живут в русскоязычной среде, 2) жители городов, 3) имеющие высшее или среднее образование, полученное в учебных заведениях с преподаванием на русском языке⁵. Было принято, что необходимы и достаточны все три признака; ни один из них в отдельности не является основанием для включения того или иного лица или группы лиц в указанную совокупность.

Из совокупности методом квот⁶ были сделаны выборки, колеблющиеся по численности (в зависимости от вида распространявшихся вопросников) в пределах от 18 000 до 12 000 человек. Процент возвращенных заполненных вопросников составил в разных случаях приблизительно 20—30%. Некоторые из возвращенных экземпляров пришлось отсеять по причинам методического и лингвистического характера⁷. В результате материал, на котором базируется исследование, составили ответы

³ См.: «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка», М., 1968, §§ 19—22; Л. П. Крысин, Русский язык по данным массового опроса. Проспект, М., 1968, раздел «Методы собирания материала»; М. В. Панов, О том, как составлялся вопросник по произношению, сб. «Развитие фонетики современного русского языка», М., 1971; Г. А. Барина, Н. Е. Ильина, С. М. Кузьмина, О том, как проверялся вопросник по произношению, там же.

⁴ Ср. методику, применяемую У. Лабовом: при изучении фонетических вариантов в современном American English наряду с социальной характеристикой говорящих он учитывает и различия в жанре речи: непринужденный разговор, подготовленная беседа, интервью, чтение текста или списка слов и т. д. (см.: W. Labov, The social stratification of English in New York City, Washington, 1966).

⁵ Подробнее об этом см.: Л. П. Крысин, Русский язык по данным массового опроса, стр. 14—16, а также: Е. А. Земская, Русская разговорная речь. Проспект, М., 1968, стр. 37.

⁶ О способах выборочного обследования, а также специально о методе квот (или, иначе, о стратифицированной выборке) см., например: Ф. Йейтс, Выборочный метод в переписях и обследованиях, М., 1965; Б. А. Грушин, Мнения о мире и мир мнений, М., 1967 и др.

⁷ См., например, особенность построения вопросника по произношению, заставляющую исследователя исключать из анализа ответы тех лиц, которые обнаружили в контрольных вопросах следы влияния на их речь диалектных или иноязычных произносительных черт (см. об этом: М. В. Панов, О том, как составлялся вопросник по произношению, стр. 295).

2000—4500 человек, представляющих разные возрастные, профессионально-образовательные и территориальные группы носителей современного литературного языка.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что распределение языковых вариантов в среде носителей литературного языка зависит от социальной характеристики говорящих. В подавляющем большинстве случаев социальным различиям соответствуют количественные различия в распределении вариантов. При этом разные признаки (например, возраст, профессия, территориальная характеристика носителя языка) в неодинаковой степени обуславливают это распределение.

1. Территориальные различия. Одной из наиболее очевидных является зависимость количественного распределения литературно-языковых вариантов от территориальной неоднородности говорящих⁸.

При изучении этой зависимости мы исходили из следующих положений.

Современная литературная норма едина и общеобязательна для всех носителей литературного языка. В большинстве случаев ею рекомендуются к употреблению строго определенные формы языковых средств: [п'и'с'о́к], а не [п'ес'о́к], [б'ьр'ада́], а не [борода́] или [бл'рада́], [го́ры], а не [гу́ры], [ла́фкь], а не [ла́ўка] («лавка»), *докуме́нт* (а не *документ*), *выбо́ры* (а не *выбора́*), *неско́лько мест* (а не *неско́лько местов*) и т. п.

Отклонения от этих рекомендаций рассматриваются как нарушение нормы.

Однако в пределах литературной речи существуют достаточно многочисленные варианты: и одна, и другая форма выражения считаются нормативными (примеры см. в начале статьи).

Такое положение нисколько не противоречит статусу литературного языка. Напротив, «допустимость исторически обусловленных вариантов, — как писал А. Едличка, — вообще не может быть подвергнута сомнению, она связана с признанием динамического характера норм, с признанием эволюционных процессов, совершающихся в литературном языке. Включение исторически обусловленных вариантов в норму должно рассматриваться как средство снять противоречие между статичной по своей сущности кодификацией и динамикой нормы, как средство отразить внутреннюю динамику нормы. Развитие нормы совершается именно благодаря вариантам, они являются, как правило, переходными формами от одного качества к другому...»⁹.

Как сложное целое, организованное по принципу последовательной нормативности и выполняющее чрезвычайно многообразные социальные функции, литературный язык сильно отличается от местных диалектов, которые не подвергаются сознательной кодификации и обслуживают гораздо более узкий круг коммуникативных потребностей. Однако диахронически литературный язык связан с говорами тесными узами: именно

⁸ На территориальное варьирование литературного языка обращали внимание многие исследователи. Так как в задачу настоящей статьи не входит обзор мнений по данному вопросу, сошлемся лишь на некоторые работы, рассматривающие вопросы географического членения литературного языка; см., например, обзор Р. Р. Гельгардта «О литературном языке в географической проекции» (ВЯ, 1959, 3), содержащий богатую библиографию, а также исследования последних лет: Н. Б. Паркова, О южнорусском варианте литературной речи, сб. «Развитие фонетики современного русского литературного языка», М., 1966; К. И. Чуркина, Эволюция произносительных норм в речи интеллигенции г. Красноярска. Автореф. канд. диссерт., Новосибирск, 1969; Т. И. Ерофеева, О территориальном варьировании устной формы литературного языка (на материале речи пермской интеллигенции), сб. «Живое слово в русской речи Прикамья», 2, Пермь, 1971, и некот. др.

⁹ А. Едличка, О пражской теории литературного языка, сб. «Пражский лингвистический журнал», М., 1967, стр. 553.

из говорков, а также из просторечия и других подсистем литературная норма черпает новые выразительные средства.

Будучи частями единого русского национального языка, литературный язык и местные говоры, при их принципиальном различии, обнаруживают общие черты — как в наборе элементов (фонем, морфем, слов, конструкций), так и в их сочетаемости. Поэтому, в частности, варианты, допускаемые литературной нормой, коррелируют, хотя и по-разному, с соответствующими явлениями в разных говорах.

Таблица 1

Территориальный признак	Число информантов	Из них предпочитают мягкий вариант (в процентах)					
		[з'л']	[тл']	[г'в']	[з'в']	[з'б']	[с'н']
Москва	850	19,3	32,0	8,3	25,1	13,6	36,6
Моск. область	149	15,2	36,7	7,5	23,2	11,7	34,3
Ленинград	114	22,0	23,7	12,6	27,8	16,6	32,1
Север России	465	36,5	36,1	10,2	38,8	30,2	51,8
Юг России	487	39,1	45,6	15,1	35,8	25,8	40,5

Так, например, если в каком-либо говоре широко представлена форма местного падежа на -*у́* (типа *в погребу́, в клубу́*), то, по-видимому, в речи носителей литературного языка, живущих на данной территории и так или иначе подверженных влиянию диалектной системы, процент соответствующих вариантов, находящихся в пределах нормы (*в снегу́, в медю́* и т. п.), должен быть выше, чем в речи других литературно говорящих лиц, которые либо совсем не испытывают диалектного влияния, либо живут в окружении говоров с иными морфологическими особенностями.

Другими словами, на тех территориях, где диалектологами отмечается более интенсивное, чем в остальных местах, проявление того или иного лингвистического признака, — и речь носителей литературного языка обнаруживает более высокий процент явлений, изоморфных или совпадающих с диалектными.

В результате проведенного нами обследования эта закономерность подтвердилась¹⁰.

Так, например, ассимилятивное смягчение согласных, вообще, свойственное современному литературному произношению (ср. [с'н']ег, *вб* [з'л']е, *не* [тл']я, [з'в']ерьь, [д'в']е и под.), по нашим данным, несколько больше представлено у тех носителей литературного языка, которые живут в условиях тесных контактов с северными и особенно южными говорами — в средних и небольших городах юга и севера Европейской части СССР; в речи же, например, москвичей и ленинградцев (контакты с говорами ослаблены!) процент вариантов с ассимилятивно смягченными согласными ниже (ср. данные табл. 1¹¹).

¹⁰ Принимались во внимание две территориальные характеристики информанта: место, где прошло его детство, и место его наиболее длительного жительства. Оказалось, что эти характеристики примерно одинаково обуславливают выбор варианта; поэтому ниже мы приведем некоторые результаты распределения вариантов в зависимости от одного признака — места, где прошло детство информанта. (В монографии учитывалась также территориальная характеристика родителей информанта; в настоящей статье зависимость распределения вариантов от этого признака не рассматривается.)

¹¹ Вся совокупность носителей современного русского литературного языка была разделена при обследовании на такие географические зоны: жители Москвы (1), Московской области (2), Ленинграда (3), севернорусских (4) и южнорусских (5) городов, русские жители городов Украины (6) и Прибалтики (7) (обследовалась только Европейская часть СССР). Здесь приводятся данные по первым пяти зонам. Так как мы рассматриваем вариативные пары, то для характеристики их социального распределения достаточно привести данные об одном из вариантов: показатели распределения второго определяются разностью между 100% и числом, указывающим процент первого варианта.

Так же различаются между собой две противопоставленные выше группы и, например, в реализации сочетаний <жа>, <ша> в 1-м предупредительном слого. В литературной норме традиционен вариант [жы^э], [шы^э]; однако в последние десятилетия он вытесняется новым вариантом — [жа], [ша]; произношение гласного <a> после этих двух согласных подравнивается под произношение его после всех остальных твердых согласных¹². Так как традиция наиболее устойчива в центрах литературного языка и поскольку, кроме того, [жы^э], [шы^э] — черта так называемого старомосковского произношения, то естественно, что в речи москвичей процент вариантов с традиционным произношением выше, чем у представителей других территориальных групп; в речи носителей литературного языка, живущих в окружении говоров, значительно преобладание нового варианта¹³ (см. табл. 2).

Таблица 2

Территориальный признак	Средний процент вариантов	
	[шы ^э]	[жы ^э]
Москва	20,8	40,3
Московская обл.	20,1	41,9
Ленинград	15,5	25,2
Север	11,9	21,2
Юг	12,4	25,9

Столь же показательно противопоставление москвичей ленинградцам, а также всем другим территориальным группам носителей литературного языка в распределении вариантов, включающих еще одну характерную черту старомосковского произношения — [ж̄]: почти половина москвичей (40,8%) предпочитает вариант с долгим мягким ж, тогда как среди ленинградцев больше двух третей (70,4%) произносят [ж̄] (среди «северян» и «южан» процент [ж̄] равен соответственно 35,5 и 26,6%).

Различие северных и южных говоров по ряду диалектных признаков отражается, как показывают наши данные, и на речи носителей литературного языка, испытывающей влияние говоров, — в частности, на выборе ими того или иного варианта.

Как известно, появление в глагольных формах типа *налил, обнялся, подружисься* накоренного ударения (вместо традиционно-литературного — на аффиксе) — процесс, обусловленный влиянием южнорусских говоров; сейчас он в сильной степени захватил речь большей части говорящих по-русски, и только среди ленинградцев и жителей севернорусских городов достаточно высок еще процент лиц, которые придерживаются традиционного ударения (ср. табл. 3).

Однако часто та или иная фонетическая или морфологическая черта не локализована, границы ее распространения размыты, нечетки; явление в почти равной степени свойственно как южным, так и северным говорам. В таких случаях и система вариантов литературного языка не обнаруживает существенных локально обусловленных колебаний. Так, например, распределение некоторых морфологических вариантов (см. табл. 4).

2. Различия, обусловленные возрастом говорящих. Все обследованные нами информанты являются представителями таких возрастных групп: (1) родившиеся до 1899 г. включительно, (2) родившиеся в 1900—1909 гг.;

¹² См.: М. В. П а н о в, Русская фонетика, М., 1967, стр. 309.

¹³ Надо иметь в виду, что вариативность [жы^э/жа], [шы^э/ша] в сильной степени обусловлена лексически. Так, если средний процент вариантов [жы^эра] и [шы^эг'и], по нашим данным, равен соответственно 10 и 10,4%, то процент лиц, произносящих [жы^э-к'эт], [жы^э-л'эт'] и [лшы^э-д'эи], достаточно высок: 53,6; 50,8 и 50% соответственно. См. об этом подробнее в кн.: «Русский язык и советское общество. Фонетика...», М., 1968, стр. 34 и сл.

Таблица 3

Территориальный признак	Число информантов	Процент лиц, предпочитающих вариант с накоренным ударением			
		наила	отпила	обнялся	подружился
Москва	945	80,5	84,6	84,5	88,5
Моск. обл.	244	82,5	92,7	84,5	92,3
Ленинград	93	58,0	66,3	76,0	82,8
Север	325	58,5	71,8	74,5	78,8
Юг	696	88,5	91,1	83,5	90,0

Таблица 4

Территориальный признак	Число информантов	Процент лиц, предпочитающих:		
		- и в род. п. ед. ч. (сахару и под.)	- у в предл. п. ед. ч. (в отпуску и под.)	- á в им.п. мн.ч. (тракторá и под.)
Москва	960	30,2	39,5	33,6
Моск. обл.	245	34,6	38,1	35,9
Ленинград	96	28,5	45,7	32,6
Север	324	43,4	42,5	40,0
Юг	670	34,1	45,4	36,0

(3) 1910—1919 гг.; (4) 1920—1929 гг.; (5) 1930—1939 гг.; (6) 1940—1949 гг. рождения. (При кодировании морфологического вопросника в первую возрастную группу были объединены лица, родившиеся до 1909 г. включительно; поэтому здесь возрастных групп на одну меньше, чем при обследовании произношения (ср. рис. 1 и рис. 2), хотя совокупность говорящих та же самая.)

Произносительная норма больше, чем лексические и словоизменительные нормы, зависит от фактора времени: за период меньше столетия (с конца XIX до середины XX вв.) старомосковская норма в значительной степени сдала свои позиции в таких чертах, как произношение гласных в первом предударном слоге (после твердых и после мягких согласных), последовательное сохранение [ж'] на месте <жж> и <жд'>, твердое произношение <с> в возвратной частице -ся (-сь), произношение [шн] на месте чн и некот. др.

Как показывают наблюдения¹⁴, эти произносительные черты не являются не только единственно нормативными, но и просто преобладающими в современной литературной речи.

Исследованный нами фонетический материал неодинаково распределяется по возрастным группам. Однако это распределение не всегда соответствует ожидаемому: только в некоторых случаях представители старшего поколения четко различаются с членами других возрастных групп (первые используют больше традиционные варианты, у вторых обнаруживаются новые произносительные тенденции); в ряде же явлений налично лексическая обусловленность фонетической вариативности: в произношении одних слов количество традиционных вариантов убывает, а в произношении других слов, реализующих то же самое фонетическое явление, их количество, напротив, возрастает.

¹⁴ См., например, «Русский язык и советское общество. Фонетика...». В этой монографии подробно рассмотрены именно возрастные различия в произношении и в употреблении словоизменительных форм; поэтому в данной статье мы ограничимся краткими сведениями о возрастном распределении вариантов.

Так, например, распределение вариантов с ассимилятивным смягчением согласных таково, что в большинстве случаев (см. рис. 1) мы наблюдаем уменьшение у представителей младшего поколения, по сравнению со старшим, числа мягких вариантов. Однако в произношении вариантов с сочетаниями [з'д'], [н'т'], [з'н'], [н'с'], [с'т'] корреляция возрастных групп другая: «пики» наибольшей частоты мягкого варианта приходится либо на 2, либо на 4-ю группы, а в некоторых случаях наблюдается даже некоторое возрастание числа мягких вариантов от старших к младшим ([н'т'], [н'с'], [с'т']).

В распределении вариантов с [ж̄'] отчетливо проявляется отмечаемая исследователями тенденция к вытеснению произношения [ж̄'] произношением [ж̄]; этот процесс, однако, лексически обусловлен: [ж̄'] устойчивее сохраняется в частотных словах, а малочастотные лексемы произносятся преимущественно с [ж̄].

В еще большей степени локализована лексически конкуренция вариантов [ы⁹]/[а] после твердых шипящих: в одних случаях, при общей низкой частоте варианта с [ы⁹], наблюдается некоторое уменьшение количества произносительных форм с этим гласным от старших к младшим (*жара, шалаш, ужаснется*), в других, напротив, — з н а ч и т е л ь н о е у в е л и ч е н и е (*жакет, жалеть, ржаной, лошадей*).

На рис. 2 схематически изображено распределение в возрастных группах м о р ф о л о г и ч е с к и х вариантов.

Как показывают эти графики, глагольные варианты (*каплет/капают* и под., *выздоровею/выздоровлю* и под.) распределяются однотипно: употребительность новых форм (*капаю...*, *выздоровлю...*) увеличивается от старшей возрастной группы к младшей. Такая же тенденция — в распределении акцентных глагольных вариантов с накоренным ударением: личных форм настоящего времени (*дру́жишь, заря́дят* и под.) и форм прошедшего времени от префиксальных глаголов (*на́мил, обня́лся* и под.).

Хотя вариативность флексий *-а/-у* у существительных муж. рода в род. падеже ед. числа лексикализована (например, вариант *сыру* употребляется примерно половина всех обследованных лиц, а форму *пирамидону* всего лишь 3%), — распределение этих вариантов также однотипно (поэтому на рис. 2 представлен график с р е д н и х): наименьший процент форм на *-у* в ответах представителей молодого поколения, чуть выше их употребительность в речи лиц 1, 2 и 3-й групп.

Незначительны межгрупповые колебания и в распределении вариантов *-el-ŭ* в предл. падеже ед. числа, но и здесь наблюдается уменьшение употребительности форм на *-ŭ* у молодого поколения в сравнении со старшими носителями литературного языка (см. рис. 2).

Если рассмотреть варианты именных форм с флексиями *-ы(-и)/-á* (*-я́*) в им. падеже мн. числа, то окажется, что в среднем их распределение не з а в и с и т от возраста говорящих. Между тем, как отмечают все исследователи этого явления¹⁵, экспансия флексии *-á* (*-я́*) и вытеснение ею флексии *-ы* (*-и*) — живой, развивающийся процесс (и, следовательно, в речи молодежи новых форм должно быть больше, чем в речи «стариков»). Выходит, что наши данные противоречат этим наблюде-

¹⁵ См., например: В. И. Чернышев, *Правильность и чистота русской речи*. Пг., 1915, стр. 52 и сл.; С. П. Обнорский, *Именное склонение в современном русском языке*, 2, Л., 1931; А. А. Зализняк, *Русское именное словоизменение*, М., 1967, стр. 222 и сл.; А. С. Фидровская, *К вопросу о процессе и факторах новообразования на -á в именительном падеже множественного числа существительных мужского рода*, *Уч. зап. [Казанск. гос. ун-та]*, 112, 6, 1952; Т. А. Иванова, *Именительный множественного на -а (трактора) в современном русском литературном языке*, в кн.: *Развитие русского языка после Великой Октябрьской социалистической революции*, Л., 1967, и некот. др.

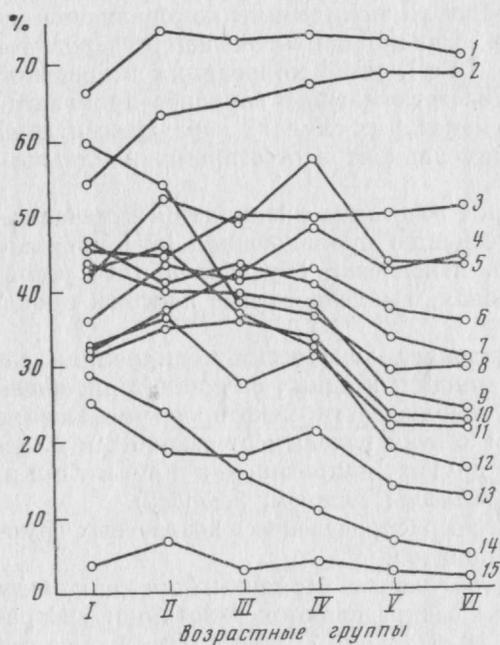


Рис. 1

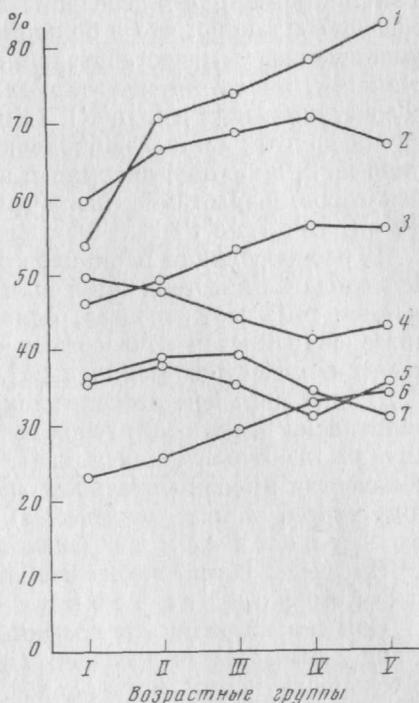


Рис. 2

Рис. 1. Распределение вариантов с ассимилятивным смягчением согласного перед мягким согласным в зависимости от возраста говорящих. Условные обозначения: I — группа родившихся до 1899 г. включительно, II — родившиеся в 1900—1909 гг., III — 1910—1919 гг., IV — 1920—1929 гг., V — 1930—1939 гг., VI — 1940—1949 гг., 1 — среднее соотношение звуко сочетания [з' д'], 2 — [н' т'], 3 — [н' с'], 4 — [с' т'], 5 — [з' н'], 6 — [с' н'], 7 — [н' з'], 8 — [т' л'], 9 — [з' в'], 10 — [з' л'], 11 — [с' л'], 12 — [д' в'] внутри корня, 13 — [с' п'], 14 — [т' в'], 15 — [д' в'] на стыке морф

Рис. 2. Распределение морфологических вариантов в зависимости от возраста говорящих (средние показатели). Условные обозначения: I — родившиеся до 1909 г., II — 1910—1919 гг., III — 1920—1929 гг., IV — 1930—1939 гг., V — 1940—1949 гг., 1 — средняя распределения форм *опротивят, обессилю, выздоровлю*; 2 — глагольные формы настоящего времени с накоренным ударением (типа *дружишь*); 3 — глагольные формы прошедшего времени с накоренным ударением (типа *нашёл*); 4 — формы существительных в предл. падеже ед. числа (типа *в снегу*); 5 — формы существительных в им. падеже ед. числа с флексией *-á (-я)*; 6 — личные формы глаголов с основой на *-aj-* (типа *капает*); 7 — формы существительных в род. падеже ед. числа с флексией *-y* (типа *сыру*)

ниям? Нет, не противоречат. Дело в том, что средние цифры в данном случае не показательны, так как конкуренция рассматриваемых флексий обусловлена лексико-семантическим фактором: в распределении одних форм на *-á* — преимущественно это существительные со значением предмета (названия машин, механизмов и т. п.) — их частота в о з р а с т а е т, в распределении других (например, форм от существительных со значением лица), напротив, у б ы в а е т.

Тенденция к уменьшению употребительности форм с флексией *-á (-я)* и, с другой стороны, к увеличению процента форм с флексией *-ы (-и)* именно в группах молодых носителей языка может быть объяснена, по-видимому, большим влиянием на них книги и книжной речи (в данном случае флексия *-ы (-и)* — носитель книжности): представители 5 и от-

части 4-й возрастной групп — в большинстве своем учащиеся и, следовательно, роль и авторитет книги, учебника в их языковом поведении достаточно высоки.

3. Социально-профессиональные различия. То, что речь людей различается в зависимости от их социального статуса, было замечено давно¹⁶. Чаще других подчеркиваемое противопоставление языка города языку деревни — это противопоставление не только территориально, но и, в значительной мере, социально контрастных языковых черт. С другой стороны, и внутри городских и сельских социумов можно выделить разновидности языка, обусловленные различиями в социальной характеристике говорящих. Недаром и сам литературный язык традиционно определяется как язык образованных слоев населения (преимущественно городского)¹⁷.

Исходя из того, что социальные различия говорящих сказываются в выборе ими языковых вариантов, мы разбили совокупность носителей русского литературного языка на такие слои и группы (в зависимости от социального статуса и профессии): слой рабочих [обследованию подвергалась только одна группа рабочих, отвечающая выдвинутым критериям (см. выше) — лица, имеющие образование не ниже среднего], слой служащих, включающий различные профессиональные группы людей, имеющих среднее образование¹⁸, и слой интеллигенции.

Интеллигенция является основным носителем литературного, нормированного языка. Поэтому естественно, что в нашей выборке представители интеллигенции количественно преобладают. Они поделены нами — такое деление, как это очевидно, существенно с лингвистической точки зрения — на две группы: лица филологических профессий (в таблицах — «филологи») и лица нефилологических (технических, естественно-научных и др.) профессий («нефилологи»).

Как показывают данные табл. 5—10, распределение произносительных и морфологических вариантов в некоторой степени обусловлено различиями в социальном положении говорящих. При этом наблюдаются такие различия между группами. В одних случаях рабочие отличаются от всех других групп по количеству вариантов: так, средний процент вариантов с ассимилятивным смягчением согласного у них ниже, чем в произношении представителей интеллигенции и служащих. Это объясняется, по-видимому, тем, что на речевые навыки рабочих и, конкретно, на произ-

¹⁶ В отечественной лингвистике одним из первых обратил внимание на собственно социальную обусловленность языковых различий (в синхронном плане) И. А. Бодуэн де Куртене (см. написанное им в 1908 г. предисловие к «Блатной музыке» В. Ф. Трахтенберга: И. А. Бодуэн де Куртене, Избр. труды по общему языкознанию, II, М., 1963, стр. 161).

¹⁷ См., например: Е. Д. Поливанов, О литературном (стандартном) языке современности, «Родной язык в школе», 1927, 1; е г о ж е, Русский язык сегодняшнего дня, «Литература и марксизм», 1928, кн. 4; е г о ж е, Русский язык как предмет грамматического описания, «За марксистское языкознание», М., 1931.

¹⁸ Обсуждению различий между понятием «служащие» и «интеллигенция» посвящен ряд современных социологических работ (см., например: М. Н. Руткевич, Изменение социальной структуры советского общества и интеллигенция. «Социология в СССР», I, М., 1966; сб. «Классы, социальные слои и группы в СССР», М., 1968, гл. VII; С. А. Кугель, Изменение социальной структуры социалистического общества под воздействием научно-технической революции, «Вопросы философии», 1969, 3). Однако в этом вопросе социологи не пришли к какому-либо одному ясному решению.

В нашей работе принято понимание терминов «интеллигенция» и «служащие», отвечающее некоторым реально существующим различиям двух социальных слоев, в которых объединены люди, не являющиеся производителями материальных благ: различие в уровне образования и, отчасти в связи с этим, различие в характере труда (ср., с одной стороны, труд ученого, преподавателя вуза, архитектора, переводчика и т. п., и, с другой, — труд административного работника, делопроизводителя, чертежника, машинистки).

Таблица 5

Социальное распределение вариантов с мягким зубным перед мягким зубным¹

Социальная группа	Число информантов	Из них предпочитают мягкий вариант (в процентах)						Средний %
		[с'н']	[з'н']	[с'л']	[з'л']	[с'т']	[з'д']	
Рабочие	125	33,6	22,9	20,9	20,6	41,6	71,8	43,9
Служащие	500	37,8	28,5	23,2	27,0	42,4	71,8	51,9
Нефилологи	1000	36,7	31,8	26,3	26,1	41,9	71,6	49,7
Филологи	265	47,6	40,3	30,2	36,1	50,9	81,5	55,0

¹ Приводим данные лишь по некоторым сочетаниям. Средние показатели (см. последнюю колонку) характеризуют распределение всех исследованных в работе сочетаний «мягкий зубной + мягкий зубной».

Таблица 6

Социальное распределение вариантов с мягким зубным перед мягким зубным

Социальная группа	Число информантов	Из них предпочитают мягкий вариант (в процентах)					Средний %
		[д'в']	[т'в']	[з'в']	[з'б']	[с'п']	
Рабочие	125	21,5	9,8	25,3	17,2	15,4	17,8
Служащие	500	22,7	11,2	30,9	20,0	17,0	20,4
Нефилологи	1000	28,3	12,2	33,8	23,4	15,5	22,6
Филологи	265	35,9	12,4	37,4	21,9	19,2	25,4

Таблица 7

Социальное распределение вариантов с [ж']

Социальная группа	Число информантов	Из них произносят [ж'] в словах:				
		брызжет	визжать	дрожжи	дождик	дожди
Рабочие	120	39,0	45,9	55,1	21,6	13,7
Служащие	500	43,0	43,9	60,4	19,6	17,9
Нефилологи	980	39,9	40,9	56,2	22,6	16,8
Филологи	256	50,0	51,7	69,3	43,4	34,8

Таблица 8

Социальное распределение вариантов с [жы^в], [шы^в] на месте <жа>, <ша>

Социальная группа	Число информантов	Из них произносят [ы ^в] в словах				
		жара	ржаной	возака	шалаш	шаги
Рабочие	124	2,4	31,2	5,8	7,1	5,9
Служащие	494	6,4	33,9	9,0	5,9	6,8
Нефилологи	983	11,3	32,7	11,8	10,5	13,5
Филологи	259	19,8	51,4	20,0	20,0	20,5

ношение согласных перед мягкими согласными оказывает значительное влияние письменная форма языка; в группах же с более высокой речевой культурой влияние орфографии меньше (ср. данные табл. 5 и 6).

В других случаях достаточно резко противопоставляются всем остальным «филологи», т. е. лица, профессионально связанные с использованием слова. Речевые навыки этих людей включают наиболее «отстоявшиеся», освященные традицией языковые черты; явления же,

Таблица 9

Социальное распределение глагольных акцентных вариантов

Социальная группа	Число информантов	Из них предпочитают варианты:			
		на́мíl	оттíл	обн́ялся	подр́ужился
Рабочие	424	84,2	89,8	90,0	92,0
Служащие	896	83,2	87,1	82,5	88,5
Нефилологи	778	76,0	81,3	77,0	83,6
Филологи	341	72,0	78,9	76,2	84,0

Таблица 10

Социальное распределение морфологических вариантов (средние показатели)

Социальная группа	Число информантов	Из них предпочитают варианты (в процентах)			
		-у в род. п. (чаю и под.)	-у в предл. п. (в снегу и под.)	глагол. формы типа капает	глагол. формы типа выдворило
Рабочие	425	32,1	38,0	44,0	86,3
Служащие	905	34,4	42,0	37,1	81,2
Нефилологи	794	31,4	43,4	25,9	70,6
Филологи	334	40,5	47,0	22,2	67,3

идущие вразрез с традиционной нормой, получают здесь меньшее распространение (ср. таблицы 7—10).

Впрочем, как показывают наши данные, отмеченное контрастное различие «филологов» и всех остальных социальных групп проявляется непосредственно: лица филологических профессий как такие носители языка, которые наиболее чутко реагируют на новшества, иногда оказываются «впереди» других групп в использовании того или иного варианта.

Так, например, произношение *рекú*, по нашим данным, свойственно 32% филологов, тогда как среди обследованных рабочих так говорит меньше 30% — остальные предпочитают традиционное накоренное ударение; сходная картина — в распределении формы *бороздú* (40, 2 и 36,5% соответственно). Устаревшую глагольную форму *гаснул* употребляет почти половина рабочих и служащих (48,8 и 46,9%), а среди филологов таких людей меньше одной трети, остальные же (71,7%) употребляют более новую форму *гас*.

Можно сказать, что в речевом поведении представителей филологической интеллигенции взаимодействуют две разнонаправленные тенденции: к сохранению традиционных языковых средств и к дифференцированному принятию новшеств.

Незначительность количественных расхождений между группами в использовании подавляющего большинства исследованных нами вариантов косвенно указывает на то, что в современном обществе языковые различия, обусловленные неодинаковостью социального статуса говорящих, невелики и, по-видимому, испытывают тенденцию к дальнейшему уменьшению¹⁹. Этот процесс может быть поставлен в связь с процессами со-

¹⁹ Ср. вывод, к которому, на основе собственных наблюдений, а также результатов, полученных другими исследователями, пришел Дж. Фишман: тенденция к уменьшению социальных и социально обусловленных языковых различий свойственна высшим и средним классам буржуазного общества (т. е. носителям литературной формы национальных языков), тогда как в низших классах действует тенденция к сохранению таких различий (см.: J. A. Fishman, *The sociology of language: an interdisciplinary social science approach to language in society*, «Advances in the sociology of language», ed. by J. Fishman, The Hague — Paris, 1971, стр. 284).

циального характера: тесными контактами между различными общественными слоями и группами, социальным перемешиванием, интенсификацией так называемой «вертикальной» мобильности (главным образом «снизу вверх») и некот. др. Немаловажное значение имеют и такие, казалось бы, «внешние» для языка факторы, как доступность высшего образования и, в связи с этим, всех видов профессий в принципе для любого члена нашего общества.

Этому фактору принято приписывать одностороннее действие: повышение культурного уровня всех слоев общества, приобщение к культуре и, в частности, к литературному языку выходцев из крестьянских и рабочих семей. Однако существенна и другая сторона: воздействие культурных и языковых черт, присущих представителям этих слоев, на ту среду, к которой они приобщаются и которую, в некотором отношении, они сами формируют: современная советская интеллигенция в значительной мере состоит из интеллигентов в первом и втором поколениях. Это воздействие, в частности, способствует уменьшению в литературной речи традиционных вариантов и облегчает распространение и укрепление в ней новых вариативных средств.

*

Рассмотренные в этой статье три вида социально-языковой зависимости в распределении вариантов (территориальная, возрастная и социально-профессиональная) позволяют сделать некоторые выводы.

Во-первых, обнаруживается, что явление вариативности локализовано лексически: вариантность не характеризует в равной мере все лексемы, в которых она реализуется; чаще всего она актуальна для отдельных форм слова, а не для всей его парадигмы. Этим фактором — лексической локализацией — объясняется и неравномерность распределения однородных в фонетическом или морфологическом отношении, но лексически разных вариантов: амплитуда колебания показателей нередко очень значительна (ср. табл. 3, 7, 8, 9).

Во-вторых, на характер распределения вариантов оказывают влияние их собственные лингвистические свойства: а) стилистическая контрастность/неконтрастность вариантов (составляющих пару или ряд); б) равновесность/неравновесность²⁰ членов одной и той же вариативной пары по частоте (в нашей выборке); в) употребительность членов вариативной пары в речи (частотность).

Эти факторы, по нашим данным, влияют на распределение вариантов следующим образом: наибольшим социальным колебаниям подвержено распределение стилистически контрастных равновесных вариантов, являющихся словоформами употребительных в речи лексических единиц.

В-третьих, рассмотренные характеристики носителей языка — территориальная, возрастная и социально-профессиональная — в неодинаковой степени обуславливают распределение вариантов: они различаются по силе (т. е. по тому, насколько велики колебания в показателях между социальными группами) и д и а п а з о н у (т. е. по тому, распределение какого числа вариантов, реализующих данное вариативное явление, зависит от данной социальной характеристики). Наиболь-

²⁰ Равновесными мы называем варианты, показатели распределения которых колеблются в примерно одинаковых границах: так, если распределение и того, и другого члена вариативной пары находится в пределах 40—60% (разумеется, с колебаниями показателей в разных социальных группах), то такие варианты равновесны; если же один вариант составляет 80—90%, а второй (соотносительный с ним) — 20—10%, то такие варианты неравновесны.

шей силой и более широким диапазоном обладает географический признак: распределение вариантов в значительной степени обусловлено территориальными различиями носителей литературного языка. На втором месте — возрастные различия, на третьем — различия в социальном положении.

В-четвертых, если сравнивать характер воздействия этих признаков на распределение фонетических и распределение морфологических вариантов, то можно наблюдать такую закономерность: число релевантных социальных признаков и их воздействие (= лингвистическая значимость) на распределение фонетических вариантов больше; распределение морфологических вариантов в меньшей степени обусловлено различиями в социальной характеристике говорящих ²¹.

²¹ Следует указать, что в распределении словообразовательных вариантов, которые также были исследованы в нашей монографии, эта обусловленность еще меньше. В связи с этим возникает предположение о том, что социальному варьированию подвержены в первую очередь автоматизированные (неконтролируемые в процессе коммуникации) речевые навыки; произносительные навыки являются как раз такими.

Л. С. БАРХУДАРОВ

К ВОПРОСУ О ПОВЕРХНОСТНОЙ И ГЛУБИННОЙ СТРУКТУРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В наши дни вряд ли кто-нибудь станет отстаивать без существенных оговорок известное положение Соссюра о том, что «в языке нет ничего, кроме различий.. в языке имеются только различия без положительных моментов»¹. Направленная своим полемическим острием против атомизма младограмматической школы, в трактовке которой язык предстал как множество разрозненных элементов, эта формулировка сыграла в истории языкознания определенную положительную роль, обратив внимание на фундаментальный характер понятия различия для структуры языка; однако ни одно из лингвистических направлений XX в., за исключением разве глоссематики, не оказалось в состоянии последовательно провести в жизнь это положение в практике описания системы какого-либо конкретного языка. Это и понятно — ведь сам Соссюр вынужден признать, что «различие, вообще говоря, предполагает положительные моменты, между которыми оно и устанавливается»², т. е. различие может быть только между чем-то и чем-то другим. Именно поэтому для структуры языка существенны как различия, так и сами элементы или «положительные моменты», между которыми устанавливаются эти различия.

Существует, однако, и другая сторона дела. Сами различия в языке, так сказать, различны, т. е. в языковой структуре существуют качественно разные типы различий. Представляется, что для строя языка принципиально важным является наличие двух основных типов различий между языковыми единицами, которые можно назвать различиями в а р и а т и в н ы м и и различиями ф у н к ц и о н а л ь н ы м и. К первому типу — вариативным — принадлежат различия в плане выражения, которым не соответствуют различия в плане содержания, т. е. различия, не несущие функциональной нагрузки, так сказать, семантически ненасыщенные. Ко второму типу, как говорит само название, относятся различия, функционально существенные, т. е. различия в плане выражения, сигнализирующие о наличии различий в плане содержания. Естественно, что разница между различиями вариативными и функциональными весьма существенна для структуры языка: и те, и другие являются неотъемлемой ее частью, но лишь функциональные различия дают языку возможность выполнять его роль средства общения, т. е. передачи смысла.

В истории языкознания впервые разница между различиями вариативными и функциональными была осознана на фонологическом уровне и получила свое выражение в виде теории фонем. В самом деле, суть фонемной теории состоит в противопоставлении, с одной стороны, фонем, т. е. функционально значимых, смыслоразличительных звуковых единиц, с другой стороны, вариантов фонем (аллофонов), разница между которыми не несет никакой смыслоразличительной функции и определяется

¹ Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 119.

² Там же.

лишь особенностями позиции (дистрибуции) звуковых единиц в потоке речи, правилами их комбинаторики с другими звуковыми единицами и т. д. При этом, что особенно важно, разница между фонемами и их вариантами отнюдь не определяется характером самих реальных артикуляционных и акустических различий между данными звуковыми единицами: общеизвестно, что разница в артикуляции и акустических признаках между вариантами одной и той же фонемы нередко бывает не меньше (а то и больше) соответствующей разницы между различными фонемами в структуре того же языка. Еще более обычны случаи, когда одинаковая разница между звуками, например, по твердости — мягкости, глухости — звонкости и др., в одних языках является вариативной, т. е. различает варианты одних и тех же фонем, а в других — функциональной, различающей разные фонемы. Это свидетельствует о том, что вариативные и функциональные различия противопоставляются не в количественном, а в качественном отношении: важна не абсолютная степень разницы между языковыми единицами в плане выражения, а то, сопровождается она или нет соответствующей разницей в плане содержания, т. е. выполняет ли она смысловоразличительную функцию.

Вторым важным этапом в развитии лингвистической теории явилось перенесение противопоставления различий вариативных и функциональных на морфологический уровень, получившее свое выражение в теории морфофонемных альтернатив. Здесь, как и в фонологии, существенно противопоставление функционально значимых единиц — морфем и их вариантов (алломорфов), разница между которыми не сопряжена с семантическими различиями. Опять-таки, противопоставление морфем и вариантов морфем (алломорфов) не связано с количественной мерой реальных различий между единицами морфологического уровня: вариативная разница между алломорфами может быть максимальной, например, в случаях супплетивности, в то время как функциональная разница между морфемами может быть минимальной в плане выражения (ср. *стол* — *столь* и т. п.).

При этом, как крайний случай, наблюдаются ситуации, при которых разница в плане выражения между функционально различными единицами вообще отсутствует, т. е. формальные различия между ними сводятся к нулю. Так, по крайней мере в трактовке некоторых фонологических школ, возможны случаи, когда один и тот же по своим артикуляционным и акустическим свойствам звук в одних случаях репрезентирует одну фонему, в других — другую; например, звук [л] в русском слове [вада́] «вода» является аллофоном фонемы /o/, в то время как в слове [самá] «сама» тот же звук является аллофоном фонемы /a/ — явление, известное под названием нейтрализации фонемных оппозиций. Подобным же образом на морфологическом уровне наблюдаются случаи омонимии, когда внешне совпадающие по своему фонемному составу морфы оказываются алломорфами разных морфем — ср. русск. *стол-á* и *дом-á*, где в первом случае -á является морфемой род. падежа ед. числа муж. рода, а во втором — морфемой им. падежа мн. числа муж. рода; или английское (*his*) *books* и (*he*) *speaks*, где -s в первом случае — морфема мн. числа существительного, во втором — 3-го лица настоящего времени глагола и т. д.

На первый взгляд такие ситуации выглядят парадоксально — ведь выше мы определили функциональные различия как различия в п л а н е в ы р а ж е н и я, сигнализирующие о наличии различий в плане содержания; теперь же оказывается, что в некоторых случаях функциональные единицы языка могут полностью совпадать в плане выражения, различаясь лишь в плане содержания. Действительно, нормальной для

языка (и для любой другой коммуникативной системы) является ситуация, при которой разница в содержании сигнализируется соответствующей разницей в выражении; что же касается случаев омонимии, то они могут существовать в общей системе языка лишь как своеобразные исключения, вкрапления на общем фоне сетки различий, пронизывающих всю языковую структуру. Прежде всего следует иметь в виду, что единицы языка в речи функционируют в составе других, более сложных единиц высшего порядка, так что омонимия единиц низшего уровня находит свое разрешение при их употреблении в речи через различие единиц высшего уровня, в составе которых они употребляются. Так, омонимия русских падежных окончаний в словоформах *столá* и *домá* разрешается через различие тех синтаксических конструкций, в составе которых эти словоформы употребляются: *ножка стола*, но *стояли дома*, при невозможности **стояли стола* и т. п.; точно таким же образом английские морфемы мн. числа и 3-го лица глагола различаются через синтаксические конструкции, в составе которых они употребляются: *his books*, но *he speaks*, при невозможности **his speaks* и пр. Иными словами, омонимичные единицы различаются своими дистрибутивными признаками, а поскольку дистрибуция той или иной языковой единицы есть ее формальный признак, постольку имеются все основания считать их не только семантически, но и ф о р м а л ь н о различными. Что касается возможности различения единиц языка, в изолированном виде совпадающих по форме, через единицы более высокого порядка, в составе которых они употребляются, то это явление, по-видимому, свидетельствует о существовании в языковой структуре тенденции к экономии средств выражения: нет необходимости во всех случаях различать единицы низшего уровня там, где разница между ними может быть выражена дистрибутивно, т. е. через единицы высшего уровня³.

С другой стороны, необходимо учитывать, что омонимия на уровне фонологии и морфологии разрешается и другим путем, а именно, благодаря тому, что наряду с омонимичными вариантами, в составе тех же самых функциональных единиц (фоном, морфем) встречаются и неомонимичные, т. е. внешне различающиеся варианты. Так, наряду с аллофоном [л], общим (по крайней мере, в трактовке московской фонологической школы) для двух фонем — /a/ и /o/, эти же фонемы имеют и другие аллофоны, обеспечивающие, в целом, достаточно четкое формальное различие между указанными фонемами. Подобным же образом русская морфема им. падежа мн. числа муж. рода, наряду с алломорфом *-á* (*домá*), имеет и другие варианты, например, *-ы* (*столы*), которых не имеет морфема род. падежа ед. числа муж. рода; английская морфема мн. числа существительных, наряду с алломорфом *-s*, омонимичным морфеме 3-го лица настоящего времени глаголов, представлена также и алломорфами *-en* (*oxen*), *-ren* (*children*) и некоторыми другими, отсутствующими у глагольной морфемы 3-го лица. В целом, стало быть, формальное различие между семантически различающимися единицами языка находит себе в общей системе данного языка достаточно четкое выражение.

³ Трудно согласиться с Р. А. Будаговым, который рассматривает случаи омонимии и многозначности в языке как доказательство несостоятельности принципа экономии (см. его статью «Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка», ВЯ, 1972, 2). Как раз наоборот, существование таких «многоплановых» единиц языка является одним из проявлений принципа экономии, сущность которой отнюдь не состоит, как утверждает Р. А. Будагов, в принципе «поменьше, а не побольше» («экономия» не есть «бедность»), а в принципе «поменьше не п р о и з в о д и т е л ь н ы х з а т р а т». Другое дело — и в этом мы согласны с Р. А. Будаговым, — что сводить все развитие и функционирование языка к принципу экономии, действительно, вряд ли правомерно.

Наряду с омонимией, противопоставление вариативных и функциональных единиц в языке дало возможность также объяснить и такое, в некотором смысле, прямо противоположное явление, как синонимию (в самом широком смысле этого слова): очевидно, синонимичными следует признать единицы языка, находящиеся в отношении так называемого свободного варьирования, т. е. свободно замещающие друг друга в одинаковых окружениях без каких-либо различий в передаваемом содержании. Правда, в «чистом виде» такое варьирование встречается, как известно, довольно редко; обычно синонимичные единицы языка отличаются друг от друга определенными коннотативными (стилистическими, эмоциональными, экспрессивными) оттенками, на чем основано, как известно, само понятие «стилистических синонимов», играющих важную роль в системе языка.

Итак, разграничение вариативных и функциональных различий на фонологическом и морфологическом уровнях дало возможность четко противопоставить в строе языка единицы значимые, функционально нагруженные («эмы») и единицы незначимые, семантически тождественные («алло-»). Дело, однако, значительно осложнилось при переходе на следующий, более высокий уровень — синтаксический. Применительно к этому уровню «аллоэмиическая модель» в ее классическом виде, разработанном для морфологического и фонологического уровней, оказалась малоэффективной, а попытки выделения элементарной функциональной единицы синтаксического уровня, аналогичной фонеме и морфеме более низких уровней языковой иерархии — «синтаксемы» или «синтагемы», — окончились, в целом, неудачей, ибо сам критерий выделения функциональных единиц языка и их вариантов, применяемый на более низких уровнях (принцип дополнительной дистрибуции), на уровне синтаксиса оказался совершенно непригодным. Этого, в общем, и следовало ожидать, так как сам изоморфизм синтаксического уровня и уровней морфологического и фонологического является весьма относительным. Дело в том, что сами основные единицы уровня синтаксиса — предложения (если иметь в виду конкретные предложения) — относятся, по своей природе, не к языку, а к речи: в то время как инвентарь конкретных фонем и конкретных морфем для любого языка строго определен и список этих единиц всегда является составной частью системы данного языка, инвентарь предложений, как известно, бесконечен и не может быть задан никаким списком, в силу чего единицей синтаксиса оказывается уже не конкретное предложение, а абстрактная схема («модель», или, по А. И. Смирницкому⁴, «формула строения» предложения) в отвлечении от ее конкретного лексического наполнения. Иными словами, синтаксис оперирует не столько языковыми единицами, сколько отношениями и между языковыми единицами в строе связной речи; фундаментальное для синтаксиса понятие синтаксической функции является, прежде всего, понятием отношения между словами в строе предложения⁵. Именно поэтому попытки механического перенесения на синтаксический уровень «аллоэмиической модели», предназначенной, прежде всего, для идентификации дискретных единиц языка, оказались принципиально несущественными.

Положение в корне изменилось в связи с разработкой в современной синтаксической теории концепции поверхностной и глубин-

⁴ См.: А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, М., 1957, стр. 35—36.

⁵ Об этом см., например: N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 68—69.

ной синтаксической структуры. Указанная концепция исходит из наличия в строе предложения двух типов синтаксических отношений — отношений поверхностных, т. е. формально непосредственно выраженных (морфологически, порядком слов и другими средствами) в данном предложении, и глубоких, вскрываемых только путем сопоставления данного предложения с другими, семантически идентичными предложениями того же языка и отражающих существенные смысловые связи элементов предложения друг с другом. При этом, что особенно важно, разные по поверхностной структуре синтаксические конструкции могут иметь одинаковую глубинную структуру; так, в русском языке конструкции *Студенты сдали экзамен*, *То, что студенты сдали экзамен...*, *Сдача экзамена студентами...*, *Сдав экзамен, студенты...*, *(Студенты,) которые сдали экзамен...*, *(Студенты,) сдавшие экзамен...*; различаются по своей поверхностной структуре, но все они имеют одинаковую глубинную структуру, которая может быть обозначена (в скобочной записи⁶) примерно как *(студент + мн. число) + {(сдавать + соверш. вид + прош. вр.) + экзамен}*. Единство глубинной структуры всех этих конструкций базируется, во-первых, на тождестве их морфемного состава, во-вторых, на тождестве основных семантико-синтаксических отношений между глаголом-действием и его актантами (субъектом и объектом действия); разница же между ними заключается, во-первых, в разном характере поверхностных синтаксических связей между компонентами данных конструкций (связь подчинительная, предикативная и пр.) и, во-вторых, в разных способах включения (embedding) этих конструкций в строй синтаксических конструкций более высокого порядка («матричных»).

Поскольку одна и та же глубинная структура реализуется как множество поверхностных, мы имеем здесь аналогию с фонологическим и морфологическим уровнями, где одна и та же функциональная единица (фонема, морфема) также может реализоваться как множество вариантов (аллофонов, алломорфов). Аналогию можно продолжить — подобно тому, как из всех вариантов одной и той же фонемы или морфемы один обычно является основным («сильный вариант» в фонологии, вариант с наибольшей свободой встречаемости или «свободная форма» в морфологии), из всех поверхностных структур, реализующих одну и ту же глубинную, одна обычно является основной или «ядерной»⁷ (в нашем примере, *Студенты сдали экзамен*).

Итак, мы определяем глубинную структуру предложения как систему выражаемых в предложении смысловых отношений⁸, а его поверхностную структуру — как реально употребляемую в процессе языковой коммуникации грамматическую форму («формулу строения»). Эlemen-

⁶ Скобочная запись, вообще говоря, не самая удачная (она создает ошибочное впечатление, что глубинная структура так же обладает свойством линейности, как и поверхностная); поэтому предпочтительнее было бы пользоваться схемой типа «дерева зависимостей». Такие лексические символы, как *студент* и пр., также нежелательны, поскольку на глубинном уровне лексические элементы следовало бы представлять, видимо, как пучки элементарных смысловых компонентов или «семантических множителей».

⁷ Ср. сходное, но не вполне идентичное понятие «basic — структуры» в работе А. К. Жолковского и И. А. Мельчука «К построению действующей модели языка „смысл — текст“», сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 11, М., 1969, стр. 11.

⁸ Ср. следующую характеристику глубинной структуры предложения в кн.: R. J a c o b s, P. R o s e n b a u m, *English transformational grammar*, Waltham (Mass.), 1968: «...глубинная структура предложения передает его значение, поскольку глубинная структура содержит всю информацию, необходимую для определения значения предложения» (стр. 19).

тами глубинной структуры предложения являются лексемы⁹, между которыми устанавливаются денотативно значимые, т. е. отражающие различия в самой описываемой ситуации глубинные синтаксические отношения (например, «действие и его актанты — деятель, объект действия и пр.»; «действие и обстоятельства его протекания» и др.); элементами же поверхностной структуры предложения являются конкретные словоформы, между которыми существуют поверхностные синтаксические отношения («экзоцентрическая» и «эндоцентрическая» связь с подразделением последней на подчинительную, сочинительную и др.). Одна и та же глубинная структура может реализоваться, в зависимости от многочисленных коммуникативных, прагматических и внутриязыковых факторов, в виде различных поверхностных структур, находящихся друг с другом в определенных трансформационных отношениях.

Таким образом, теория, исходящая из различения и противопоставления поверхностной и глубинной структуры предложения дает, наконец, возможность перенести противопоставление вариативных и функциональных различий на уровень синтаксиса: различия между глубинными структурами суть различия функциональные, семантически (денотативно) значимые, в то время как различия между поверхностными структурами, репрезентирующими одну и ту же глубинную структуру, являются по своему характеру вариативными. Далее, как и на фонологическом и морфологическом уровнях, различие между глубинными и поверхностными структурами дает возможность формального обоснования явлений омонимии и синонимии: синтаксическими омонимами оказываются конструкции, имеющие одну и ту же поверхностную структуру, но различные глубинные структуры, например русск. *приглашение писателя*, которое может репрезентировать две различных глубинных структуры — (*писатель*) + (*приглашать* + *кто-то*) и (*кто-то*) + (*приглашать* + *писатель*); к синтаксическим синонимам, напротив, относятся конструкции, имеющие различную поверхностную структуру при одинаковой глубинной (например, *Студенты, которые сдали экзамен* и *Студенты, сдавшие экзамен*) и находящиеся в отношении так называемого свободного варьирования, причем между синтаксическими синонимами также может существовать определенная стилистическая разница, как и между синонимами вообще¹⁰.

Говоря о теории поверхностных и глубинных структур, необходимо дать два существенных, на наш взгляд, разъяснения. Во-первых, эта теория в сознании многих лингвистов ассоциируется, прежде всего, с порождающей грамматикой в духе Н. Хомского. Действительно, для порождающей грамматики, как в варианте, разрабатываемом школой Хомского, так и в других ее разновидностях, противопоставление глубинных и поверхностных структур является фундаментально важным; однако эти понятия вполне могут использоваться и действительно используются и другими направлениями в современной лингвистике, не связанными с принципами и установками порождающей грамматики. Достаточно напомнить, что сами понятия «глубинной» и «поверхностной» грамматики были впервые введены в научный обиход Ч. Хоккетом¹¹, являющимся

⁹ О понятии «лексема» в данном значении см. в работе: S. L a m b, *Outline of stratificational grammar*, Washington, 1966.

¹⁰ Подчеркнем, что единство глубинной структуры покоится, прежде всего, на тождестве денотативных значений, т. е., в конечном счете, на тождестве описываемой ситуации. Различные поверхностные реализации одной и той же глубинной структуры могут различаться в плане коннотативных (эмоциональных, экспрессивных и пр.) значений. См. в этой связи: W. C h a f e, *Directionality and paraphrase*, «Language», 47, 1, 1971.

¹¹ См.: Ch. H o c k e t t, *A course in modern linguistics*, New York, 1958, гл. 29.

убежденным противником теории порождающей грамматики Хомского¹²; пользуются ими и другие лингвисты, далекие от «хомскианских» идей, как например, М. Хэллидей¹³ и др. Разумеется, следует иметь в виду принципиально иную трактовку этих понятий в порождающей и в аналитической («таксономической») грамматике: для первой глубинные структуры суть исходные единицы, от которых по заданным правилам порождаются поверхностные структуры; для второй, как мы пытались показать, глубинные структуры представляют собой функционально значимые абстрактные синтаксические модели, реальными проявлениями которых являются структуры поверхностные, находящиеся друг с другом в вариативных отношениях.

Во-вторых, следует отметить, что среди многих языковедов распространено скептическое, если не сказать прямо отрицательное, отношение к понятию глубинной структуры предложения, в которой эти языковеды усматривают абстрактно-логическую схему, не отражающую реальных отношений, существующих в языковой действительности. Так, Н. Ю. Шведова в свое время выражала озабоченность в связи с тем, что «реально принадлежащие языку структуры объявляются „поверхностными“, а собственно грамматическими, „глубинными“ признаются структуры, реконструируемые лингвистом на основе своей собственной теории — пустьстройной, но основанной на чисто умозрительных предпосылках»¹⁴.

Следует со всей решительностью сказать, что для этих опасений нет никаких оснований. Прежде всего, повышенный интерес к проблемам глубинной грамматики, характерный для многих направлений современного языкознания, вовсе не означает пренебрежительного отношения к поверхностным структурам или их недооценку. Поверхностная структура предложения, безусловно, является столь же «собственно грамматической» и столь же заслуживающей изучения, сколь и глубинная. Не существует и не может существовать никаких серьезных оснований для того, чтобы при описании синтаксического строя языка игнорировать или недооценивать его поверхностную структуру (да это и невозможно, если учитывать, что глубинная структура вскрывается лишь через поверхностную, при ее посредстве) — речь идет о другом, а именно, о том, что грамматическая теория не должна ограничиваться описанием лишь одной поверхностной структуры предложения, но должна идти дальше, от поверхностной структуры к глубинной.

Далее, ошибочно полагать, что глубинные структуры являются чисто умозрительными построениями, абстрактными схемами, не отражающими реальных языковых отношений. Конечно, в отличие от поверхностной, глубинная структура предложения непосредственно не дана исследователю в наблюдении, но этим она ничем не отличается от всех других научных лингвистических абстракций, таких, как фонема, морфема, лексема и пр., которые также являются непосредственно ненаблюдаемыми объектами. Глубинные структуры выводятся исследователем, конечно, на основе определенной («своей собственной» или принадлежащей кому-нибудь другому) научной теории, и з п о в е р х н о с т н ы х с т р у к т у р путем их сопоставления, сравнения и установления в них общих признаков, своего рода «семантических инвариантов синтаксиса», являющихся не домыслами самих исследователей, а отображением реальных отношений, которые объ-

¹² См. его работу «The state of the art» (The Hague, 1968), где дается крайне резкая, но не всегда убедительная критика лингвистических взглядов Н. Хомского и его школы.

¹³ См., например: M. Halliday, Some notes on «deep» grammar, «Journal of linguistics», 2, 1966.

¹⁴ См. работу Н. Ю. Шведовой «Существуют ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения» (ВЯ, 1968, 2, стр. 41).

активно существуют в самом языке, хотя и не даны нам в непосредственном наблюдении. В этом смысле глубинная структура предложения также является *формально выраженной*, хотя и не непосредственно в данном предложении, но косвенно, через сопоставление данного предложения с другими предложениями того же языка, с которыми это предложение находится в системных структурно-семантических отношениях, объективно существующих в самой языковой действительности.

Правда, можно было бы, кажется, возразить, что термин «глубинная структура» неправилен потому, что речь идет не о структуре предложения, а о выражаемых в нем семантических отношениях. Однако такое возражение базируется на слишком узком и формальном понимании термина «структура»; как уже неоднократно отмечалось в лингвистической литературе¹⁵, поскольку строй любого языка есть система, постольку структура любой единицы языка может быть полностью раскрыта только при учете ее связей с другими единицами того же языка. Применительно к предложению это значит, что глубокое понимание структуры предложения требует обязательного учета отношения «формулы строения» данного предложения к формулам строения других предложений языка, а именно на этом отношении и базируется понятие глубинной структуры. Кроме того, следует учесть, что другие функционально значимые единицы языкового строя, такие, как фонема или морфема, также базируются, по сути дела, на смысловозначительной или семантической общности формально несхожих единиц языка, т. е. являются не только формально, но и семантически мотивированными — что вполне естественно, учитывая двусторонний характер любого языкового (и неязыкового) знака, единство его формальной и содержательной стороны.

Нам представляется, что понятия поверхностной и глубинной структуры предложения находятся друг с другом в отношении, которое марксистская философия устанавливает для категорий *явления и сущности*.

Подобно тому, как возникновение в лингвистике теории фонем дало возможность свести все бесконечное разнообразие реально произносимых звуков к строго ограниченному инвентарю функционально значимых звуковых типов, возникновение теории поверхностных и глубинных синтаксических структур дало возможность за бесконечным разнообразием реально употребляемых в речи предложений увидеть строго ограниченное количество функционально значимых синтаксических отношений. В этом плане представляется уместным говорить о «редуцирующей способности» теории поверхностных и глубинных структур, имея в виду под «редуцирующей способностью» сведение всего многообразия реально функционирующих в речи единиц к ограниченному инвентарю непосредственно ненаблюдаемых, но семантически существенных элементарных единиц. В этом смысле «редуцирование» не только не является недостатком грамматической теории, как полагают некоторые¹⁶, но напротив, должно рассматриваться как необходимое свойство любой подлинно научной теории. Научная химия немыслима без «редуцирования» всего бесконечного многообразия реально встречающихся во вселенной веществ к ограниченному инвентарю первичных элементов, в результате комбинаций которых образуются все вещества; научная физика немыслима без «редуцирования» бесконечного множества реально существующих объектов к ограниченному набору исходных элементарных частиц, которые в своих комбина-

¹⁵ См., например, в моей работе «Структура простого предложения современного английского языка» (М., 1966, стр. 25—27).

¹⁶ См.: В. Г. Адмони, Опыт классификации грамматических теорий в современном языкознании, ВЯ, 1971, 5.

циях образуют все реально существующие предметы; научная генетика немислима без того, чтобы «редуцировать» все бесконечное множество реально наблюдаемых индивидуальных признаков организмов к строго ограниченному набору элементарных носителей наследственности — генов или молекул ДНК, различные сочетания и комбинации которых порождают бесконечное разнообразие индивидуальных свойств живых организмов; и т. д. Разве из этого не вытекает, что научный синтаксис имеет полное право — более того, о б я з а н — «редуцировать» бесконечное множество реально употребляемых в речи синтаксических структур к строго ограниченному¹⁷ набору элементарных синтаксических отношений. Суть «редуцирующей способности», стало быть, заключается в сведении явления к сущности, бесконечного к конечному, без чего невозможна никакая наука.

Приведем теперь несколько примеров, характеризующих, как мы полагаем, указанное свойство теории глубинных структур. Русские предложения типа *Он здоров*, с одной стороны, и *Он был здоров*, *Он будет здоров* — с другой, различаются по своей поверхностной структуре: в первом из них глагол отсутствует и сказуемое характеризуется как чисто именное, в то время как во втором и третьем употребляется глагол-связка *быть* в составе сказуемого, которое может быть охарактеризовано как глагольное или глагольно-именное. Интуитивно, однако, мы ощущаем, что семантические отношения между субъектом и его признаком во всех этих трех предложениях одинаковы, а разница между ними сводится исключительно к различию по линии категории времени. Эта наша языковая интуиция находит подтверждение в теории поверхностной и глубинной структуры, согласно которой все эти три предложения имеют одну и ту же глубинную синтаксическую структуру, а отсутствие глагола-связки *быть* в первом предложении есть факт его поверхностной структуры, не влияющий на глубинные семантические отношения между словами в предложении; единственная глубинная лексема, различная во всех трех предложениях, есть лексема времени. Правда, здесь возможны две трактовки в зависимости от того, рассматривать ли глагол-связку *быть* как элемент глубинной или поверхностной структуры. Согласно первой, более распространенной трактовке, связка *быть* является глубинным элементом, в форме настоящего времени подвергающимся эллипсису или «стиранию» (*deletion*), т. е. замене нулем; согласно второй¹⁸, этот глагол, напротив, является принадлежностью поверхностной структуры и вводится в предложение как формальный служебный элемент — носитель морфем прошедшего и будущего времени¹⁹. Так или иначе, структурная однотипность указанных предложений при их внешнем формальном несходстве находит адекватное объяснение при обращении к понятию глубинной структуры.

Второй пример связан с трактовкой отношений между подлежащим и сказуемым в русских предложениях типа *Он пришел* — *Она пришла*, *Он болен* — *Она больна*, с одной стороны, и *Я/ты пришел* — *Я/ты пришла*, *Я/ты болен* — *Я/ты больна*, с другой. Традиционная грамматика ус-

¹⁷ Вполне возможно, что число таких элементарных глубинных синтаксических отношений не превышает пяти-шести; сюда относятся отношения субъектное, объектное (прямое и косвенное), определительное в широком смысле слова и, возможно, некоторые другие (ср.: А. К. Жолковский и И. А. Мельчук, указ. соч., стр. 40).

¹⁸ См.: E. V a s h, *Have and be in English syntax*, «Language», 43, 2, 1967; в неясном виде эта точка зрения принята также в академической «Грамматике современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 560 (примечание).

¹⁹ Впрочем вполне вероятно, что обе эти точки зрения не исключают друг друга: возможно, глагол-связка *быть* является необходимым элементом глубинной структуры третьего порядка, но отсутствует в максимально глубокой структуре четвертого порядка (об этих понятиях см. ниже.).

матривает явление согласования (в наших примерах, в роде) только при подлежащем в форме 3-го лица, при подлежащем же — местоимении 1 и 2-го лица согласование внешне не выражено, и в этом случае приходится ссылаться на соответствие формы рода сказуемого «реальному полу субъекта», т. е. апеллировать, по сути дела, к экстралингвистическим факторам. Конечно, в этом нет ничего принципиально недопустимого — в языке нередки случаи, когда употребление тех или иных грамматических форм определяется экстралингвистическими факторами; однако нежелательно положение, при котором употребление одних и тех же форм в одних случаях объясняется формально-грамматически («согласование»), а в других — экстралингвистически («ориентировка на пол реального субъекта»). С точки зрения теории глубинных структур, однако, здесь во всех случаях налицо одно и то же явление — согласование сказуемого с подлежащим, однако, не с поверхностным подлежащим-местоимением, а с глубинным субъектом, выраженным субстантивной лексемой (ср. *Иванов пришел — Иванова пришла*). Что касается личных местоимений, типа *я, ты, он, она* и др., то они являются элементами поверхностной структуры и появляются в ней в результате «прономинализации» (местоименного замещения) глубинного субъекта. Такая трактовка не только дает возможность вывести единое правило для поверхностно различных случаев употребления форм рода в сказуемом, но и соответствует давно укоренившемуся в традиционной грамматике пониманию местоимения как «заместителя имени».

Здесь мы сталкиваемся еще с одним свойством теории глубинных структур, а именно, ее способностью дать формальное подтверждение многим положениям и понятиям традиционной школьной грамматики, которые в свое время отрицались или брались под сомнение так называемой «теоретической» или «научной» грамматикой. Ярким примером такого понятия традиционной грамматики, подвергшегося «реабилитации» в свете теории глубинных структур, является понятие эллипсиса. В своих работах²⁰ я уже высказывался по этому вопросу; напомним только, что столь широко использовавшееся в традиционной грамматике понятие эллипсиса, которое многие приверженцы позднейшей «научной» грамматики отрицали (а частично и сейчас продолжают отрицать) как смешение языковых и логических категорий, находит вполне адекватное объяснение в свете теории глубинных структур, согласно которой эллипсис — не что иное, как «стирание» или замена нулем в поверхностной структуре предложения тех или иных элементов его глубинной структуры.

Далее, теория глубинных структур дает, как мы надеемся, возможность разрешить, а точнее снять, целый ряд споров и разногласий, бытовавших некогда (а порой бытующих и сейчас среди лингвистов различных направлений) относительно анализа тех или иных типов синтаксических связей слов в предложении. При ближайшем рассмотрении оказывается, что чаще всего эти споры вызваны тем, что одни языковеды, говоря о «синтаксических отношениях», имеют в виду отношения поверхностные, а другие — глубинные. Так, например, существует несколько точек зрения на синтаксические функции прилагательного в конструкциях типа *Путники вернулись усталые, День начинался пасмурный* и им подобных: одни грамматисты полагают, что прилагательное в этих конструкциях определяет существительное, выступая как особого рода атрибут («предикативный атрибут»); другие, напротив, считают, что оно входит в группу глагола, образуя с ним единое глагольно-именное сказуемое; наконец, третьи

²⁰ См. мою упомянутую выше монографию «Структура простого предложения современного английского языка», стр. 176—188, а также мою докторскую диссертацию «Проблемы синтаксиса простого предложения современного английского языка» (М., 1965, гл. IV, стр. 527—568).

усматривают здесь двустороннюю связь прилагательного — как с подлежащим, так и с глаголом-сказуемым. Теория глубинных структур снимает все эти споры: правы здесь и те, и другие, и третьи, поскольку прилагательное на поверхностном уровне здесь действительно связано с глаголом, а на уровне глубинном является связанным с подлежащим — субъектом выражаемого им признака; стало быть, прилагательное находится в указанного типа конструкциях в двусторонней связи, как с глаголом, так и с подлежащим-существительным, но это связи разных структурных уровней — поверхностного и глубинного.

Подобным же образом теория глубинных структур снимает спор о том, как трактовать тип синтаксической связи в словосочетаниях типа *приезд отца* — имеется ли здесь атрибутивная или субъективно-предикативная связь. На поверхностном уровне связь здесь, действительно, атрибутивная, поскольку *п о в е р х н о с т н а я* структура сочетания *приезд отца* аналогична структуре сочетания *дом отца*, на глубинном же уровне здесь имеется связь субъектная, так как *г л у б и н н а я* структура этого словосочетания та же, что и у предложения *Отец приехал*.

Наконец, следует отметить практическое значение теории глубинных структур для ряда отраслей прикладного языкознания, в частности для лингвистической теории перевода. Сопоставительный анализ подлинников и их иноязычных переводов приводит к выводу, что при переводе глубинная структура предложения сохраняется, как правило, неизменной, в то время как его поверхностная структура подвергается обычно многочисленным и разнообразным изменениям или «переводческим трансформациям». Обращение к понятию глубинной структуры дает тем самым возможность определить понятие «семантического инварианта» в переводе применительно к структуре предложения и сформулировать лингвистическую теорию перевода более адекватным образом, чем это имело место при традиционном подходе, при котором проводилось непосредственное сравнение поверхностных структур предложения исходного и предложения переведенного, что нередко наталкивало на мысль об отсутствии каких-либо закономерных грамматических соответствий при переводе. На самом деле такие соответствия, безусловно, существуют, но не на поверхностном, а на глубинном уровне. Рамки данной статьи не дают возможности подробнее остановиться на этом интересном вопросе; могу только сослаться на имеющуюся литературу по теории перевода, в частности, на работы Ю. Найды²¹, где дается более глубокое рассмотрение данной проблемы.

Подведем теперь некоторые итоги.

1. Теория поверхностной и глубинной структуры предложения дает возможность перенести на синтаксический уровень противопоставление различных вариативных и функциональных, давно укоренившееся на фонологическом и морфологическом уровнях.

2. Понятие «глубинной структуры» относится, безусловно, к области синтаксической семантики; однако глубинные синтаксические отношения не являются абстрактно-логическими категориями, находящимися в сфере «чистого мышления» — как и все языковые категории, они формально выражены, но не непосредственно, а косвенным образом, через поверхностную структуру предложения, рассматриваемую в ее отношениях с поверхностными структурами других предложений. Сосредоточивая внимание на содержательных отношениях слов в предложении («действие и его субъект», «действие и его объект» и т. д.), понятие глубинной структуры дает

²¹ См.: Ю. А. Н а й д а, Наука перевода, ВЯ, 1970, 4; также: E. N i d a, Towards a science of translating, Leiden, 1964.

возможность преодолеть некоторый формализм синтаксических описаний, характерный для классического «таксономизма» 40—50-х годов XX в.

3. Теория, различающая поверхностную и глубинную структуру предложения, дает возможность объяснить явления синтаксической омонимии и синонимии.

4. Сводя все бесконечное множество реально встречающихся в речи «формул строения» предложений к строго ограниченному набору элементарных синтактико-семантических структурных типов, эта теория делает возможным максимально обобщенное и экономное описание синтаксического строя языка ²².

5. Можно надеяться, что различение понятий поверхностной и глубинной структуры будет способствовать разрешению или снятию ряда споров и разногласий, связанных с трактовкой синтаксических отношений между словами в предложении.

6. С другой стороны, это различие дает, как нам кажется, возможность научно обосновать целый ряд понятий традиционной грамматики (например, понятия «эллипсиса», «двусторонней синтаксической связи»), которые в свое время были взяты под сомнение.

7. Теория поверхностной и глубинной структуры может быть применена для решения ряда проблем прикладного языкознания, в частности, в области лингвистической теории перевода.

В заключение обратим внимание на одно немаловажное обстоятельство. На современном этапе развития синтаксической теории, видимо, уже недостаточно ограничиваться простым противопоставлением поверхностной структуры предложения глубинной. Сейчас уже совершенно ясно, что понятие «глубинной структуры» является относительным и что на самом деле следует говорить не об одной, а о целом ряде структур *р а з л и ч н о й с т е п е н и г л у б и н ы*, от максимально поверхностной до максимально глубокой. В этой связи нам представляется, что в настоящее время существуют основания выделять по крайней мере четыре уровня глубины синтаксической структуры предложения. Уровень первого порядка — максимально поверхностный — это представление структуры предложения как цепочки словоформ, как это имеет место, например, в дистрибутивной модели Ч. Фриза ²³. Уровень глубины второго порядка дает изображение непосредственных связей слов, как в модели НС или в грамматике зависимостей. Уровень глубины третьего порядка, учитывающий системные отношения структуры данного предложения со структурой других предложений, раскрывается в трансформационной модели.

Наконец, на максимально глубоком — четвертом уровне, на котором структура предложения будет, очевидно, одинаковой для всех языков, мы вскрываем универсальные мыслительные структуры ²⁴ — «суждения» и их аналоги традиционной логики. Теория глубинных структур, таким образом, вплотную подводит нас к известной проблеме отношения логики и грамматики, мышления и языка, подтверждая положение об их неразрывном диалектическом единстве.

²² О важности принципа экономии в лингвистических описаниях см., в частности, в указанной работе С. Лэма, стр. 3. Разумеется, применение этого принципа мыслимо только в очень строгих рамках; иначе оно перерастет в сознательное или бессознательное упрощенчество.

²³ Характеристику этой модели см., в частности, в моей докторской диссертации, гл. I, стр. 45—48, а также в упомянутой монографии, стр. 18—20.

²⁴ См.: С. Д. К а ц н е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 13; нам неясно, однако, почему автор считает термин *г л у б и н н а я с т р у к т у р а* «эвфемистическим».

Р. К. ПОТАПОВА, Н. Г. КАМЫШНАЯ

СЛОГОДЕЛЕНИЕ С ПОЗИЦИЙ СЕГМЕНТИРУЮЩЕЙ
ФУНКЦИИ РЕЧИ

Функционирование в языке и речи такой единицы, как слог, вызвало целый ряд попыток со стороны лингвистов, акустиков речи и других специалистов в различных областях фонетических знаний определить природу этого феномена, дать достаточно полное описание слогового инвентаря того или иного языка, определить критерии слога деления. В основном все эти попытки могут быть разбиты на две группы: 1) дать в фонетических терминах универсальное, т. е. действительное для всех языков, определение слога; 2) определить слог применительно к артикуляторным особенностям конкретного языка¹. В специальной литературе вопрос о границах слога и принципах слога деления традиционно ставился в связи с проблемой слога образования. При этом был выдвинут целый ряд различных теорий слога образования и слога деления, описание и критический анализ которых не входит в круг задач данной работы. Следует подчеркнуть, однако, что сравнительное многообразие теорий слога еще не означает того, что природа слога и принципы слога деления изучены достаточно глубоко и полно (как в рамках рече-языковых универсалий, так и в рамках отдельных рече-языковых систем). В связи с этим представляется уместным высказывание П. С. Кузнецова: «Слог является очень важной единицей системы любого языка (имеем в виду язык в его прямом смысле, т. е. не письменный, а устный, звучащий). Мы не знаем ни одного языка на земле, где бы речевой поток не делился на слоги. Но именно для этой единицы существует парадоксальный факт: в то время как говорящие на данном языке совершенно естественно воспринимают деление на слоги, научаются производить это деление еще в детском возрасте, научное решение проблемы, однозначное определение этой операции при всем большом практическом значении получения этого решения, наталкивается на очень большие трудности, и пока в полном виде вообще еще не найдено»².

Анализируя различные концепции слога, *volens-nolens* приходишь к выводу, что в большинстве случаев понятие слога используется в синхронии и диахронии без достаточно удовлетворительной дефиниции. Исходным при этом является положение о том, что понятие слога интуитивно ясно.

В нашем экспериментально-фонетическом исследовании мы рассматриваем слог как просодически организованную структуру, состоящую из одной или нескольких сегментных единиц. Подобное понимание слога дает возможность противопоставлять в потоке речи минимальные просодические структуры с учетом изменения всего комплекса просодических характеристик речи: частоты основного тона, интенсивности и длительности.

¹ A. C. Gimson, *An introduction to the pronunciation of English*, London, 1962, стр. 52.

² Из рукописного отзыва П. С. Кузнецова на экспериментально-фонетическую работу Р. К. Потаповой «Различные типы слогового стыка» (1965).

Предметом настоящей статьи является обсуждение предварительных результатов исследования акустической выраженности слогораздела на материале английского и немецкого языков применительно к наиболее спорным случаям слога деления: «краткий гласный + сонант + гласный». Прежде чем перейти непосредственно к анализу экспериментальных данных, следует подчеркнуть, что определение акустических характеристик границ слога является сложной задачей, решение которой находится в прямой зависимости от следующих факторов: 1) артикуляторно-акустических особенностей исследуемого языка; 2) наличия или отсутствия ударения в слоге; 3) акустической выделенности компонентов слога; 4) позиции слога в фонетическом слове; 5) позиции слога во фразе.

Артикуляторно-акустические особенности исследуемого языка определяют функционирование в речи характерных для данного языка типов слогов (с преобладанием того или иного типа). В частности, на материале русского языка было установлено, что в процессе слога деления следует учитывать такой фактор артикуляторно-акустического своеобразия русского языка, как относительно слабое примыкание согласного к предшествующему гласному, что ведет к установлению слогораздела, в основном, между открытыми типами слогов (СГ). Исключение составляют закрытые типы слогов в абсолютном исходе слова³. Для английского языка высказывалась точка зрения, подкрепленная данными электроакустического анализа, согласно которой существует более тесная связь между гласной и последующей согласной, чем между согласной и последующей гласной⁴.

При установлении границ слога на акустическом уровне в качестве основных признаков, характеризующих наличие слоговой границы, обычно используют: 1) длительность гласного, входящего в состав слога; 2) качественные показатели связи гласного с соседними согласными; 3) качественные показатели согласного в зависимости от предыдущего и последующего гласных.

В результате проведения некоторых экспериментально-фонетических исследований⁵ было установлено, что длительность гласного перед одним согласным, как правило, превышает длительность того же гласного, стоящего перед группой согласных. Однако думается, что указанный параметр не может быть использован как основной и единственный при установлении границ слога, так как, во-первых, зависимость длительности гласных от числа следующих за ним согласных обнаруживается по-разному у гласных, стоящих под ударением и без ударения: у безударных гласных эта зависимость носит более ярко выраженный характер; во-вторых, эта зависимость определяется числом согласных, следующих за гласным; в-третьих, указанная зависимость определяется позицией гласного в слове (в абсолютном начале, исходе или в середине слова).

Кроме того, роль длительности в плане использования ее в качестве полезного признака при слога делении изменяется в зависимости от общей функциональной нагрузки длительности в системе просодических характеристик того или иного языка.

Так, в частности, в русском языке длительность гласного не может быть использована для определения открытости — закрытости слога, следова-

³ Л. А. Чистович, В. А. Кожевников и др., Речь, артикуляция и восприятие, М.—Л., 1965; Л. В. Бондарко, Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем. Докт. диссерт., Л., 1969.

⁴ I. L e h i s t e, Temporal organisation of spoken language, «Form and substance», Akademisk Forlag, 1971.

⁵ Л. В. Златоустова, Длительность гласных и согласных звуков русского языка, «Уч. зап. Казанск. гос. ун-та им. В. И. Ленина», 114, 6, 1957; К. Болла, Проблема экспериментального исследования длительности гласных звуков в современном русском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., М., 1963.

тельно, длительность гласного в данном случае не может выступать в качестве надежного критерия при установлении слоговой границы. В других же языках, где длительность гласных является фонологически значимой, вполне очевидно, что длительность может быть использована в качестве полезного признака при определении открытости — закрытости слога, т. е. при установлении слоговой границы.

Для установления слоговой границы существенную роль играет привлечение показателей качественных изменений гласного в зависимости от последующего согласного. В данном случае основным критерием является наличие или отсутствие характерного формантного перехода от гласного к последующему согласному. В слогах открытого типа отсутствует характерный формантный переход от гласного к последующему согласному, в слогах закрытого типа (и особенно в позиции абсолютного исхода) этот переход имеет более или менее ярко выраженный характер. Особое место в данном случае занимают сонорные и полугласный *j*, которые всегда по характеру перехода тесно примыкают к предшествующему гласному. Более тесная связь сонорного с предшествующим гласным по сравнению с характером связи, например, глухих смычных с предшествующим гласным в различных языках не вызывает сомнения. Однако степень этой связи может быть различной для различных языков. Например, на материале русского языка в позиции неабсолютного исхода более сильная степень уподобления гласного и последующего сонорного наблюдается не регулярно⁶. Качественная характеристика согласного в слоге определяется тем, что согласный испытывает влияние как со стороны предшествующего гласного, так и со стороны последующего гласного. Однако степень этого влияния различна и может выступать также как дополнительный критерий при отнесении согласного к предшествующему или последующему слогу.

Суммируя все вышесказанное относительно установления границ слога, следует указать на то, что: а) фонетические (акустические) критерии определения границ слога существуют; б) наряду с общими для различных языков фонетическими признаками (например, наличие или отсутствие характерного формантного перехода между гласным и последующим согласным, наличие или отсутствие ярко выраженного влияния на качество двух соседних звуков) существуют признаки, существенные для одних языков и не существенные для других (например, длительность слогаобразующего гласного).

Все перечисленные признаки, помогающие на акустическом уровне определить относительные слоговые границы, зачастую становятся недействительными, когда речь идет об установлении слоговых границ в слове, включающем такую звуковую последовательность, как краткий («сеченный») гласный + сонант + гласный.

Определение местоположения слогораздела в звукосочетаниях типа $\dot{V}CG$ представляет собой спорный вопрос⁷.

Различные мнения по этому вопросу сводятся в основном к следующему: 1) интервокальный согласный примыкает к последующему слогу, и слоговая граница проходит перед согласным; 2) слогораздел проходит внутри интервокального согласного; 3) интервокальный согласный примыкает к предшествующему слогу и, таким образом, слоговая граница проходит после такого согласного. Особый интерес

⁶ Л. В. Бондарко, Л. П. Павлова, О фонетических критериях при определении места слоговой границы, «Русский язык за рубежом», М., 1967.

⁷ См. об этом подробно: N. E. Eliason, On syllable division in phonemics, «Language», XVIII, 1—2, 1942, стр. 144—147.

в этой связи представляют структуры типа $(C)\overset{\uparrow}{\text{Г}}\text{СГ}(C)$ с интервокальными сонантами /ш, п, р, л, г/.

Основываясь на предварительных данных электроакустического анализа, можно утверждать, что если у интервокального согласного принять во внимание только параметр интенсивности (основной признак слога как дуги интенсивности на акустическом уровне), то едва ли можно выявить какую-то определенную тенденцию при установлении слогораздела, так как разница показателей интенсивности сонанта в ряде случаев настолько незначительна, что практически невозможно определить его первоначальность или слабokonечность (по терминологии Л. В. Щербы)⁸.

Таким образом, для установления относительной слоговой границы в данном случае потребовался более эффективный метод анализа. В этой связи в нашем исследовании была апробирована так называемая сегментирующая функция речи (сокращенно СФР). Этот метод был разработан акустиками речи с целью определения звуковых границ на акустическом уровне⁹. В основу СФР была положена идея об использовании информации о параметрических изменениях звуков. Важно подчеркнуть, что метод использования сегментирующей функции речи базируется на положении о том, что основой любой программы распознавания речи должна являться ее первичная обработка по фонетическим элементам. В работах по автоматическому распознаванию речи предлагался интегральный вариант фонетической функции речи применительно к спектральным параметрам. В данном случае для целей лингвистического анализа был выбран дифференциальный вариант как менее сложный и более удобный в работе, представляющий собой набор логарифмических производных исследуемых параметров.

Причем число параметров (n) может быть различным. Предполагается, что большее число взятых параметров обеспечивает более точное нахождение значений СФР. Если рассматривать изменение каждого выбранного параметра во времени с определенным временным интервалом, а затем суммировать полученные значения с помощью специального математического аппарата, то в результате будут найдены величины СФР, которые обозначаются через S_0 . Определение значений S_0 строится по этапам. На первом этапе рассматривается множество значений какого-то одного параметра, в данном случае множество значений частоты основного тона в гц (F_0) и его изменчивость за определенный промежуток времени (t) через каждые 20 мсек. На этом же этапе определяется множество разностей по частоте основного тона (F_0) через каждые 20 мсек, а затем все полученные значения нормируются, т. е. приводятся к одному масштабу по средней арифметической величине найденных значений разности F_0 . На втором этапе рассматривается множество значений другого выбранного параметра, в данном случае множество значений интенсивности в дб (I) и ее изменчивость за тот же промежуток времени (t), что и для частоты основного тона (F_0). На этом же этапе определяется множество разностей по интенсивности через каждые 20 мсек, а затем все полученные значения нормируются по средней арифметической величине найденных значений разности I . Полученные на обоих этапах относительные величины суммируются за каждые 20 мсек. Множество результирующих величин представляет собой множество значений СФР. Значения функции построены таким образом, что функция S_0 обращается в нуль (или принимает близкие к 0 значения) на квазистационарных участках звуков и отклоняется в наиболь-

⁸ Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, М., 1953.

⁹ А. А. Пирогов, К вопросу о фонетическом кодировании речи, «Электро-связь», 1967, 5; Г. С. Слудкер, К вопросу о фонетическом кодировании телефонно-го сигнала, сб. «Спектральный анализ звуков речи и интонация», М., 1969.

шей степени от нуля на переходах от одного звука к другому. Совместная количественная оценка изменчивости параметров на переходах от звука к звуку обеспечивается взятием модулей от всех значений параметров.

Таким образом, минимальные и близкие к нулю значения функции характеризуют близость к квазистационарной части звуков, в то время как максимальные значения функции характеризуют переходные участки. Абсолютные значения максимумов на переходах принимались в качестве коррелята степени акустической спаянности между звуками в структуре звуковой последовательности, так как известно, что границы между звуками являются расплывчатыми и могут быть определены весьма условно.

Покажем на конкретном примере процедуру анализа с помощью СФР. Однако предварительно следует указать на то, что подсчету данных с помощью СФР предшествовали следующие виды работ:

а) Подбор экспериментального корпуса. (Экспериментальный корпус состоял из слов, включающих сочетания ГСГ и фраз, включающих соответствующие слова с ГСГ в начальной и исходной позициях. Например: *silly, sully, cellar, any, Anna, sally, die Stimme, die Sonne, rollen, das Zimmer* и т. д.)

б) Запись экспериментального корпуса на магнитную пленку в специальной безэховой камере. (В качестве дикторов были привлечены двое англичан и двое немцев — носителей орфоэпической нормы указанных языков.) Слова и фразы начитывались с интонацией завершеного повествования.

в) Запись экспериментального корпуса на анализатор основных физических характеристик (интонограф И-67).

г) Расшифровка полученных интонограмм и снятие значений F_0 , I и t .

Определим, например, степень суммарной акустической спаянности¹⁰ между звуками [v], [l] и [i] в звукосочетании [vli] в слове *solid* и тем самым укажем на позицию относительной слоговой границы в данном случае.

С интонограммы через каждые 20 мсек снимаем числовые значения ЧОТ (F_0) и соответствующие им числовые значения интенсивности (I) для предстыкового, стыкового и застыкового звуков (значения снимаем, начиная с максимального) и записываем следующим образом:

	v			l			i			
F_0	110	105	100	95	85	85	80	75	70	70
I	22	20	20	18	17	14	15	20	16	20

Для каждой пары соседних значений параметров F_0 и I и в порядке следования значений этих параметров производится ряд математических операций, описанных выше, результатом чего и является нахождение значений СФР (см. табл. 1).

Выше было сказано, что минимальные значения СФР характеризуют близость сонанта к квазистационарной части гласного, а максимальные значения СФР характеризуют переходы. Разница в значениях максимумов в точках 4 и 7 (см. табл. 1) показывает, что [l] теснее связан с предшествующим гласным нежели с последующим, а это, в свою очередь, позволяет говорить о тенденции к слогоразделу в конце интервокального согласного — [l].

¹⁰ В данном случае под суммарной акустической спаянностью понимается наибольшая степень связанности, взаимовлияния всех трех просодических характеристик: частоты основного тона, интенсивности и длительности.

Таблица 1

Нахождение значений СФР для звуко сочетания [vli] в слове *solid*¹

Звук	Частота основного тона			Интенсивность			СФР
[v]	110	5	1,1	22	2	0,8	1,9(1)
	105	5	1,1	20	0	0	1,1(2)
	100	5	1,1	20	2	0,8	1,9(3)
	95	10	$\frac{40}{9}$	18	1	$\frac{22}{9}$	2,9*(4)
[l]	85	0	0	17	3	1,2	1,2(5)
	85	5	1,1	14	1	0,4	1,5(6)
	80	5	1,1	15	5	2	3,1*(7)
[i]	75	5	1,1	20	4	1,6	2,7(8)
	70	0	0	16	4	1,6	1,6(9)
	70			20			

¹) Максимальные значения СФР, являющиеся коррелятами степени акустической связанности элементов в звуковой последовательности, здесь и далее обозначены звездочкой.

Таблица 2

Значения СФР для звуко сочетаний [ili], [Ali], [ele] в словах *silly, sully, cellar*

Диктор	№№	Звуко сочетание	Значения СФР
I	1	[ili]	1,8; 1,8; 1,8*; 1,4; 5*; 1,8
	2	[Ali]	0,4; 1,8; 2,5*; 1,1; 1,8; 3,6*; 2,5
	3	[ele]	1,2; 1,5; 2,7*; 2,3; 2,8*; 1,1
II	1	[ili]	1,2; 1,9*; 1,4; 1,3; 1,3; 3,6*; 2,6
	2	[Ali]	0,9; 1,3; 1,8*; 0,8; 2,7; 4,8*; 1,3
	3	[ele]	1,6; 2,4*; 1,3; 4,4*; 1,7; 1,3

Используя СФР, нам удалось установить, что слоговая граница в структуре (C)ĠSG(C) может проходить внутри сонанта, двустороннее примыкание которого очевидно. Сказанное выше подтверждается целым рядом примеров: *silly* ['sili], *sully* ['sAli], *cellar* ['selə] (см. табл. 2).

Приведенные в табл. 2 значения СФР свидетельствуют также и о том, что прохождение слоговой границы внутри сонанта является вариabильным. В ряде случаев слоговая граница оказывается подвижной, т. е. происходит смещение этой границы к концу интервокального сонанта в сторону последующего гласного (см., например, значения СФР для звуко сочетаний [ili], Д. I, II; [ele], Д. II), что позволяет говорить о тенденции к слогоразделу после интервокального сонанта.

Данная тенденция к слогоразделу внутри интервокального сонанта сохраняется и в трехсложных словах (например, в словах типа *enemy, ninnery, bulletin*).

В результате анализа переходных участков в звуко сочетаниях ĠSG с помощью СФР было установлено, что количество случаев внутрисонантного слогоделения в двусложных и трехсложных словах, выраженное в процентном отношении, составляет для первого диктора 75% и 80% и для второго — соответственно 96% и 100%.

Исследование акустической выраженности слогораздела в структурах Ġ:SG и ĠSG с применением СФР позволило установить следующее: в слове типа Ġ:SG, где первый гласный — ударный долгий монофтонг или дифтонг, степень суммарной акустической спаянности с последующим

интервокальным сонантом минимальна, и слогораздел, следовательно, проходит перед интервокальным сонантом; в слоге же ГСГ с ударным, усеченным гласным степень примыкания сонанта к предшествующему гласному достаточно велика; слоговая граница смещается вправо, т. е. к концу интервокального сонанта.

На этом основании местоположение слогораздела в слогах, содержащих долгий монофтонг или дифтонг и краткий усеченный монофтонг с последующим одним интервокальным сонантом, можно охарактеризовать как левостороннюю и правостороннюю асимметрию¹¹. Она наблюдается в большинстве случаев, и наоборот, довольно редко встречаются случаи симметрии внутрисонантного слога деления, которое заключается в том,

Таблица 3

Значения СФР для звукосочетаний [en], [æn], [æli], [i:ml]
в словах any¹, Anna, sally, seamy

№№	Звукосочетание	Значения СФР
1	[en]	1; 4,3*; 1; 0; 3,3; 3,3*; 1
2	[æne]	1,7; 2,2; 3,1*; 0,9; 2,2; 2,2; 2,2*; 1,3
3	[æli]	0,4; 1,2; 3,7*; 0,8; 2,9; 2,9*; 1,7
4	[i:ml]	2,4; 2; 3,2*; 1,6; 1,6; 1,7; 2,4*; 0,9

¹ Слово any ['en] приводится здесь в качестве примера на том основании, что [e] произносится как [æ] в этом и других словах с кратким [e] (many, merry).

что слоговая граница проходит в середине интервокального согласного, т. е. этот согласный в одинаковой степени примыкает как к предшествующему, так и к последующему гласному. В проанализированных двусложных и трехсложных словах случаи наличия симметрии составили: для первого диктора — 11,5%, для второго — 8%.

Следует подчеркнуть, что при анализе данных с помощью СФР мы не учитываем отдельных различий, вызываемых индивидуальными особенностями в произнесении, а описываем то общее, что обусловлено общностью фонетического окружения и является лингвистически значимым. С этой точки зрения обращает на себя внимание тот факт, что краткий, усеченный [æ] проявляет тенденцию к «открытости». В большинстве случаев [æ] произносился, как если бы он был долгим, «неусеченным» гласным, а вследствие этого правосторонняя асимметрия нарушается, слоговая граница перемещается ближе к [æ] и наблюдается характерная для долгих гласных левосторонняя асимметрия в местоположении слогораздела. Вышеуказанная тенденция характерна для двусложных слов (any, sally) и для трехсложных (family) (см. табл. 3).

Данные электроакустического анализа убеждают нас и в справедливости известного из специальной литературы положения о том, что в структуре типа (С)ГСГ(С) существует определенная зависимость между длительностью гласного и следующего за ним согласного. Еще О. Брок¹² писал о том, что с возрастанием степени связанности гласного со следующим за ним согласным, длительность этого гласного сокращается. В ходе исследования на основе полученных результатов эта точка зрения подтвердилась.

¹¹ Под левосторонней и правосторонней асимметрией понимается сдвиг максимальных значений СФР в сторону первого или второго гласного, под симметрией — равнозначное распределение максимальных значений СФР на переходах от первого гласного к сонанту и от сонанта ко второму гласному в последовательности ГСГ.

¹² О. Б р о к, Очерк психофизиологии славянской речи, СПб., 1910.

Анализ данных с помощью СФР применительно к словам, произнесенным в структуре фразы в английском языке, показал, что для английского языка слоговое перераспределение в потоке речи, т. е. переход слогораздела от постконсонантной позиции (закрытый тип слога ГС # Г к предконсонантной Г # СГ), не характерно: как в словах, так и в потоке речи доминирует закрытый тип слога.

На материале немецкого языка были получены несколько иные результаты¹³. Так, например, в двусложных словах, включающих анализируемое звукосочетание ГСГ, в изолированном варианте произнесения регулярно прослеживалась тенденция к преобладанию позиции слогораздела после сонанта перед последующим гласным.

Таблица 4

Значения СФР для звукосочетаний [ɔnə], [ɪmə] в словах *die Sonne*, *die Stimme*¹

Слово	№№	Звукосочетание	Значения СФР
<i>Die Sonne</i>	I	[ɔnə]	0,6; 4,7*; 0; 0; 1,9; 6*; 0,6
	II	»	1,5; 3,8*; 3; 0; 3,8*; 1,5; 0
	III	»	0,9; 6,6*; 2,6; 1,8; 0; 0; 4*; 0
<i>Die Stimme</i>	I	[ɪmə]	0,6; 3,1*; 0; 0,6; 0,6; 3,7; 4,5*; 2,4
	II	»	0,7; 2,1; 2,9*; 2,1; 0,7; 3,5*; 2,1
	III	»	0,6; 3,1*; 0,6; 1,9; 1,9*; 1,8

¹ I — слово в изолированном произнесении, II — слово в абсолютном начале фразы, III — слово в исходе фразы.

СФР фиксировала некоторые сдвиги в распределении степени суммарной акустической спаянности между звуками в соответствующих анализируемых сочетаниях в составе слов, произнесенных во фразе. Причем была отмечена достаточно регулярно следующая тенденция (см. табл. 4).

а) Степень акустической спаянности по суммарным показателям СФР для изолированного произнесения слов и тех же слов в составе фраз для немецкого языка характеризуется различными данными.

б) Для изолированно произнесенных слов в структурах ГСГ # Г; ССГС # Г; СГС # ГС характерно прохождение слогораздела после сонанта перед гласным.

в) Для тех же слов, произнесенных в начале фразы, характерно изменение степени акустической спаянности по данным СФР в сторону равнозначной примыкаемости сонанта к предшествующему и последующему гласным, что свидетельствует о том, что в позиции абсолютного начала слоговая граница претерпевает частичный сдвиг по сравнению со слогоразделом в слове, произнесенном изолированно, проходя через сонант: ГСГ#; ССГ#; СГС#.

г) Для тех же слов, произнесенных в конце фразы (или в позиции, близкой к исходу фразы), наблюдается сдвиг степени наименьшей акустической спаянности по СФР к гласному, предшествующему сонанту, что позволяет утверждать, что конечная позиция анализируемого звукосочетания ведет к полному перераспределению слогораздела: СГ # СГ; ССГ # СГ; СГ # СГС.

Таким образом, предварительные данные, полученные нами в ходе исследования с помощью СФР степени суммарной акустической спаянности в

¹³ Подсчеты значений СФР были проведены Л. Шацкой.

звукосочетании «краткий гласный + сонант + гласный», позволили: 1) подтвердить тот факт, что для английского языка наиболее характерным типом слога является закрытый тип СГС, не разрушающийся под влиянием целого ряда переменных величин, обусловленных фонетической структурой фразы и функционированием в потоке речи; 2) установить, что для немецкого языка характерна иная тенденция: сохранение закрытого слога в двусложном слове (СГС $\#$ Г) в изолированном произнесении, частичное слоговое перераспределение с переходом слогораздела на сонант в позиции начала фразы (СГС[#]Г) и полное слоговое перераспределение с переходом слогораздела на предсонантную позицию СГ $\#$ СГ и разрушение закрытости слога в позиции абсолютного (и неабсолютного) исхода фразы.

Полученные данные позволяют надеяться, что исследование изменений акустических характеристик, фиксируемых в их сумме с помощью СФР на протяжении достаточно больших отрезков речи, весьма перспективно для выявления тех или иных сдвигов с точки зрения акустической взаимной спаянности звуков, что имплицитно передает информацию о позиции и перераспределении слоговых границ в потоке речи.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Н. БОГОЛЮБОВ

АРАМЕЙСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ АШОКИ
ИЗ АФГАНИСТАНА

Бельгийским этнографам супругам Буржуа принадлежит заслуга открытия в 1969 г. на территории Афганистана, в долине Лагман (близ дороги) наскальной арамейской надписи эпохи Ашоки (268—232 гг. до н. э.), которая нами определяется как надпись, содержащая установление законодательного характера. Эта надпись исследована и опубликована А. Дюпон-Соммером¹. Он принял последовательно расположенные в тексте слово qštn (мн. ч.) «луки» и цифру III-C за меру в «200 луков». Слово tdmr им определено как название оазиса в Сирии — Тадмор (Пальмира). Согласно его интерпретации, в надписи указываются расстояния: от ее местонахождения до Тадмора — в 200 «луков» и до других мест — в 120, 100 и 80 «луков». Ниже приводятся предложенные им чтение и перевод текста надписи:

Текст

- 1) BŠNT 10 | ḤZY | PRYDRŠ MLK' | RQ DḤ'
- 2 bis) MH MŠD BRYWT KWRV
- 2) MN ŠRYRYN DWDY MH °BD RYQ QŠTN
- 3) 200 ZNH TMH TDMR ŠMH ZNH 'RH' KNPTY SHTY
- 3 bis) GNT' YTRY 120 TRT' TNH 100 °L' 80
- 4) °M W'ŠW DYN'

Перевод

(1) En l'an 10, voici, le roi Priyadarśi a expulsé la vanité (2) de parmi les (hommes) prospères, amis de ce qui se fait de vain, (2 bis) (amis de) ce qui se pêche de créatures des poissons.

(2 fin, 3) A 200 «arcs», c'est là-bas (le lieu) appelé Tadmor.

Ceci est la route KNPTY, c'est-à-dire (3 bis) (la route) du Jardin (?): plus de 120 («arcs»). A TRT', ici: 100.

Au-dessus: 80.

(4) (Fait) avec Wašu le juge.

Ст р о к и 1—2. Продолжая исследование, начатое А. Дюпон-Соммером, я пришел к заключению, что при синтаксическом членении текста надписи на предложения, первую границу следует провести не перед словом qštn «луки», а после него. Основанием для этого послужило перс.

¹ A. Dupont-Sommer, Une nouvelle inscription araméenne d'Asoka trouvée dans la vallée du Laghman (Afghanistan), «Academie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1970», janvier — mars, Paris, 1970, стр. 158—173.

tīr xālī kardān «стрелять», «выпускать стрелу», буквально «стрелу пустой (свободной) делать», которому слова надписи ^cbd rḡq qštn точно соответствуют. Наличие в одном случае слова tīr «стрела», а в другом qštn «луки» не препятствует сближению обоих выражений. Такая же взаимная замена «стрельи» и «лука» имеет место в среднеперсидском tgr'hy из *tigri-āha-«arrow-shot» и в сакском durāhe «in a bow-shot»² из *drū-āha-.

Особенность арамейского словосочетания ^cbd rḡq qštn состоит в том, что в нем употреблена аналитическая форма — описательный сложный глагол ^cbd rḡq «опоражнять» — вместо синтетической каузативной глагольной формы haph. от RYQ «быть пустым» — hrḡq «опоражнять», которая засвидетельствована в следующих библейских фразах: mēḡiqīm šaqqēhem Gen. 42 : 35 «они опорожили мешки свои», 'ārīq ḥarbī Ex. 15 : 9 «обнажу меч мой», wəherīqū ḥarəbōtām Ez. 28 : 7 «и они обнажат мечи свои».

При описательном инфинитиве ^cbd rḡq «опоражнять» qšt «лук» является прямым дополнением. Для согласования с именем dwdy (мн. ч.) «любители», к которому ^cbd rḡq qštn относится как определение, слово qšt поставлено во множественное число — qštn: ^cbd rḡq qštn «опоражнять лук(и)», «стрелять из лука, из луков». С изменением толкования слов ^cbd rḡq qštn изменилось представление о содержании первой фразы надписи. Стало очевидным, что в ней речь идет о проповеди ненанесения вреда живым существам (ahimsa «ахимса»), о мерах Ашоки, направленных на ограничение или пресечение охоты на зверей («стрельбы из луков» — ^cbd rḡq qštn) и ловли рыбы («ловли созданий рыб» — mšd brywt kwḡy). Так установилась связь данной надписи с греческой и арамейской версиями Кандагарской билингвы, в которых также содержатся высказывания в духе ахимсы, ср.: ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΗΡΕΥΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΕΠΑ ΥΝΤΑΙ ΘΗΡΕΥΟΝΤΕΣ «И вот, остальные люди и все охотники и рыболовы царя прекратили ловлю»; W'P ZY ZN H BM'KL' LMR'N MLK' Z'YR QTLN ZNH LMḤZH KLHM' NŠN 'THḤSYNN 'ZY NWN'Y' 'HDN «и также те, которые (zy) снабжают его (znh < ZWN «снабжать» + ḥ мест. суф. 3-го л. ед. ч.)³ пищей, нашего господина царя, мало теперь убивают. Видя это, все люди стали воздерживаться (от охоты), также и те, которые ('zy < 'm zy)⁴ ловят рыбу».

Здесь уместно привести следующие места из согдийской «Сутры причин и следствий»: rty ḡwnḡ ZKZY 'wzy'n wnty rty ZKw w'tō'r 'nkr'nt'nt... rtyms ḡwnḡ ZKZY nḡš'yr škr'k βwt rty wβyw c 'wn ḡr'wn βr'ḡšt (SCE, 223—226)... rty ḡwnḡ ZKZY ZKw ḡ'm'kw kp' ḡwrty 'HRZY... tmḡh 'npt (SCE, 240—244) «И тот, кто убивает и разрезает живое существо..., и тот, кто охотится на зверей и еще стреляет из лука..., и тот, кто ест сырую рыбу..., попадет в ад...».

С переходом qštn в первую фразу изменилось взаимоотношение слов в последующем тексте, как он был представлен А. Дюпон-Соммером. Кроме того, я предпочел в следующих случаях остановиться на иных чтениях, из которых отдельные не исключаются и издателем надписи: (3 : 2) pnḡ вместо znh, (3 : 3) twd' вместо tmh, (3 : 8) krpty вместо knpty, (3 bis : 1)

² См.: Н. W. Bailey, Indo-Scythian studies being Khotanese texts, VI, Cambridge, 1967, стр. 124.

³ См.: М. Н. Боголюбов, К чтению арамейской версии Кандагарской надписи Ашоки, ИАН ОЛЯ, 1967, 3, стр. 266. Обычно сравнивают w'p zy (Kand. I) с идеограммой 'PZY в согдийской письменности. При объяснении znh (Kand. I, 3) из ZWN «снабжать» оснований для этого сближения не остается, так как zy восстанавливается в функции указательно-относительного местоимения «тот, который», ср. zy в этом значении в надписи из Даскилейона: zy 'rh' znh yhwḡ 'dh «тот, который пойдет по этой дороге».

⁴ Там же, стр. 266.

grt' вместо gnt', (3 bis: 2) ytby вместо ytry, (3 bis: 4) tbt' вместо trt'. На фотографии с эстампажа (Pl. VII) в слове ytby нижняя линия beth просматривается слабо, она хорошо видна в tbt'. Конечно, в ряде случаев остается место для сомнений в правильности принятых чтений, так как опубликованные фотографии с эстампажей недостаточно ясно передают начало строки (1) и строки (3), а также целиком строку (3 bis).

Предлагаемое чтение текста надписи:

- 1) BŠNT X | HZY | PRYDRŠ MLK' | RQ DH'
 2 bis) MH MŠD BRYWT KWRY
 2) MN ŠRYRYN DWDY MH °BD RYQ QŠTN
 3) III-C PNH TWD' TDMR ŠMH ZNH 'RH' KRPTY SHTY
 4) °M W'ŠW DYN'
 3 bis) GRT' YTBV I-CXX TBT' TNH I-C °L' XX XX XX XX

Словосочетание mšd brywt kwry состоит из инфинитива mšd от ŠWD «охотиться; ловить (рыбу)» и прямого дополнения brywt kwry «создания рыб»; mšd brywt kwry «ловить создания рыб». Оба инфинитивных словосочетания °bd ryq qštn и mšd brywt kwry посредством местоимения mh в качестве определений присоединены к определяемому dwdy «любители»: dwdy mh °bd ryq qštn mh mšd brywt kwry «любители стрелять (стрельбы) из луков, ловить (ловли) создания (созданий) рыб». Своеобразное в данном случае употребление местоимения mh «что» находит параллель в применении парфянской идеограммы MH, которая обозначает частицу, служащую для соединения определения с определяемым⁵.

Издатель надписи, переводя первое предложение, считал Prydrš mlk' подлежащим, rq прямым дополнением, dh' сказуемым, mn šrygun косвенным дополнением и dwdy приложением к косвенному дополнению. В моем толковании это предложение состоит из подлежащего Prydrš mlk', сказуемого rq dh' и относящихся к нему дополнений: косвенного — mn šrygun «из среды сильных; из среды властвующих» и прямого — dwdy «любители» с его определениями mh °bd ryq qštn и mh mšd brywt kwry.

Сложный глагол rq dh' (dh' — перфект, 3-е лицо ед. числа муж. рода) образован подобно °bd ryq «опораживать»; так же, как °bd ryq, он описательно воспроизводит образумый от RWQ «быть пустым» синтетический каузатив hryq «опораживать; извлекать наружу» с тем, однако, семантическим отличием, которое привносится глаголом dh' «толкать; гнать» — r(y)q dh' «опустошая, толкать; извлекая наружу, гнать», т. е. «выталкивать; выгонять; изгонять; изгонять полностью». Таким образом перевод первого предложения будет: «Царь Приядарши полностью изгнал из среды властвующих любителей стрелять из луков, ловить создания рыб».

В Кандагарской билингве Ашока именуется mr'n Prydrš mlk' «наш господин Приядарши, царь», mr'n mlk' «наш господин царь»; ср. также mr'n Prydrš... — в надписи из Таксилы. В данном тексте на месте mr'n стоит слово hzy, выделенное словоразделителями, словоразделитель поставлен также после Prydrš mlk'. Эта часть надписи нуждается в дополнительном обследовании. Но если чтение hzy верно, то на основании расположения словоразделителей более вероятно, что hzy относится к Prydrš mlk' как часть титулования.

Глагол HZH в значении «видеть» представлен в арамейских надписях Ашоки инфинитивом [lm]hzh (Laghm. I) (= прапр. deḥhytwy) lmhzh (Kand. I). Но от HZH образованы др.-арам. hzy (мн. ч.), иуд.-арам. hāzōnā «провидец; прозорливец». При мадейском HZA приводятся также

⁵ См.: M. B o u s e, The use of relative particles in Western Middle Iranian, «Indo-Iranica. Mélanges présentés à G. Morgenstierne à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire», Wiesbaden, 1964, стр. 34 и сл.

араб. lamā'a «сверкать; сиять» и перс. gavšan kard «он осветил»⁶. 𐤆𐤆𐤆 с подобными значениями приближается к инд. budh- «бдеть; наблюдать; воспринимать; познавать». Поэтому возникает вопрос, не было ли в пракритско-арамейском «словаре» к индийскому пассивному причастию bud-dha «просветленный» (в буддийском смысле слова) приравнено араб. 𐤆𐤆𐤆 — пассивное причастие от 𐤆𐤆𐤆?

Стр о к и 3—4. В арамейских папирусах цифре С (100), когда пишется число порядка первой сотни, последовательно предпосылается цифра I, ср.: I С (100)⁷, I С XX (120, Cowley, 34 : 7, 81 : 22). Цифра I ставится также при знаках тысячи и ста тысяч, ср.: ILP III II С XX XX X III III II (1578, Cowley, Beh. 14), I С III III II LP X (108 010, Cowley, Beh. 14). Предпосылаемая цифрам С, LP «единица» в более поздних надписях срослась с цифрами, не утратив при этом своего значения: I-С, I-LP⁸. Цифру 100 со сросшейся единицей можно видеть в арамейской надписи на серебряной фиале из коллекции Форуги (Иран). Б. Хеннинг⁹ передал эту цифру как i-С, указав при помощи дефиса на то, что от середины единицы к цифре С протянута соединительная линия. В строке (3 bis) находятся цифры 120 и 100. Они также сопровождаются единицей, соединенной чертой с цифрой 100: I-С XX — 120, I-С — 100. Цифра С с тремя единицами — III-С означает 300 (не 200).

Первая буква в слове (3 : 2) мало похожа на zaṣin. Она имеет вертикальный ствол равной длины со стволом nūp. В его верхней левой части на фотографиях эстампажей (Pl. III, VI) просматривается петля, как у буквы re в слове krpty (3 : 8). В написании rnh можно видеть др.-инд. rapaṇ — название древнеиндийской денежной единицы. В грамматическом отношении заимствованное слово не подчинено арамейскому словоизменению: III-С rnh «300 пана». В Артахашастре, например, в пана указаны размеры штрафов и других взысканий, размеры различных плат, выкупов.

Текст šmh znh 'rḥ' krpty shty^{cm} w'šw dyn' становится хорошо понятным, если принять, что šmh означает не «его имя», а является глагольной формой перфекта от ŠYM «устанавливать»: šmh «он установил его» (размер чего-либо в 300 пана). При сказуемом šmh слова znh 'rḥ' имеют обстоятельственное значение «на этой дороге».

krpty (не исключено чтение knpty) *kaṣarati — иранский по происхождению титул правителя области, состоящий из kaṣa- «граница» > «область» и rati «господин». Впервые компонент kara-¹⁰ встретился в составе бактрийского титула местного правителя karalrango, засвидетельствованного в бактрийской надписи из Сурх-Котала (Афганистан). С появлением kaṣarati отпадает необходимость представлять karalrango как фонетический вариант, развившийся из *kanār-drang, *karān-drang, откуда ведут свое начало перс. kanādrang, kanārang «правитель пограничной области». Оба титула, kaṣarati и karalrango, свидетельствуют о том, что в восточноиранском ареале авестийскому karana-, иран. karāna- «граница» соответствовала бессуффиксальная форма kara-. В этом случае бактрийский титул karalrango из *kara-dranga является параллельной

⁶ См.: E. S. Drower, R. Macuch, A Mandaic dictionary, Oxford, 1963, стр. 139 b.

⁷ См.: A. Cowley, Aramaic papyri of the fifth century B. C., Oxford, 1923 (далее — Cowley), 2 : 15, 80 : 27.

⁸ Ср. передачу числа 1000 в согдийской письменности — I-LP; сросшуюся с LP единицу принимали за букву N и транслитерировали число 1000 буквами NLP.

⁹ См.: G. A. Zagrau, W. B. Henning, A hunting scene on an inscribed Sassanian silver vessel, «Iranica antiqua», VII, 1, 1967, стр. 148.

¹⁰ См.: J. Harmatta, The great Bactrian inscription, «Acta Ant. Hung.», XII, 3—4, 1964, стр. 457.

формой к персидскому * *kanār-drang*. Сохранение второго *a* в *karalrango* может объясняться как фонетической позицией *a* в стечении сонантов (-*ralr-*), так и предположением, что *karalrango* является бактрийским новообразованием.

К компоненту *kara-*, находящемуся в титулах *kara-pati-* и *kara-dranga-*, фонетически примыкает авестийский термин *kaḡaran-*; *kaḡarfn-*. В Гатах Заратуштра говорит о карапанах как враждебных жрецах. В Яштах среди перечисляемых врагов людей и веры названы *sātar-kavau-kaḡaran-* «властители — кави (и) карапаны». В. Б. Хеннинг допускал, что *kaḡaran-* имеет общее происхождение с хорезм. *krb-* «ныть» (пренебрежительно о манере говорить) и др.-инд. *kr̥-* «жаловаться; плакать; сетовать»¹¹. Формы хорезм. *krb-* в «*Qunyat al-Munya*» переданы персидским глаголом *zanj zadān*, в котором *zanj* «жалоба; рыдание; сетование»: *krb'b'd* (*krb'* + частицы *b'* и *d*) «ну, и ной» — перс. *zanj zan*; *m'krb* «не ной» — перс. *zanj mazān*; *krbyd* «бормочи его» — перс. *zanj zan īn-gā*. Маловероятно, что Заратуштра или кто-нибудь другой употребил бы в паре с термином и самоназванием *kavau-* «царь» уничижительное прозвище вроде «жалобщик; нытик». И если предположить, что *kaḡaran-* — именно реально существовавший термин и самоназвание жреца-правителя, то объединение *kaḡaran-* с *kr̥-* «жаловаться; плакать; ныть» придется признать неудачным.

Сближению *kaḡaran-* (Гаты): *kaḡarfn-* (Яшты) с *kara-pati-*, *kara-dranga-* мешает ^o*ran-* : ^o*fn-* на исходе. Однако употребляющийся в пушту суффикс хранителя *-ba* — *korba* «хозяин дома» (мн. ч. *korbānə*, жен. род. *korbana*), *ṛoba* «пастух» (мн. ч. *ṛobānə*, жен. род. *ṛobana*), который несомненно связан с *rā-* «сторожить; охранять», также заставляет предположить необычную исходную форму *ra(n)-*, ср. др.-инд. *pr̥ga* «охранитель людей», *gora* «пастух». Также и в основе *kaḡaran-* могла быть форма *kara-ra-*, *kara-ran-* «хранитель края, области». Создано это слово было не на диалекте Гат и не на диалекте Яштов. Как чужеродное, инодиалектное, оно было в них воспринято в одной из своих основ, и как чужеродному в этих диалектах ему было навязано несвойственное склонение. Благодаря этому титул деэтимологизировался и превратился в нарицательное имя враждебных правителей и жрецов. С таким объяснением я хочу к титулам *kara-pati* «господин края, области», *kara-dranga-* «владелец края, области» присоединить * *kara-ra-*, * *kara-ran-* «хранитель края, области».

В двух арамейских папирусах из Египта содержится следующий текст: *kwṁry' zu ḥnw b' lh'... ḥmwnt ʿm wydrng* (Cowley, 27: 3/4, 30 : 5) «жрецы (храма) бога Хнуб... вместе с Вайбрангом». В этом тексте употреблен сложный предлог *ḥmwnt ʿm*, составленный из арамейского предлога *ʿm* «с» и иранского в своей основе наречия *ḥmwnt* «вместе; в содействии» (< иран. *aw* «помогать» + *ham*)¹². В соответствии с текстом папирусов слова *krpty shty ʿm w'šw dyn'* могут иметь перевод: «карапати (правитель) вместе с *W'šw*, судьей». В сложном предлоге *shty ʿm*, если именно так рассматривать эти слова, именную часть составляет индийское обстоятельственное слово, ср. др.-инд. *sahita-* «соединенный; объединенный; сопровождаемый».

Чтение *twd' tdmr* (по типу *mw' šmš* «восход солнца, восток») находит поддержку в арабском выражении *'awdā bihi ilā-d-damār* «он обрек его на гибель», в котором, как и в *twd' tdmr*, сочетаются производные от глагольных корней *WDH* и *DMR*. Арабская фраза подкрепляет реальность слово-

¹¹ W. B. Henning, *Zoroaster, politician or witch-doctor?*, Oxford, 1951, стр. 45.

¹² См.: М. Н. Боголюбов, К чтению Страсбургского арамейского папируса, «Палестинский сборник», 19 (82), 1969, стр. 72.

сочетания twd' tdmr. Последнее весьма существенно, поскольку первое слово наряду с twd' может иметь и другие чтения. А. Дюпон-Соммер здесь видит tmh. WDH (YDH), и производные от этого корня в еврейском, иудейско-арамейском, сирийском, пальмирском имеют значения «признавать, искупать (вину); признаваться; сознаваться», ср. сир. twdyt' «confessio». Сюда же относятся и араб. wadā, waddā «платить выкуп (за убитого)», diyat «плата за кровь; выкуп за убитого». В надписи понятие twd' следует за III-C pnh «300 пана». Из этого можно заключить, что под twd' подразумевается плата как форма искупления вины, т. е. выкуп, штраф.

Судя по вступительной части, посвященной пропаганде ахимсы, составитель надписи привлек слово tdmr для передачи понятия «насилие над живыми существами; умерщвление живых существ». Возможность наличия этого значения в tdmr поддерживается арабским DMR dammara «уничтожать; истреблять», damār «гибель; разрушение», tadmir «уничтожение; истребление» и еврейским DBR в tādabber (2 Chr. 22 : 10) «она истребила (племя)», deber «мор; язва».

Центральное место надписи — III-C pnh twd' tdmr получает следующий перевод: «300 пана — выкуп за умерщвление».

Текст строки (3 bis) написан буквами значительно меньшего размера, чем остальных строк. Он размещен под строкой (3) в продолжение слов III-C pnh twd' tdmr. Находящиеся в строке (3 bis) цифры I-C XX (120), I-C (100), XXXXXXXX (80) в сумме составляют число 300. По моему мнению, в строке (3 bis) описан порядок уплаты выкупа.

В имперско-арамейских юридических документах глагол GRH имеет значение «начинать судебное преследование; предъявлять иск». Отсюда grt' «предъявление иска».

В арамейском глагол 'BH «желать; желать получить ч.-л.» представлен также вариантами Y'B, T'B, N'B, ср. N'B в др.-арам. hitp. : htn'bw «sie haben begehrt»¹³. В личной форме ytby (< yt'by) 3-го лица ед. числа муж. рода имперфекта hitp. «взыскивается; взимается» отразился корень 'BH; tbt' «взыскание» восходит к T'B.

Комплекс букв tbt'tnh можно членить на tbt'tnh и tbt'tnh. Принимая вторую возможность, я перевожу tnh как «второй; во вторую очередь».

В контексте 'l' имеет значение «окончательная, последняя уплата». Подобное слово встречается в Авроманском пергаменте, документе I в. н. э., написанном на арамейском языке. Там 'l' означает «окончательная цена»: 'l' zwzn 65 «окончательная цена 65 драхм»¹⁴. Оба слова восходят к наречию 'l' «наверху; сверху», которое при торговых сделках стало означать «окончательно», откуда «окончательная плата», «окончательная цена».

Предлагаемый перевод надписи:

- 1) В 10-й год (правления) просветленный (?) Приядарши, царь полностью изгнал
- 2) из среды властвующих любителей стрелять из луков,
- 2 bis) ловить создания рыб.
- 3) 300 пана — выкуп за умерщвление. Установил его на этой дороге карапати (правитель) вместе
- 4) с W'sw, судьей.
- 3 bis) При предъявлении иска взимаются 120 (пана), взыскание во вторую очередь — 100 (пана), окончательная плата — 80 (пана).

¹³ R. D e g e n, *Altaramäische Grammatik*, Wiesbaden, 1969, стр. 67.

¹⁴ См.: М. Н. Б о г о л ю б о в, Арамейский документ из Авромана, «Вестник ЛГУ», 1967, 2, История — язык — литература, 1, стр. 124.

Значение надписи как языкового и исторического памятника исключительно велико. Особенно важно для истории восточного Афганистана сообщение о карапати, должностном лице в подчинении которого находилась дорога, проходящая через провинцию Лагман, и о его законодательной власти, осуществляя которую карапати в контакте с судейским чиновником (возможно, представлявшем центральный юридический аппарат империи) установил «на этой дороге» выкуп за умерщвление и порядок его уплаты.

Судя по написанию неарамейского имени собственного W'sw через aleph, составитель надписи был знаком с системой передачи пракритских текстов арамейскими буквами, согласно которому долгий «ā» в середине и в конце слова обозначался с помощью буквы aleph, ср. в Kand. II: арам. y'nyhuk'ny... = пракр. yāni hi kāni..., арам. wywmh'lk'n = пракр. vaumahālakāna(m), арам. 'nwpṭyṭy' = пракр. anurpāṭipattiyā. Здесь нужно заметить, что знатоки арамейского языка, которые были заняты транслитерированием пракритских текстов эдиктов Ашоки, переводом их на арамейский язык и составлением пракритско-арамейских фразеологических таблиц вроде тех, фрагменты которых сохранились в Laghm. I (Pul-i Darunteh) и Kand. II, были людьми, обладавшими основательными лингвистическими познаниями. Они первыми применили двухбуквенную передачу индийских придыхательных: ḥḥ для kkh — арам. dyḥytwy = пракр. dekkhitavya; th — арам. ms'rths = пракр. imasa arthasa; bh — арам. 'bhysyts = пракр. abhisitasa¹⁵. Арам. bhwwrdh (Taxila) может представлять пракр. bahuvardhā «имеющий большое увеличение». Эмфатический tet был ими привлечен в качестве церебрального t: арам. 'nwpṭyr.. = пракр. anūrpāṭipanne, арам. 'nwpṭyṭy' = пракр. anurpāṭipattiyā. Практик. loke писали через 'ayin: lwkcy¹⁶.

Присутствие в анализируемой надписи сложного предлога, в именной части которого находится индийское заимствование — shty ʿm «вместе с», позволяет несколько иначе взглянуть на функционирование арамейского языка в той среде, из которой выходили писцы. На основании Кандагарской билингвы делалось заключение о том, что арамейский язык употреблялся лишь в письменности. Но это исключало бы появление таких лексем, как shty ʿm. Вовлечение подобных заимствований более свойственно живому языку. Это же можно сказать и об образном выражении ʿbd gṛd qšt(n) «стрелять из лука» и сложном глаголе ṛd dḥ' «изгонять». Весьма своеобразно применение местоимения mh «что» в качестве союза, связывающего распространенное определение — инфинитивный оборот с определяемым. Обращает на себя внимание также ограниченное употребление предлогов.

Как и в арамейской версии Кандагарской билингвы, в данной надписи языковая обособленность проявляется в архаической орфографии. Но в написании W'sw через aleph видна новая черта чисто местного характера.

¹⁵ W. B. Henning, The Aramaic inscription of Asoka found in Lampāka, BSOAS, XIII, pt. 1, 1949, стр. 80—88.

¹⁶ См.: Sh. Shaked, Notes on the new Aśoka inscription from Kandahar, JRAS, 2, 1969, стр. 118—122.

Е. И. ЦАРЕНКО

К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛАРИНГАЛЬНОСТИ В ЯЗЫКЕ КЕЧУА

1. Разнообразные и порой противоречивые высказывания относительно природы просодии, встречающиеся в литературе, можно свести к двум основным точкам зрения. Согласно традиционной и наиболее распространенной точке зрения, просодия связывается с явлениями интенсивности, долготы и тона слогиносителей. Упор при этом делается на физические характеристики просодии, тогда как ее лингвистическая сущность остается в тени. В частности, неясно соотношение между просодемами, фонемами и дифференциальными признаками. Возможно, это объясняется тем, что в большинстве хорошо изученных языков просодическая функция действительно закреплена за физическими элементами интенсивности, долготы и тона: То, что естественные языки обычно выбирают именно такой материальный субстрат для просодии, очевидно, не случайно и связано с тем, что он лучше всего приспособлен для исполнения данной роли.

Но по мере накопления эмпирического материала, особенно по «экзотическим» языкам, стало ясно, что такой преимущественно субстанциональный взгляд на просодию является слишком узким и не может считаться по-настоящему лингвистическим. Новый, функциональный подход к просодической проблематике наиболее четко был сформулирован в рамках лондонской лингвистической школы. По мнению Дж. Ферта, Р. Робинса и др.¹, просодиями следует считать любые явления, которые присущи звуковым отрезкам, превышающим по длине отдельные сегментные фонемы, — слогам, морфемам, словам, предложениям и т. д. При этом для отнесения того или иного звукового элемента к просодии его физические характеристики не играют роли. Просодиями являются, например, назальность в сунданском языке, открытость гласных в языке тигре, ретрофлексность согласных в индо-арийских языках². Фонологический анализ звукового строя языка должен проводиться в двух аспектах — фонематическом и просодическом.

Хотя представителей лондонской школы иногда упрекают в том, что они слишком расширяют границы понятия просодии, из-за чего само это понятие становится довольно расплывчатым³, нельзя не признать правильности их основной мысли о том, что при лингвистической характеристике того или иного явления в первую очередь следует учитывать его функцию в системе данного языка, а не физическую природу. В дальнейшем мы будем основываться именно на таком понимании просодии. Но поскольку среди лингвистов в этом плане нет достаточного единства взгля-

¹ См.: J. R. Firth, Sounds and prosodies, в кн.: «Papers in linguistics», Oxford, 1958; R. H. Robins, General linguistics, London, 1964, стр. 157—168; е г о ж е, Aspects of prosodic analysis, в кн.: «Diversions of Bloomsbury», Amsterdam, 1970.

² См.: R. H. Robins, The phonology of the nasalized verbal forms in Sundanese, в кн.: «Diversions of Bloomsbury»; F. R. Palmer, Openness in Tigre: a problem in prosodic analysis, BSOAS, XVIII, pt. 3, 1956; W. S. Allen, Some prosodic aspects of retroflexion and aspiration in Sanskrit, BSOAS, XIII, pt. 4, 1951.

³ См., например: А. С. Либерман, Исландская просодика, Л., 1971, стр. 5—8.

дов, вкратце изложим исходные позиции по некоторым проблемам, имеющим отношение к теме настоящей статьи.

2. Просодические единицы (просодемы) принадлежат к одному из трех уровней фонологического яруса языковой системы — просодическому⁴. Их не следует смешивать с единицами двух других уровней — фонематического (фонемы) и меризматического (дифференциальные признаки)⁵. Под просодическими будем понимать те явления (элементы, единицы), которые служат для оформления звуковых сегментов, превышающих по длине отдельные фонемы, — слогов, морфем, слов, предложений и т. д. Мы остановимся на роли просодии в оформлении слова.

Формальное выделение слова как целостной структурной единицы может осуществляться различными способами. Наиболее обычными являются два способа — вершинообразование (кульминация) и то, что можно назвать «охватыванием». Соответственно выделяются кульминативные и охватывающие просодические системы.

При кульминации оформление слова происходит за счет создания вершины, т. е. путем выделения теми или иными средствами одного из элементов слова. В результате противопоставления одного (выделенного) элемента остальным (невыделенным) элементам последние группируются вокруг образовавшегося таким образом центра слова, чем обеспечивается сцепление его компонентов в единое целое⁶. Следует подчеркнуть, что кульминация носит имплицативный характер: выделение одного из элементов слова автоматически исключает такое же выделение остальных его элементов. При кульминативном способе оформления каждое слово в высказывании отмечается вершиной. Тип кульминатора может быть одинаковым для всех слов, а может быть и разным. Обычно кульминация реализуется в виде ударения, т. е. усиления тем или иным способом одного из слогов слова.

Известны различные типы ударения, определяемые способом размещения в слове (свободное, связанное одноместное и разноместное и т. д.) или материальным субстратом. Наибольшее распространение в языках мира получили три типа ударения — силовое, музыкальное и количественное. Бывают и другие, более редкие типы кульминаторов, в частности, кульминаторы с участием ларингальных артикуляций⁷. Характерно, что в кульминативных просодических системах просодические элементы, как правило, связаны со слогообразующими звуковыми сегментами (гласными), хотя в принципе не исключена возможность создания вершины слова за счет неслогообразующих (согласных) сегментов⁸.

⁴ Э. Бенвенист, Уровни лингвистического анализа, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 435—436 и сл.

⁵ Одноуровневый подход характерен для классического американского дескриптивизма. По словам Г. Глисона, «в пределах того или иного языка данный звук либо является фонемой, либо нет; других подразделений вообще не существует» («Введение в дескриптивную лингвистику», М., 1959, стр. 44). Фонологическая система английского языка по Г. Глисону включает в себя 44 «фонемы» — 24 согласных, 9 гласных, 3 полугласных, 1 открытый переход, 4 ударения и 3 завершителя предложений (там же, стр. 90). Может сложиться впечатление, что в английском языке разница, например, между согласными и полугласными того же порядка, что и, скажем, между согласными и ударением (или завершителями предложений).

⁶ См., например: Э. А. Макаев, Структура слова в индоевропейском, «Проблемы языкознания», М., 1967.

⁷ Многочисленные примеры использования ларингальных звуковых элементов в просодической функции см.: В а ч. В с. И в а н о в, О происхождении ларингализации — фарингализации в енисейских языках, сб. «Фонетика. Фонология. Грамматика», М., 1971.

⁸ Ср. известный «мысленный эксперимент» А. Мартинет по поводу возможного использования назальности в просодической функции (A. Martinet, Phonology as functional phonetics, London, 1949, стр. 11).

В охватывающих просодических системах оформление слова достигается за счет того, что та или иная звуковая характеристика равномерно проявляется на протяжении всего слова. Как и кульминация, охватывание носит имплицативный характер с той, однако, разницей, что наличие данной черты у того или иного элемента слова непременно влечет за собой появление такой же черты у остальных его элементов. В отличие от кульминации, при охватывании важно, чтобы отдельные слова, образующие высказывание, могли обладать разнородными характеристиками, так как одинаковое качество охватывающей просодемы на протяжении всего высказывания — равносильно ее отсутствию. Частный случай разнородного охватывания — это противопоставление «охваченных» слов «неохваченным». Тем самым при охватывающем способе не обязательно, чтобы все слова отмечались просодемами охватывания.

Наиболее распространенным типом охватывающей просодии является неоднократно описанный сингармонизм⁹. Бывают и более редкие типы охватывания, как, например, «назальная гармония» в языках тупи-гуарани, при которой назализация распространяется на ряд морфологических компонентов слова¹⁰. При этом назализованные слова оказываются противопоставленными неназализованным: гуарани [a'ba] «мужчина» — [kũ'ñã] «женщина».

Возможны и промежуточные случаи, когда просодический элемент распространяется более чем на один слог, но не охватывает всего слова. Так, в тамильском языке ударением в некоторых случаях могут быть отмечены два начальных слога¹¹. В шведском языке один из типов ударения — «акцент 2» (*gravis*) — проявляется на сегменте, охватывающем два соседних слога, в отличие от «акцента 1» (*akut*), который в общем сконцентрирован в пределах одного слога¹². Интересный случай частичного охватывания наблюдается в южноамериканском языке терена (аравакской семьи)¹³; здесь просодема назальности охватывает все гласные и сонорные вплоть до первого смычного или фрикативного элемента, который является как бы препятствием к распространению назализации на остальную часть слова. Ср.: 'ayo «его брат» — 'ājō «мой брат»; 'owoki «его дом» — 'ōbōngi «мой дом»; 'riho «он пришел» — 'mbiho «я пришел»¹⁴.

Кульминативные просодические единицы нередко совмещают свою основную функцию с функциями словоразличения или словоразграничения (ср., например, свободное ударение в русском языке и связанное ударение в польском и чешском языках). Охватывающие же просодемы уже по своей природе должны обладать различительной способностью. Кроме того, охватывающие просодические системы, как правило, сосуществуют с куль-

⁹ См., например: Г. П. Мельников, О некоторых типах словоразграничительных сигналов в языках тюркских и банту, «Народы Азии и Африки», 1966, 6; В. А. Виноградов, А. А. Реформатский, Сингармонизм и просодия слова, ВЯ, 1969, 1; В. А. Виноградов, Типология сингармонических тенденций в языках Африки и Евразии, «Проблемы африканского языкознания», М., 1972.

¹⁰ См.: E. Gregores, J. A. Suárez, A description of colloquial Guarani, The Hague — Paris, 1967, стр. 65—68.

¹¹ См.: С. Г. Рудин, Морфологическая структура тамильского языка, М., 1972, стр. 45. Способность ударения распространяться более чем на один слог автор называет «разлитым характером», или «протяженностью» ударения.

¹² См., например: G. Danel, Svensk ljudlära, Stockholm, 1959, стр. 51—53; В. Malmberg, Svensk fonetik i jämförande framställning, Lund, 1963, стр. 105—107.

¹³ J. T. Vender-Samuel, Some problems of segmentation in the phonological analysis of Tereno, «Word», 16, 3, 1960.

¹⁴ Другой любопытной особенностью назальности в языке терена является то, что она не входит в число обычных фонологических средств, а используется исключительно для образования форм 1-го лица (ср. приведенные примеры).

минативными¹⁵, причем доля участия просодем обоих типов в оформлении слова может быть различной. Так, в некоторых тюркских языках роль гармонии гласных как оформителя слова настолько велика, что в этом качестве сингармонизм, возможно, не уступает кульминативной просодеме — ударению. В языках же туши-гурани наализация, несомненно, служит лишь дополнением к основной просодической единице кульминативного типа.

3. Уже из приведенных примеров видно, насколько разнообразным может быть материальный субстрат фонологических единиц (в рассмотренных случаях — просодем). В то же время из функционального принципа вытекает, что физически сходные явления могут выполнять совершенно различную лингвистическую функцию в зависимости от особенностей той или иной конкретной языковой системы. В первую очередь это относится к разного рода переходным звуковым элементам типа аффрикат, сонантов, глайдов и т. п.¹⁶ Для темы данного сообщения представляют интерес глайды, произносимые в полости гортани, — придыхание [h] и гортанная смычка [ʔ].

Функциональные особенности ларингальных звуковых элементов, очевидно, связаны с их акустико-артикуляционной природой. Ларингалы образуются за счет работы только первичного, исходного органа речи — гортани¹⁷, надгортанные же полости, которые и обеспечивают все бесконечное многообразие звуков человеческой речи, в их образовании не участвуют или, в лучшем случае, участвуют пассивно. Отсюда слабость, неустойчивость, подвижность ларингальных звуков и нередко переменчивость и неопределенность их фонологического статуса. Обширный эмпирический материал по ларингалам требует еще должной систематизации и обобщения. Здесь же мы ограничимся перечислением возможных случаев функционирования ларингалов: 1) акустико-артикуляционные особенности ларингалов ставят их на грань между звуками речи и неречевыми проявлениями инстинктивного порядка (non-speech sounds К. Пайка); 2) ларингалы могут относиться к явлениям речи, но не нести при этом фонологической нагрузки, оставаясь дополнительными, сопутствующими элементами по отношению к подлинным фонологическим единицам (согласным или гласным фонемам, просодемам); 3) ларингалы могут выступать в роли сегментных согласных фонем; 4) ларингалы могут служить дифференциальными признаками согласных или гласных фонем; 5) ларингалы могут выполнять просодическую функцию¹⁸; 6) наконец, ларингалы могут совмещать сразу несколько функций, а также переходить с одного фонологического уровня на другой.

Таким образом, ларингалы могут занимать самое различное положение в системе звуковых средств. Отсюда ясно, с какими трудностями приходится сталкиваться при установлении их функциональной природы. Чтобы избежать неправильных решений, нужно, во-первых, тщательно исследовать особенности поведения ларингальных элементов в системе данного языка, а во-вторых, учитывать типологическую вероятность принадлежности их к любому из возможных уровней.

4. В свете вышеизложенных принципов рассмотрим положение с ларингальностью кечуа. В этом языке имеются следующие типы ларингал-

¹⁵ О сосуществующих просодических системах см.: G. L. T r a g e r, The theory of accentual systems, «Language, culture and personality», Menasha, 1941.

¹⁶ См., например: А. С. Л и б е р м а н, Аффрикаты в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1971, 5; е г о ж е, Дифтонги в английском языке, там же, 1972, 2.

¹⁷ О типах речеобразующих механизмов см.: K. L. P i k e, Phonetics, Ann Arbor, 1958, стр. 85—106.

¹⁸ См. об этом: В я ч. В с. И в а н о в, указ. соч., стр. 125—129.

ных артикуляций: 1) придыхание [h], регулярно употребляемое в качестве приступа начальных гласных¹⁹: *hantu* «приходить», *hiča* «вина, грех», *hina* «так, подобно»; 2) гортанная смычка [ʔ], факультативно употребляемая в качестве приступа гласных: (ʔ)*aqi* «песок», (ʔ)*inti* «солнце», (ʔ)*uni* «вода»; 3) придыхание, являющееся компонентом придыхательных (постаспирированных) смычных согласных; *phuru* «перо», *thuta* «моль», *lanthu* «тень», *qhasqu* «грудь»; 4) гортанная смычка, являющаяся компонентом смычно-гортанных (постглоттализированных) смычных согласных: *p'unčau* «день», *t'ika* «цветок», *č'ukla* «хижина», *k'uyči* «радуга».

В оценке фонологического статуса 1, 3 и 4-го типов ларингальных элементов среди кечуанистов нет существенных разногласий. Придыхательный приступ признается обычной согласной фонемой, придыхание и гортанная смычка, сопутствующие смычному согласным, — дифференциальными признаками этих фонем. Аспирированные и глоттализированные смычные включаются в корреляции по аспирации и глоттализации, вместе с простыми смычными образует стройную и симметричную подсистему:

<i>p</i>	<i>t</i>	<i>č</i>	<i>k</i>	<i>q</i>
<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>čh</i>	<i>kh</i>	<i>qh</i>
<i>pʔ</i>	<i>tʔ</i>	<i>čʔ</i>	<i>kʔ</i>	<i>qʔ</i>

Что касается твердого приступа, то за ним обычно не признается фонологической функции и ему не уделяется внимания в фонологических и даже в фонетических описаниях. Но нами показано, что, несмотря на факультативность, слабость и неустойчивость, сегментную гортанную смычку также следует включить в фонологическую систему кечуа на правах согласной фонемы²⁰. Были также отмечены основные особенности употребления ларингальных (т. е. сегментных придыхания и гортанной смычки) и ларингализованных (т. е. придыхательных и смычно-гортанных) фонем. Их можно свести к следующим правилам: 1) ларингальные фонемы /h/ и /ʔ/ возможны только в начале слова; 2) ларингализованные фонемы допускаются только в начально-слоговой (сильной) позиции, но могут употребляться как в начале, так и в середине слова: *p'unčau* «день» — *tar'a* «грязный», *phuyu* «туча» — *saphi* «корень», *t'ika* «цветок» — *rit'i* «снег», *č'usaq* «пустой» — *sač'a* «низкое дерево, куст»; 3) в пределах слова допускается наличие только одной из ларингальных фонем — /h/ или /ʔ/ (что является следствием из первого правила); 4) в пределах слова допускается наличие только одной придыхательной или одной глоттализированной согласной фонемы, ср. следующие соответствия в языках аймара и кечуа: айм. *t'ant'a* «хлеб» — кеч. *t'anta*, айм. *qhasqha* «жесткий, грубый» — кеч. *qhasqa*; как мы видим, в языке кечуа «лишние» ларингальные элементы устраняются; 5) в пределах слова невозможно одновременное наличие придыхательной и смычно-гортанной смычных фонем; 6) в пределах слова не допускается сочетание однородных, но допускается сочетание разнородных ларингальных и ларингализованных фонем; ср. айм. *ʔamawt'a* «мудрец» — кеч. *ʔamawta/hamawt'a*; айм. *hiču* «степная трава» — кеч. *iču/hiču*.

Конечно, описывая кечуанскую фонологическую систему, можно было бы ограничиться заявлением, что таковы особенности дистрибуции некоторых согласных фонем. Но это равносильно тому, как если бы мы, например, констатировали, что в русском языке есть «простые» и «усиленные» (ударные) гласные, причем дистрибуция последних характеризует-

¹⁹ О типах приступов см., например: E. Dietz, *Vademekum der Phonetik*, Bern, 1950, стр. 96—124.

²⁰ Е. И. Царенко, О ларингализации в языке кечуа, ВЯ, 1972, 1.

ся обязательным наличием в слове только одной такой фонемы. При таком подходе из поля зрения полностью выпадала бы вся специфика ударения как сверхсегментного, просодического средства.

Между тем, аналогия между кечуанской ларингальностью и привычными нам просодическими единицами типа ударения напрашивается сама собой. Действительно, нетрудно заметить, что все перечисленные правила взаимосвязаны и сводятся к одной общей закономерности — в пределах слова допускается наличие не более одной однотипной ларингальной артикуляции. Но ведь таков основной внешний признак кульминативных просодем.

Отсюда естественно возникает вопрос: к какому из фонологических уровней следует отнести ларингальные элементы, употребляемые в языке кечуа? Чтобы ответить на него, еще раз рассмотрим их свойства и попытаемся установить, со свойствами каких фонологических единиц их можно сопоставить.

5. Прежде всего очевидно, что как начальные ларингальные элементы, так и ларингальные признаки согласных относятся к явлениям языка. Далее, как придыхательный, так и твердый приступы начальных гласных обладают таким свойством фонем, как сегментность, т. е. выделимость в речевом потоке (разумеется, эта выделимость относительна, что, впрочем, можно сказать и о других согласных звуках²¹). Правда, твердый приступ лишен такой важной черты фонем, как обязательность употребления²². Но тесные функциональные связи начальной гортанной смычки с сегментным придыханием (как прямые, так и опосредствованные через ларингальные признаки) заставляют отнести ее к согласным фонемам. Сегментное придыхание и гортанная смычка образуют пару, противостоящую остальным фонемам не только по дифференциальным признакам, но и по особенностям своего употребления и поведения.

Что касается придыхания и гортанной смычки, сопутствующих смычным согласным, то считать их признаками фонем заставляют такие свойства, как единство артикуляции с предшествующим смычным элементом и характер дистрибуции в слоге и слове. Можно предложить и другую фонологическую интерпретацию сопутствующих ларингальных элементов, например, трактовать их как сегментные фонемы или как признаки гласных. Однако такие решения представляются неубедительными, что, в принципе, вытекает из вышеизложенного.

В то же время некоторые особенности поведения ларингальных фонем свидетельствуют об ослабленности их фонемных свойств. Можно упомянуть, например, слабость и неустойчивость артикуляции, ограниченную по сравнению с другими согласными фонемами дистрибуцию. Как уже отмечалось, в языке кечуа гласное начало слога и слова на фонологическом уровне невозможно, и при отсутствии других согласных в начале слова обязательно находится одна из ларингальных фонем. При этом начальные придыхание и гортанная смычка легко могут переходить друг в друга, что становится очевидным при сопоставлении вариантов слов с ларингальным началом в некоторых диалектах и даже в пределах одного и того же диалекта. Ср., например, следующие формы в диалектах Куско и Боливии: К. *ʔalpa/halpʔa* — Б. *halpʔa* «земля»; К. *hankʔu* — Б. *ʔanku*

²¹ См.: Н. И. Дукельский, Принципы сегментации речевого потока, М., 1962.

²² Имеется в виду именно факультативность, необязательность материального выражения данной фонемы, а не возможность чередования ее с фонематическим нулем; гортанная смычка сохраняет фонематичность независимо от того, продуцируется ли она органами речи или нет. О соотношении понятий «пустой» фонемы и фонематического нуля см.: Н. F r e i, *Zéro, vide et intermittent*, ZRPh, 3/4, 1950.

«нерв, сухожилие»; К. *hurquy* — Б. *'urqhuuy* «вынимать»; К. *huqariy* — Б. *'uqhariy* «поднимать» и т. п. (в этих примерах тип начального ларингала определяется типом ларингального признака; см. правила 3 и 4).

Аналогичные особенности — ограниченная дистрибуция, легкость, с которой признаки аспирации и глоттализации появляются, исчезают и переходят друг в друга²³, — характерны и для ларингальных признаков (ср., например: К. *maskay/maskhay* — Б. *mask'ay* «искать»; К. *yarqha* — Б. *larq'a* «оросительный канал»; К. *q'učuy* — Б. *qhučuy* «веселиться»; К. *qatiy* — Б. *qhatiy* «следовать»; К. *karu/kharu* — Б. *karu* «далекий»). Эти черты свидетельствуют об ослабленности меризматических свойств ларингальных признаков.

Таким образом, между ларингальными фонемами и ларингальными признаками обнаруживается несомненное функциональное сходство. Обращает на себя внимание тот факт, что это сходство проявляется именно в тех особенностях дистрибуции и поведения, которые указывают на ослабленность фонемных свойств ларингальных фонем и признакововых свойств ларингальных признаков. Создается впечатление, что эти фонологические единицы, относящиеся к принципиально различным уровням, каким-то образом сближаются или встречаются. Попытаемся выявить то общее, что позволяет говорить о таком схождении.

6. Прежде всего очевидно, что функциональная связь между ларингальными фонемами и ларингальными признаками не может осуществляться ни на фонематическом, ни на меризматическом уровнях. У ларингальных фонем нет таких свойств, которые позволяли бы считать их (хотя бы частично) дифференциальными признаками, подобными признакам глоттализации и аспирации, а у ларингальных признаков — свойств, дающих основание рассматривать их как сегментные фонемы наравне с ларингалами. Зато такая общая черта, как однократное употребление в слове, с очевидностью указывает на сходство тех и других с явлениями просодического уровня, а именно кульминаторами. Следовательно, можно было бы перевести как сегментные, так и сопутствующие ларингальные элементы на просодический уровень. Но вправе ли мы, включив ларингальные фонемы и ларингальные признаки в число единиц просодического уровня, полностью вывести их соответственно с фонематического и с меризматического уровней? Чтобы ответить на данный вопрос, сравним ларингальные элементы с различными типами просодических единиц и проанализируем, в какой степени правомерно такое сравнение.

1) Подавляющее большинство слов, содержащих ларингальные элементы любого типа, характеризуется строго однократным употреблением последних (слова типа *'inti* «солнце», *hamiyu* «приходить», *i'uru* «грязь», *khuči* «свинья» и т. д.). Тем самым ларингальные элементы сопоставимы с просодическими единицами кульминативного типа. А поскольку ларингальные звуковые образования довольно легко выделяются в речевом потоке, место ларингального кульминатора в слове определяется очень четко; никаких ларингальных «паззуков» на остальных участках слова не наблюдается. В этом смысле кечуанскую ларингальность можно считать кульминативной «точечной» просодемой даже с большим основанием, чем обычное ударение, которое, как правило, представляет собой совокупность собственно кульминатора — главного ударения — и сопутствующих ему «эхо» — второстепенных ударений.

Однако в сравнительно небольшом числе слов употребляется по два ларингальных элемента, первым из которых является находящаяся в на-

²³ Например, о роли фактора аналогии в распространении придыхания на новые слои кечуанской лексики см.: Р. Р. Г о л д, Proto-Quechua /p/, IJAL, 38, 2, 1972.

чале слова ларингальная фонема, а вторым — ларингальный признак, характеризующий первую по порядку смычную фонему. При этом типы ларингальности первого и второго элементов обязательно должны быть разными (слова типа *halp'a* «земля» или *'ichu* «степная трава, сено», см. правило 6).

Очевидно, что эти слова отмечены двумя вершинами, которые, однако, не выступают разрозненно, а образуют некоторое функциональное единство, определяемое правилом 6 (см. выше). Получающуюся таким образом комплексную просодему можно отнести к переходному типу. С одной стороны, ее компоненты, взятые каждый в отдельности, имеют «точечный» характер, не отличаясь в принципе от простых (единичных) ларингальных кульминаторов, а с другой — ларингальный комплекс в целом распространяется на отрезок слова длиной более одного слога.

2) Как уже отмечалось, место ларингальности в слове имплицитно определяется фонологической структурой последнего. Сегментные ларингалы всегда имеются в начале слова, если оно не прикрыто каким-либо другим согласным сегментом. Ларингальные признаки могут выступать только при наличии в слове смычных согласных, причем они автоматически закреплены за первым по порядку смычным из тех, которые имеются в данном слове. Так, в словах типа *TATA* (т. е. содержащих только смычные звуки) ларингальные признаки могут находиться только при первом смычном (*ThATA*, *T²ATA*), но никак не при втором (*TAThA*, *TAT²A*). В первом слоге ларингальные признаки допускаются только в том случае, если предыдущие слоги содержат в своем составе несмычные звуки — фрикативные или сонорные (*lanithu* «тень», *sut'i* «ясный», *saphi* «корень», *wayk'uy* «готовить пищу» и т. п.). Правило, устанавливающее распределение ларингальных элементов при наличии в слове ларингальной фонемы и ларингального признака, соответствует правилам распределения, действующим отдельно для ларингальных фонем и для ларингальных признаков. Ларингальные признаки не допускаются в конце слога, даже если слог оканчивается на смычный согласный²⁴. Естественно, что их наличие исключено, если в данном слове вообще отсутствуют смычные сегменты (слова типа *yana* «черный», *suri* «страус»). Отсюда ясно, что место ларингальных элементов в слове не может служить для различения звуковых оболочек слов. С этой точки зрения кечуанскую ларингальность нельзя сопоставить со свободным ударением типа русского, различительная функция которого очевидна в связи с непредсказуемостью места его в слове. Нельзя приравнять ларингальность и к связанному ударению типа польского, поскольку место ее в слове определяется неоднозначно и зависит от структуры слова. Наиболее очевиден изоморфизм ее со связанным ударением того типа, которое представлено в латинском или арабском языках, но если в этих двух языках место ударения определяется относительным распределением долгих и кратких слогов в слове, то в кечуа место ларингальности зависит от соотношения смычных и несмычных консонантных компонентов слова. В целом же ларингальность в кечуа можно считать кульминативной просодемой, выполняющей вдобавок разграничительную функцию: поскольку ларингальные элементы обычно приходятся на первые слоги, то они до некоторой степени служат сигналами начала слова. А если учесть, что основная просодическая единица кечуа — ударение — почти всегда закреплена за предпоследним слогом и, таким образом, сдвинута

²⁴ Отождествление М. Йокоямой конечнослоговых фрикативных аллофонов с придыхательными смычными представляется неубедительным (см.: М. Уокоуаша *Outline of Kechua structure I: morphology*, «Language», 27, 1—2, 1951, стр. 38—42) Большинство кечуанистов связывают эти аллофоны с простыми смычными: [g'haraq] ~ ~/qharaq/ «богатый», [g'afra] ~ /garpa/ «крыло» и т. д.

к концу слова, то отмеченные ларингальностью слова часто оказываются отграниченными с обеих сторон сигналами, резко различающимися по своим физическим характеристикам.

3) При предсказуемости места, занимаемого ларингальностью, общей фонологической структурой слова само наличие ее в слове необязательно и непредсказуемо. Есть много слов, содержащих смычные, но неларингализованных (например, *tuta* «ночь», *kila* «луна, месяц», *suti* «имя»), хотя в целом ларингальностью охвачено более половины словарного состава языка кечуа. Но, как уже говорилось, общим правилом для кульминативных систем является обязательное наличие кульминатора в каждом слове. Необязательность же ларингальности в слове ослабляет ее просодичность и сообщает ей различительную функцию, поскольку ларингализованные слова оказываются противопоставленными неларингализованным. В этом ее отличие от основной просодической единицы кечуа — ударения, которое характеризует каждое слово.

4) В кечуа употребляются разнообразные ларингальные элементы — сегментные аспирация и гортанная смычка, аспирация и гортанная смычка, являющиеся признаками смычных согласных. Наличие нескольких типов ларингальности также сообщает ей различительную функцию, так как благодаря этому противопоставляются не только ларингализованные и неларингализованные слова, но и слова, характеризующиеся разными типами ларингальности. В этом отношении кечуанскую ларингальность можно уподобить акцентуационным системам таких индоевропейских языков, как санскрит, древнегреческий, литовский, южнославянские, в которых употребляются несколько типов музыкальных ударений, различающихся характером движения голосового тона.

5) Коренное отличие кечуанской ларингальности от известных кульминативных просодических систем — это то, что она относится к неслогообразующим звуковым сегментам. Даже в тех языках, в которых просодические единицы связаны с ларингальными артикуляциями (например, датский, исландский, латышский, кетский, тагальский), последними все-таки характеризуются слогиносители. Но, как уже отмечалось, только на этом основании нельзя отрицать просодический характер ларингальности в кечуа, так как пока еще никем не обосновано утверждение о том, что просодичность (кульминативность) обязательно должна быть привилегией только слогиобразующих элементов²⁵. Остается признать, что язык кечуа является исключением из универсального правила о соотношении просодем со слогиносителями.

7. Итак, ряд свойств ларингальных фонем и признаков — ограниченная дистрибуция, неустойчивость, легкость, с которой они возникают, исчезают и переходят друг в друга, склонность к «блужданию» по слову — заставляют усомниться в том, можно ли безусловно относить их к фонемам и признакам. Создается впечатление, что и те, и другие являются чем-то внешним по отношению к слову; они как бы «надстраиваются» над словом или «пристраиваются» к нему.

Действительно, такие особенности, как однократное употребление, «точечный» характер размещения в слове, сближают ларингальные элементы с просодическими единицами кульминативного типа. Однако другие их черты, — необязательность употребления в каждом слове, наличие нескольких типов ларингальности — свидетельствуют о сохранении ими

²⁵ Ср. определение Н. С. Трубецким просодических признаков как признаков, присущих слогиносителям (см.: Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 206—222 и сл.). Следует отметить, что в своей трактовке просодических явлений основоположник «функциональной фонетики» в целом исходит из субстанциональных критериев.

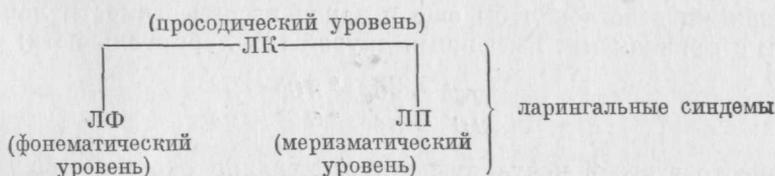
определенной доли различительности и в то же время об ослабленности кульминативной функции.

Таким образом, у нас нет достаточных оснований для безоговорочного отнесения ларингальных элементов только к одному из фонологических уровней — фонематическому / меризматическому или просодическому. Единственно приемлемым остается «плюралистическое» решение. Независимые ларингалы мы будем продолжать считать фонемами и относить их к фонематическому уровню, а сопутствующие ларингальные элементы — дифференциальными признаками согласных фонем, относя их к меризматическому уровню. Но одновременно и ларингальные фонемы, и ларингальные признаки выполняют еще и просодическую функцию, что позволяет считать и те, и другие единицами просодического уровня — кульминаторами.

Такое совмещение функций разных фонологических уровней одними и теми же звуковыми элементами не может не сказаться отрицательно на полноценном выполнении каждой из совмещаемых функций. Как «фонемность» ларингальных фонем и «признаковость» ларингальных признаков, так и «просодичность» ларингальных кульминаторов выступают в ослабленном виде. Тем не менее, в целом ларингальные элементы по суммарной функциональной нагруженности, по-видимому, не уступают обычным фонемам и обычным дифференциальным признакам, хотя эта нагруженность носит гетерогенный, смешанный характер.

Иными словами, ларингальные фонемы и ларингальные признаки лишь частично пребывают соответственно на фонематическом и меризматическом уровнях. Свойственная им просодичность переводит их (также частично) на просодический уровень, где и происходит встреча этих единиц принципиально различных фонологических уровней. В целом же ларингальные элементы кечуа, очевидно, являются особого рода переходными, неопределенными фонологическими единицами, которые можно обозначить предложенным С. Д. Кацнельсоном термином «синдема»²⁶.

Приведенную характеристику ларингальности можно представить в виде схемы (ЛФ — ларингальные фонемы, ЛП — ларингальные признаки, ЛК — ларингальные кульминаторы):



8. В связи с тем, что на просодическом уровне встречаются единицы разных уровней (фонематического и меризматического), которые имеют сходную физическую природу, возникает вопрос о типах ларингальных кульминаторов, а также о том, можно ли говорить о полном слиянии ларингальных фонем и признаков или же только об их сближении?

Дело в том, что ларингальные фонемы и признаки, выступая в качестве просодем, ведут себя сходным образом, что проявляется в уже упоминавшихся правилах размещения ларингальных элементов в слове. С одной стороны, в слове невозможно одновременное наличие двух физически однородных ларингальных элементов одинакового уровня, т. е. двух признаков аспирации или глоттализации, а также двух сегментных придыханий или гортанных смычек. С другой стороны, в слове исклю-

²⁶ См.: С. Д. Кацнельсон, Фонемы, синдемы и «промежуточные» образования, сб. «Фонетика. Фонология. Грамматика».

чается одновременное наличие однотипных ларингальных элементов разных фонологических уровней, т. е. начальное придыхание несовместимо с признаком аспирации, а сегментная гортанная смычка несовместима с признаком глоттализации. Эти отношения можно представить следующим образом (Ch , $C^?$ — ларингализованные смычные; h , $h^?$ — ларингальные фонемы):

$$\begin{array}{lll} \mathcal{A}h_1 \rightarrow \bar{\mathcal{A}}h_2 & \mathcal{A}Ch_1 \rightarrow \bar{\mathcal{A}}Ch_2 & \mathcal{A}Ch \rightarrow \bar{\mathcal{A}}h \\ \mathcal{A}^?_1 \rightarrow \bar{\mathcal{A}}^?_2 & \mathcal{A}C^?_1 \rightarrow \bar{\mathcal{A}}C^?_2 & \mathcal{A}C^? \rightarrow \bar{\mathcal{A}}^? \end{array}$$

Иначе говоря, закон несовместимости ларингальных фонем с однородными ларингальными признаками действует совершенно аналогично, с одной стороны, закону несовместимости однородных ларингальных фонем между собой, а с другой стороны — закону несовместимости ларингальных признаков друг с другом.

Отсюда закономерный вопрос: нельзя ли в функциональном отношении полностью приравнять друг к другу ларингальные фонемы и признаки, когда они рассматриваются на просодическом уровне? Тогда мы имели бы всего два кульминатора — придыхательный и смычно-гортанный, каждый из которых мог бы соотноситься с физически сходными единицами других фонологических уровней.

Однако принять такое решение препятствуют другие особенности ларингальных элементов. Дело в том, что наряду с правилами о несовместимости о д н о р о д н ы х ларингальных признаков в слове есть еще и правило о несовместимости р а з н о р о д н ы х ларингальных признаков (наличие признака аспирации исключает наличие признака глоттализации и наоборот), а также р а з н о р о д н ы х ларингальных фонем (наличие придыхания исключает наличие гортанной смычки и наоборот):

$$\begin{array}{ll} \mathcal{A}Ch \rightarrow \bar{\mathcal{A}}C^? & \mathcal{A}h \rightarrow \bar{\mathcal{A}}^? \\ \mathcal{A}C^? \rightarrow \bar{\mathcal{A}}Ch & \mathcal{A}^? \rightarrow \bar{\mathcal{A}}h \end{array}$$

Если бы ларингальные фонемы и признаки при выполнении своей просодической функции вели себя совершенно одинаково, то наряду с законом несовместимости ларингальных фонем с однородными ларингальными признаками действовал бы еще и закон несовместимости ларингальных фонем с признаками, имеющими другой тип ларингальности:

$$\begin{array}{ll} \mathcal{A}Ch \rightarrow \bar{\mathcal{A}}h & * \mathcal{A}C^? \rightarrow \bar{\mathcal{A}}^? \\ \mathcal{A}C^? \rightarrow \bar{\mathcal{A}}^? & * \mathcal{A}h \rightarrow \bar{\mathcal{A}}C^? \end{array}$$

Но вместо этого в кечу существует правило о с о в м е с т и м о с т и разнородных ларингальных фонем и признаков, согласно которому наличие в слове признака аспирации допускает наличие в начале слова гортанной смычки, а наличие признака глоттализации — наличие придыхания:

$$\begin{array}{ll} \mathcal{A}Ch \rightarrow \bar{\mathcal{A}}h & \mathcal{A}Ch \rightarrow \bar{\mathcal{A}}^? \\ \mathcal{A}C^? \rightarrow \bar{\mathcal{A}}^? & \mathcal{A}C^? \rightarrow \bar{\mathcal{A}}h \end{array}$$

Это значит, что и в роли кульминаторов ларингальные фонемы не совсем тождественны ларингальным признакам. На просодическом уровне ларингальные фонемы и признаки вступают в весьма тесную, органическую связь между собой, но до полного функционального слияния их дело не доходит. Поэтому приходится ввести четыре типа ларингальных кульминаторов, которые различаются, во-первых, в зависимости от своей физической природы, а во-вторых — в зависимости от того, с единицами каких фонологических уровней они соотносятся (см. табл. 1).

Таблица 1

Типы ларингальных кульминаторов в языке кечуа

Фонологический уровень	Физическая природа	
	придыхание	гортанная смычка
Фонематический	фонемный придых. кульминатор <“>	фонемный см.-горт. кульминатор <”>
Меризматический	признаковой придых. кульминатор < >	признаковой см.-горт. кульминатор <’>

9. В заключение остановимся на принципах транскрипции. Поскольку ларингальные элементы в кечуа могут относиться одновременно к нескольким фонологическим уровням, их можно рассматривать в двух аспектах. Тогда в обычной фонологической транскрипции ларингальные фонемы и признаки будут находиться на своих местах. В просодической же транскрипции вместо ларингальных фонем и признаков будут обозначены ларингальные кульминаторы. А так как их место в слове автоматически определяется размещением смычных и несмычных фонем, то символы ларингальности могут быть «вынесены за скобки». Пример записи слов обоими способами (С — консонантное начало слова):

Фонематическая транскрипция	Просодическая транскрипция	
1. /mama/	<mama>	«мать»
2. /tuta/	<tuta>	«ночь»
3. /p ^h unčay/	’<punčay>	«день»
4. /qhasqu/	’<qasqu>	«грудь»
5. /sut ^h i/	’<suti>	«ясный»
6. /lanthu/	’<lanthu>	«тень»
7. /?aqu/	”<Caqu>	«песок»
8. /huča/	”’<Cuča>	«вина, грех»
9. /?ukhu/	””<Cuku>	«тело; внутренность»
10. /huk ^h uča/	””’<Cukuča>	«мышь»

При этом наглядно видно, что на просодическом уровне слова различаются не фонемным составом, а ларингальным контуром слова в целом. Всего же для кечуа устанавливается шесть ларингальных контуров: четыре простых <’>, <’>, <”>, <”> (примеры 3, 4, 5, 6, 7, 8) и два сложных <”’>, <””> (примеры 9, 10). В качестве седьмого можно ввести нулевой ларингальный контур, соответствующий отсутствию ларингальности (примеры 1, 2).

В. Е. ШЕВЯКОВА

АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

(Конструкция с двойной инверсией)

Проблема инвертированного порядка следования членов предложения является важной и актуальной, ибо это вопрос о выделении члена предложения, являющегося носителем логического предиката или нового ¹, о том, какими грамматическими средствами осуществляется в том или ином языке это выделение. В пределах одного лексико-грамматического состава определенная мысль может быть выражена самыми разнообразными синтаксическими средствами, в том числе логическим ударением и порядком слов ².

Что касается логического ударения, то оно используется только в устной речи. В письменной, как и в устной речи многих индоевропейских языков для выражения логической структуры передаваемой в предложении мысли служит порядок слов ³, при этом в языках различной типологии, таких, например, как русский (синтетический строй) и английский (аналитический строй), функциональная роль порядка слов проявляется по-разному и в разной степени.

В русском языке, благодаря ярко выраженной морфологической оформленности любой член предложения, который является носителем нового, обычно помещается в конец предложения, в положение после данного. Ср. *Петр уехал в Ленинград* и *В Ленинград уехал Петр*.

В английском языке такая свобода перестановки невозможна из-за слабой морфологизации существительных, прилагательных и глаголов (результат редукции флексий) и закрепления ввиду этого за каждым членом предложения определенного и постоянного места, поскольку в английском языке порядок слов служит средством выражения грамматических отношений ⁴. Однако отсутствие свободы перестановки не исключает в ан-

¹ В. З. Панфилов вслед за Л. В. Щербой справедливо отмечает, что данное и новое отражают субъектно-предикатную структуру выражаемой в предложении мысли-суждения (см.: Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, М., 1948, стр. 117—118; В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 160).

² См.: В. В. В и н о г р а д о в, Вопросы грамматического строя, М., 1955, стр. 412.

³ Существуют и другие способы выражения нового: лексические [слова и частицы с выделительно-ограничительным значением типа *только, лишь, именно, как раз* (русс.), *only, merely, just, notably, solely* (англ.), *nur, gerade* (нем.), *seulement, uniquement, notamment, juste* (франц.)], морфологические (некоторые морфемы в агглютинативных языках — см.: В. З. П а н ф и л о в, указ. соч., стр. 119), синтаксические [при пассивном подлежащем предложное дополнение с *by* (англ.), с *von* (нем.), с *par* и *du* (франц.), оборот *it is... that* (англ.), *c'est... qui (que)* (франц.), *es ist... der (welcher)* (нем.), конструкция с вводным *there* (англ.), оборот *il y a* (франц.), *es gibt* (нем.) и др.]. Однако рассмотрение всех способов выделения нового не входит в задачу данной статьи.

⁴ О неизбежности синтаксического способа выражения грамматических категорий при аналитическом строе см.: В. Н. Я р ц е в а, Историческая морфология английского языка, М.—Л., 1960, стр. 162, ср. стр. 27.

лийском языке возможности некоторого перемещения членов предложения с целью выделения нового. Но в отличие от русского языка эти перестановки, как правило, возможны только в рамках специальных грамматических конструкций с определенным семантическим значением. Такими конструкциями, например, являются: инверсия с вводным *there*, инверсия с опущенным *there* типа *Inside was a microscope*, оборот *it is ... that* и др.

Сюда же относится и рассматриваемая ниже конструкция повествовательного предложения с двойной инверсией двучленного сказуемого по отношению к подлежащему⁵, причем в зависимости от характера сказуемого она имеет два подвида, которые можно иллюстрировать соответственно следующими предложениями: (а) «(I lit up a cigarette and walked over to the mantelpiece.) *Hanging over it was a large framed photograph of a young man in R. A. F. uniform, with the air-crew slip in his cap*» (J. Braine, Room at the top) «Над ним висела в рамке большая фотография молодого человека в форме военного летчика с авиационной эмблемой на пилотке»; (б) «(The jewel box had key in it ... He opened it.). *Divided in little green velvet compartments were all the things he had given her, even her watch*» (J. Galsworthy, The man of property). «В зеленых бархатных отделеньях лежали все вещи, которые он ей подарил, даже ее часы».

Синтаксическая особенность этой конструкции заключается в том, что в предложении обязательно наличествуют три определенных члена: 1) обстоятельство места или предложное дополнение в значении обстоятельства [*over it* — подвид (а) и *in little green velvet compartments* — подвид (б)], 2) двучленное сказуемое либо в форме continuous [*was hanging* — подвид (а)], либо страдательного залога [*were divided* — подвид (б)] и 3) подлежащее с развернутым определением в постпозиции в форме придаточного определительного предложения, приложения, пояснительного перечисления или сопутствующих обстоятельств [*a large framed photograph of a young man in R. A. F. uniform, with the air-crew-slip in his cap* — подвид (а) и *all the things he had given her, even her watch* — подвид (б)]. При этом инверсия осуществляется не только за счет постановки двучленного сказуемого перед подлежащим, но и сами части сказуемого, расширенного обстоятельством места, следуют в инвертированном порядке: смысловая часть сказуемого — причастие I [*hanging* — подвид (а)] или причастие II [*divided* — подвид (б)] — предшествует вспомогательному глаголу *be* [*was* — подвид (а), *were* — подвид (б)]. При этом подлежащее с развернутым постпозитивным определением занимает конечное положение, после глагольной части сказуемого. Таким образом, конструкции с двойной инверсией присущ следующий порядок следования членов предложения: смысловая часть сказуемого (Сс) + обстоятельство места (Ом) + глагольная часть сказуемого (Сг) + подлежащее (П). Формула этой конструкции могла бы быть представлена в следующем виде: (Сс + Ом + Сг + П).

Конструкция с двойной инверсией рассматриваемого типа встречается в различных стилях языка: в произведениях художественной, публицистической и научной литературы. Однако в трудах по грамматике английского

⁵ Следующие русские предложения передавались бы по-английски с помощью рассматриваемой конструкции.

«Перед раскрытым окном красивого дома сидели две женщины — одна лет пятидесяти, другая уже старая, семидесяти лет. (Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной...)» (И. С. Тургенев, Дворянское гнездо).

«(...Акундин оглядел затихший зал и начал говорить). В это время в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачек подбородком, сидела молодая девушка, в суконном черном платье, закрытом до шеи. (Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами... Она разглядывала сидящих...)» (А. Н. Толстой, Хожение по мукам).

языка, даже английских лингвистов, она не констатирована, хотя они сами используют эту конструкцию в своей речи⁶. Фактически рассматриваемая конструкция отмечена лишь в двух отечественных работах, носящих чисто нормативный характер⁷, где дается ряд примеров на эту конструкцию (под рубрикой «Обратный порядок слов после причастий I и II, являющихся частью составного сказуемого») и предлагаются рекомендации относительно правил ее перевода на русский язык⁸. При этом указывается, что с помощью этого типа инверсии достигается смысловое выделение вынесенных вперед членов предложения (и в первую очередь обстоятельства места)¹⁰. Однако это положение противоречит рекомендованному в самих же пособиях способу перевода этой конструкции, ибо в русском переводе выделенным оказывается вынесенное в конец предложения подлежащее. Анализ структуры мысли-суждения, выражаемой в рассматриваемом английском предложении, выявление с помощью смыслового и грамматического контекста и интонационно-просодических средств актуального членения предложения на данное и новое показывает, что в предложениях с двойной инверсией данного типа мысль, выраженная вынесенным вперед обстоятельством места (или предложным дополнением) и сказуемым, является данным. Носителем же нового, тем, что утверждается относительно предмета мысли — данного, является помещенное в конец предложения подлежащее с определением. Так, в подвиде (а) мысль, выраженная обстоятельством места и сказуемым *hanging over it was* («над ним висела»), является данным (это видно из предшествующего сообщения, где мысль о камине уже упоминалась в качестве нового — *I lit a cigarette and walked over to the mantelpiece*). Новым в предложении с двойной инверсией является мысль о фотографии, выраженная группой подлежащего — *a large framed photograph...* Это сообщение отвечает на вопрос «Что висело над камином?», а не на вопрос «Где висела фотография?».

То же самое справедливо и в отношении подвида (b). Хотя слова *little green velvet compartments* сами по себе не содержатся в предшествующих предложениях (*The jewel box had key in it... He opened it*), однако мысль о шкатулке (*The jewel box*), упомянутой в предшествующем предложении,

⁶ См., например, O. Curme, *A grammar of the English language*, 3, New York, 1931, стр. 347; R. Kingdon, *The groundwork of English intonation*, London, 1958, стр. 3.

⁷ Т. Н. Михельсон, Н. В. Успенская, *Сборник упражнений по основным разделам грамматики английского языка*, М., 1965, стр. 92; Е. С. Савинова, Г. М. Улицкая, А. И. Черная, *Грамматические трудности при переводе английской научной литературы*, М., 1963, стр. 75; см. также: В. Е. Шевякова, *Учет логических категорий при переводе с английского языка на русский*, сб. «Особенности языка научной литературы», М., 1965, стр. 80—83.

⁸ Е. С. Савинова, Г. М. Улицкая, А. И. Черная, указ. соч., стр. 36.

⁹ Техника перевода рассматриваемой конструкции состоит в том, что разрозненные части двучленного сказуемого [*hanging... was* — подвид (а), *divided... were* — подвид (b)] мысленно соединяются вместе путем помещения смысловой части в обычное для нее положение — непосредственно после вспомогательного глагола (*was hanging* и *were divided*), но при этом сказуемое, как и прежде, продолжает оставаться в положении перед подлежащим. В результате двойная инверсия заменяется простой инверсией по формуле (Ом + С + П): (а) *Over it was hanging a large framed photograph of a young man in R. A. F. uniform, with the air-crew slip in his cap*; (b) *In little green velvet compartments were divided all the things he had given her, even her watch* — и перевод начинается с оказавшегося на первом месте обстоятельства [ср. перевод подвидов (а) и (b) на стр. 91].

¹⁰ Там же, стр. 75. Следует также отметить, что ошибочное мнение относительно того, что всякая инверсионная структура направлена на выделение только вынесенных вперед членов предложения, весьма распространено в отечественной англистике. Ср., например: В. Л. Кушанская, Р. Л. Ковнер и др., *Грамматика английского языка*, Л., 1963, стр. 151.

в них содержится. Поэтому обстоятельство места и сказуемое (*Divided in little green velvet compartments were*) являются носителем данного, а новым — подлежащее, сообщающее о предметах, о том, что лежало в отделеньицах шкатулки (*all the things he had given her, even her watch*). Это сообщение отвечает на вопрос «Что лежало в зеленых бархатных отделеньицах?», а не «Где лежали вещи?».

Таким образом, в конструкции с двойной инверсией помещение подлежащего в конечное положение как раз и имеет целью сконцентрировать внимание адресата на мысли о лице или предмете, которая передается этим подлежащим. Если бы предложения данного лексического состава имели бы прямой порядок слов и подлежащее стояло бы в начале предложения, то из-за наличия развернутого постпозитивного определения, двучленного сказуемого и обстоятельства места или предложного дополнения внимание адресата переключилось бы с подлежащего на конечные члены предложения (сказуемое и, особенно, обстоятельство места) и тогда мысль о лице или предмете, обозначаемых подлежащим, выпала бы из его поля зрения.

Ср. те же предложения с прямым порядком слов: (a₁) *A large framed photograph of a young man in R. A. F. uniform, with the air-crew slip in his cap was hanging over it*; (b₁) *All the things he had given her, even her watch were divided in little green velvet compartments*.

При таком построении эти предложения были бы восприняты как сообщения о местах нахождения фотографии молодого человека, вещей Ирэн, а не о наличии самих предметов.

Выделенность подлежащего в рассматриваемой конструкции подчеркивается также постоянным наличием при нем развернутого определения, приложения, пояснительного перечисления или сопутствующих обстоятельств. Все это создает не только смысловой, но и чисто количественный структурный перевес группы подлежащего над другими членами предложения. Ср. в этом плане еще несколько предложений: «*Massed on the steps of the stage and on its edge are the public: also common workers, common peasants and common sailors*» (John Reed, Ten days that shook the world); «*Assembled in Winifred's corner were Imogen, Benedict with his young wife, Val Dartie without Holly, Maud and her husband...*» (J. Galworthy, To let).

Наглядным и веским доказательством правильности проведенного анализа актуального членения предложения с двойной инверсией, направленного на выделение подлежащего, является типическое использование этой конструкции в качестве подписи под фотографией в газете с целью указать, кто на ней изображен. Например: «*Seated from left to right are: Fatima Ahmet (Somalia), Beatrice N. Njie (Cameroon), and Dixon R. Julyet (Gambia)*» («Morning star»).

Выделенность подлежащего в конструкции с двойной инверсией данного типа подтверждается и содержанием последующего предложения, которое, как правило, дополняет характеристику лица или предмета, выраженного этим подлежащим. Рассмотрим, к примеру, подвид (а) в контексте: «*(I lit a cigarette and walked over to the mantelpiece). Hanging over it was a large framed photograph of a young man in R. A. F. uniform, with the air-crew slip in his cap. He had dark thick hair, a full mouth held very firmly, and heavy eyebrows. He was smiling with his eyes.*».

Из примера видно, что подлежащее следующего за инверсией предложения (He) обозначает тот же предмет или лицо, что и подлежащее в предложении с инверсией; но в последующем предложении

оно уже является носителем не нового, а данного, о котором в свою очередь сообщается нечто новое.

В известной степени выделенность подлежащего — носителя нового в конструкции с двойной инверсией подтверждается и распределением артиклей: преобладание неопределенного или нулевого артикля при подлежащем и определенного артикля при обстоятельстве места (или предложном дополнении). И хотя тип артикля отнюдь не является во всех случаях безусловным показателем данного и нового, однако в предложениях с так называемым экзистенциалистским значением, в которых сообщается о наличии чего-то или кого-то или о совершении чего-то в определенном месте (в предложениях с вводным *there* и с опущенным *there* и в конструкции с двойной инверсией рассматриваемого типа) эта тенденция в распределении артиклей выражена довольно сильно.

И, наконец, важным критерием в определении члена предложения — носителя нового является, как известно, интонационно-просодическое средство — логическое ударение, которое, как показывают данные экспериментально-фонетического исследования, в рассматриваемой конструкции падает не на обстоятельство места и не на сказуемое, а на собственно подлежащее или на последний значимый элемент группы подлежащего¹¹.

Итак, в предложениях с двойной инверсией рассмотренного типа выделяется не второстепенный член предложения (данное), оказавшийся в начальном положении, а помещенное в конец предложения подлежащее (новое).

Что касается выносимого вперед сказуемого, то его принадлежность к данному подтверждается либо содержанием предшествующего предложения, либо микроконтекстом самого предложения с двойной инверсией. Например, принадлежность группы сказуемого к данному в предложении «*Also enjoying great popularity are the first-class Latvian-made radio-sets such as „Riga-10“, „Mir“ and „Festiva!“, which were exhibited in the Leipzig Fair*» («Morning star») вытекает из содержания предыдущего предложения «*Radio-sets exported from the Soviet Union are very popular here*»), в котором мысль о популярности имеется и является носителем нового. Поэтому в предложении с инверсией мысль о популярности становится данным, а новым — сообщение о радиоприемниках разных марок рижского производства.

В примере подвиды (а) мысль *was hanging* обусловлена как данное микроконтекстом самого предложения — значением обстоятельства *over it*, равным образом как мысль *were divided* в подвиде (б) фактически предусматривается как носитель данного семантикой предложного дополнения *into little green velvet compartments*. В обоих случаях слова *hanging* и *divided into* могли бы и не содержаться в предложении без ущерба для смысла. Например: (а₂) *Over it was a large framed photograph of a young man in R. A. F. uniform, with the air-crew slip in his cap*; (б₂) *In little green velvet compartments were all the things he had given her, even her watch*. В результате имеем предложения не с двойной, а с простой инверсией. В отношении же предложений с простой инверсией этого типа имеются свидетельства известных зарубежных англистов, подчеркивающих, что здесь выделяется не сказуемое и не обстоятельство, а подлежащее¹². Признается также, что конечное положение в предложении выделяет больше, чем начальное¹³. Так что,

¹¹ В. Е. Шевякова, указ. соч., стр. 87—92.

¹² G. O. Curme, *A grammar of the English language*, 3, New York, 1931, стр. 4. 347, 349; O. Espersen, *Essentials of English grammar*, London, 1943, стр. 99—100.

¹³ См.: H. Poutsma, *A grammar of late modern English*, pt. 1, First Half, Noordhoof, 1928; J. Nesfield, *Manual of English grammar and composition*, London, 1928, стр. 137.

даже если принять тезис Я. Фирбаса о существовании между данным и новым промежуточных переходных элементов ¹⁴ (а в рассматриваемой конструкции таким элементом могло бы быть *с к а з у е м о е*), то и в этом случае коммуникативным центром все равно остается вынесенное в конец предложения подлежащее.

Решая вопрос о принадлежности сказуемого к данному в пределах рассматриваемой конструкции, необходимо учитывать также, что логика предусматривает и неконтекстуальный субъект ¹⁵, т. е. субъект, не связанный с предыдущим контекстом, а принятый говорящим в качестве микротемы данного конкретного предложения, в качестве предмета мысли (речи), о котором он нечто утверждает или отрицает. Данное и новое понимаются фигурально, опосредованно, а не буквально (т. е. не как нечто обязательно известное адресату и как нечто совершенно не известное адресату). Как новое понимается новая *с в я з ь*, употребление пусть даже известного адресату понятия, но в новом качестве — в качестве предикативного признака ¹⁶.

В то же время в качестве данного не обязательно всегда выступает только то, что было упомянуто выше, что известно не только говорящему, но и слушающему. В качестве опорного пункта своего сообщения — данного — говорящий может взять по собственному усмотрению любую мысль, даже не упомянутую выше и не известную слушающему. Рассмотрим следующий пример на предложениях с простой инверсией: «(The carriages moved slowly ...). In the first went *Old Jolyon with Nicholas*; in the second *the twins, Swithin and James*» (J. Galsworthy, *The man of property*).

В приведенном тексте с простой инверсией (отличающейся от рассматриваемой структуры только одночленностью сказуемого — *went* вместо *were going*) автор дает от себя микротему сообщения: *in the first; in the second (went* понимается как данное из контекста — *The carriages moved*). И хотя по существу ясно, что *in the first* это *in the first carriage, in the second* это *in the second carriage*, однако сама по себе мысль *in the first; in the second* представлена в данном предложении впервые, она известна только говорящему (автору), но не адресату (читателю). И все же, несмотря на все, это не новое, а данное, предмет мысли (речи), ибо это не то, что утверждается, а то, относительно чего делается утверждение.

По-видимому, таким же неконтекстуальным субъектом — данным — является сказуемое в конструкции с двойной инверсией.

Доказательство принадлежности сказуемого в предложении с двойной инверсией рассматриваемого типа к данному было бы не полным, если не сослаться на вышеупомянутую подпись под фотографией в газете, где видно, что *сидят*, видно, *где* сидят, но не известно только, *кто* сидит.

Конструкцию с двойной инверсией двучленного сказуемого в форме *continuous* [подвид (а)] или страдательного залога [подвид (b)] — назовем ее условно тип I — следует отличать от конструкции с двойной инверсией составного именного сказуемого совершенно другого типа (тип II), в которой выделяется вынесенное вперед сказуемое (новое), а не оказавшееся в конце предложения подлежащее (данное). Ср., например, предложение «*Indulgent and severe was her look*» (J. Galsworthy, *The man of property*), в котором носителем н о в о г о является смысловая часть *с к а з у е м о г о (Indulgent and severe)*, а носителем д а н н о г о —

¹⁴ См.: Я. Фирбас, Функции вопроса в процессе коммуникации, ВЯ, 1972, 2, стр. 58.

¹⁵ О неконтекстуальном субъекте см.: J. F i r b a s, Non-thematic subjects in contemporary English, «Travaux linguistiques de Prague», 1966, 2, стр. 246; M. H a l l i d a y, Notes on transitivity and theme in English, II, «Journal of linguistics», 1967, 3.

¹⁶ См. также: Я. Фирбас, указ. соч., стр. 57, 58.

группа подлежащего (*her look*). Это подтверждается содержанием предшествующего предложения (*Aunt Ann turned her old eyes from one to the other*), где мысль о тете Энн (*Aunt Ann*) и ее взгляде (*turned her eyes*) уже упоминалась. Различие в актуальном членении структуры типа I [подвиды (a) и (b)] и структуры типа II (*Indulgent and severe ...*) подтверждается также анализом интонационно-просодических средств, который показал, что если в инверсии типа I интонационным центром является вынесенное в конец подлежащее [см. подвиды (a) и (b)], то в инверсии типа II им является вынесенное вперед сказуемое (здесь слово *severe*).

Помимо четкого различия в актуальном членении, синтаксической структуре и составе конструкции типа I [подвиды (a) и (b)] и конструкции типа II между ними имеется существенное различие также и в семантическом плане. По своей семантике конструкция с двойной инверсией типа I [подвиды (a) и (b)] сходна со значением оборота с вводным *there* и с простой инверсией типа *Inside was a microscope*. Ей присуще выраженное в большей или меньшей степени экзистенциалистское значение. Отсюда обязательное наличие обстоятельства места, подлежащего, обозначающего лицо или предмет, отсюда особый характер глаголов — либо непереходных в форме *continuous*, либо переходных в форме страдательного залога. Условно эти глаголы по значению можно расклассифицировать следующим образом:

1. Глаголы, обозначающие различные формы бытия, указывающие на положение тела (вещи) в пространстве: *lie, sit, stand, lounge, lean, stretch, spread, hang, extend, fit, face, stick, be suspended, be parked, be massed, be stuck, be tucked, be scattered, be pressed, be jammed, be imprinted, be thrust*.

2. Глаголы движения, возникновения, следования: *come, walk, move, arise, float, emerge, reach, fall*.

3. Глаголы участия, примыкания к чему-то, включения куда-то (непереходные или переходные в страдательном залоге): *participate, take part, belong, join, precede, follow, accompany, be included, be associated, be involved, be assembled, be enclosed, be attached, be pinned, be allied, be connected, be coupled, be separated, be cut off, be mounted on, be buried in, be hidden in, be reflected, be divided*.

Многие из перечисленных глаголов употребляются в конструкциях с вводным *there*, и, особенно, с опущенным *there*. Ср.: «Immediately below us stood, sat and lay the whole population of Phat Diem» (Gr. Greene, *The quiet American*). При наличии у глагола формы *continuous* (или страдательного залога) получается конструкция с двойной инверсией: Ср. «Standing, sitting and lying below us was the whole population of Phat Diem».

Сходство семантики конструкции с двойной инверсией типа I [подвиды (a) и (b)] с семантикой конструкции с вводным *there* и без вводного *there* подтверждается также параллелизмом их употребления. Например: «On his watch-chain were a gold pen-knife, silver cigarette-cutter, seven keys, and incidentally a good watch. Depending from the chain was a large yellowish elk's tooth — proclamation of his membership in the Benevolent and Protective Order of Elks» (Sinclair Lewis, *Babbit*). В обоих предложениях (в первом простая инверсия без *there*, во втором — двойная) носителем нового является группа подлежащего — сообщение о предметах, которые находились на особе мистера Бэббита.

Интересно, что вводное *there* встречается и в самой конструкции с двойной инверсией: «Tucked away behind the anthology there was a paper-backed book called *The Physiology of marriage*» (Gr. Greene, *The quiet American*).

Таким образом, по своей синтаксической структуре, семантике и актуальному членению конструкция с двойной инверсией двучленного сказуемого в форме *continuous* [подвид (a)] и страдательного залога [подвид

(b)] имеет много общего с конструкциями с вводным *there* и с опущенным *there*. Есть все основания считать, что дело идет о системе трех соотносительных категорий, о трех разновидностях одного и того же семантико-синтаксического и функционального типа инверсии, отличного от всех других инверсионных структур в английском языке (в том числе от структуры типа II).

Помимо смыслового выделения подлежащего, назначением двойной инверсии типы I [подвиды (a), (b)] является осуществление более тесной связи между предложениями. Выше было показано, что выделяемое с помощью такой конструкции подлежащее оказывается в непосредственном соседстве с подлежащим последующего предложения, обозначающим тот же предмет или лицо. Равным образом выносимое вперед обстоятельство места (или предложное дополнение) в свою очередь, позиционно приближается к аналогичному члену предшествующего предложения.

Дж. Кёрм, анализируя предложения с простой инверсией, типа *Inside was a microscope*, заметил, что в такой конструкции инверсия, помимо выделения подлежащего, служит еще и установлению более тесной связи данного предложения с предшествующим¹⁷.

Это положение полностью применимо и к конструкции с двойной инверсией, причем на основе проведенного анализа к положению Дж. Кёрма можно еще добавить, что инверсия помогает установить более тесную связь не только с предшествующим, но также и с последующим предложением. Более того, конструкция с двойной инверсией помогает установлению более тесной связи между подлежащим и сказуемым в пределах самого предложения.

Что касается степени эмоциональной насыщенности конструкции с двойной инверсией, то вряд ли эту конструкцию можно обязательно во всех случаях считать эмфатической — точно так же, как не считается эмфатической инверсия с вводным *there* или без него (это лишь позиционный способ выделения подлежащего — носителя нового). Указание на новое в предложении не может во всех случаях считаться эмфазой. Например, предложения *The microscope was in the case*, с одной стороны, и *There was a microscope in the case*, *In the case was a microscope* — с другой, различаются не степенью эмфатичности, а разной структурой актуального членения: в первом носителем нового является обстоятельство места *in the case*, во втором и третьем — подлежащее *a microscope*. Если тот или иной способ выделения нового обязательно считать эмфазой, то следовало бы признать эмфатическим не только оборот с вводным *there*, но и, например, предложный оборот с *by* (в нем. — с *von*, франц. — с *par*), который служит для выделения лица — производителя действия¹⁸ и является в предложении носителем нового. Ср. *Popov invented radio* (в зависимости от контекста — новое *invented radio* или *radio*) и *Radio was invented by Popov* (новое — *Popov*).

Используемое в устной речи интонационно-просодическое средство выделения нового — логическое ударение, тоже не является обязательно эмфатическим. Для того чтобы слово было воспринято как носитель нового, достаточно произнести его ударный слог с нисходящим мелодическим завершением.

Анализ немецких и французских оригинальных текстов показал, что значение, передаваемое в английском языке конструкцией с двойной инверсией рассматриваемого типа (тип I), выражается в этих языках, как и в русском языке, структурой с простой инверсией по формуле: обстоятельство

¹⁷ См.: G. O. C u r t i s e, указ. соч., стр. 347.

¹⁸ О значении предложного оборота с *by* см.: А. И. С м и р н и ц к и й, Синтаксис английского языка, М., 1957, стр. 213.

во места + сказуемое + подлежащее. Ср.: «Im Vorraum wartet *die Dame*» (Stefan Zweig, *Der Amokläufer*) «В передней ждет дама»; «Dans le fond de la pièce dormait *une femme*» (Philippe Hériat, *Famille Beussardel*) «В глубине комнаты спала женщина». В английском языке по этой же формуле построены предложения данного семантического типа при наличии одночленного сказуемого, например, *Inside was a microscope*. При наличии же двучленного сказуемого в форме continuous [подвид (a)] или страдательного залога [подвид (b)] в английском предложении имеет место двойная инверсия за счет постановки второго члена сказуемого (причастия I или II) в начальное положение.

Таким образом, материалы анализа английских, немецких, французских и русских предложений показывают, что постпозиционный способ выделения нового присущ не только языкам синтетическим, но и языкам с аналитическим строем. Но в последних этот способ выделения нового ограничивается предложениями с экзистенциалистским значением. Проведенное исследование не только восполняет пробел в грамматике английского языка, но и способствует более углубленному изучению сходства и различия языков синтетических и аналитических, а также обогащает арсенал известных синтаксических средств выражения актуального членения предложения.

В. Н. ХОХЛАЧЕВА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

(К выходу «Грамматики современного русского литературного языка» *)

«Грамматика современного русского литературного языка» вышла в свет в тот период, когда, с одной стороны, отсутствует единая грамматическая теория, «безотказно „работающая“ на полное и всестороннее описание грамматического строя живого языка» (стр. 5), с другой, — в области изучения русского (и родственных) языков накопилось значительное количество работ, посвященных общим вопросам теории и описанию отдельных сторон грамматического строя, отразивших «обилие разных систем и концепций» (стр. 3, 5). Этими обстоятельствами предопределяется двойная направленность воздействия «Грамматики» на отечественное языкознание.

Авторы «Грамматики» поставили своей задачей «дать посильные ответы на актуальные вопросы теории», «на спорные и нерешенные вопросы», ограничивая свою цель поисками «модели описания» и признавая, что в книге «отразились поиски решений, в какой-то степени — эксперимент» (стр. 3, 4). С этой точки зрения «Грамматика» воплощает и выражает одну из возможных грамматических концепций, одно из возможных решений актуальных вопросов теории и дает «материал для обсуждения многих принципиальных вопросов фонологии, морфологии, словообразования, синтаксиса»¹.

Однако общественное значение «Грамматики» выходит за рамки поставленных авторами задач. Едва ли можно сомневаться в том, что для самого широкого круга читателей — преподавателей вузов, аспирантов, студентов, начинающих исследователей — «Грамматика» представляет собой труд, обобщающий основные грамматические проблемы. Такому восприятию «Грамматики» в значительной степени способствует специфика изложения, отличающегося лаконизмом в толковании теоретических положений, насыщенного определениями и дефинициями. Не может не импонировать и прием описания грамматических явлений «с точки зрения лежащих в их основе абстрактных схем (образцов)» (стр. 3). Отсутствие полемики и «гипотетических решений», которых, естественно, и не должно быть в труде такого рода, увеличивает возможность известной канонизации изложенного. Эта сторона общественного воздействия «Грамматики», предлагающей исследователям надежный ориентир в виде содержательных рекомендаций и определений, требует особой тщательности и продуманности определений основных грамматических понятий и категорий.

Ниже мы остановимся на ряде определений в разделе «Словообразование. Основные понятия» (авторы — В. В. Лопатин и И. С. Улуханов), которые, с нашей точки зрения, нуждаются в отработке.

* «Грамматика современного русского литературного языка», М., изд-во «Наука», 1970 (далее ссылки на «Грамматику» даются в тексте).

¹ К. В. Горшкова, М. В. Панов, А. С. Попов, К проблемам грамматики современного русского литературного языка, ИАН ОЛЯ, 1972, 4, стр. 328.

1. Определение словообразовательной системы, данное в «Грамматике», недостаточно содержательно. Предложено такое определение: «Под словообразовательной системой понимается совокупность словообразовательных типов языка — продуктивных и непродуктивных — в их взаимодействии» (стр. 37). Совокупность можно считать системой тогда, когда элементы, ее составляющие, объединены некоторым — систематизирующим — признаком. Таким признаком в приведенном определении оказывается «взаимодействие словообразовательных типов». Но, во-первых, содержание самого этого взаимодействия каким-либо специальным определением не раскрывается, неясно, о каком типе или виде взаимодействия идет речь, во-вторых, в самом описании материала идея взаимодействия не реализуется. Изучение фактов словообразования, изложенных в «Грамматике», показывает, что между словообразовательными типами непосредственного взаимодействия нет. Описание словообразовательных типов и характеристики их функционирования как в пределах одной и той же, так и разных частей речи раскрывают их автономность относительно друг друга и не указывают на обуславливающие взаимосвязи или взаимодействия.

2. Предложенное в «Грамматике» решение тех проблем, которые включают определение словообразовательного значения и средств его выражения, в ряде случаев вызывает сомнение. Определение словообразовательного значения дано приемом противопоставлений: «Словообразовательное значение — это значение, присущее слову в целом (а не отдельной словоформе или несколькими словоформам) и формально выраженное внутрисловными средствами у части слов, относящихся к данной части речи. Оно занимает промежуточное положение между лексическим значением, которое свойственно отдельному слову или группе слов (но не имеет общего для этой группы внутрисловного формального выражения), и грамматическим категориальным значением, выраженным у всех слов данной части речи» (стр. 37). Для выявления содержания определяемого понятия необходимо уяснить смысл предложенных противопоставлений. В первой части формулировки — словообразовательное значение присуще «слову в целом (а не отдельной словоформе или несколькими словоформам)» — словообразовательное значение противопоставляется, по-видимому, словоизменительному. Последнее раскрывается в «Грамматике» в § 753 как значение грамматическое и определяется следующим образом: «Грамматическое значение слова — это такое абстрактное значение слова, которое, определяясь его принадлежностью к тому или иному классу, формируется на основе парадигматических отношений, т. е. в системе форм самого слова, и синтагматических связей, т. е. в словосочетании и предложении» (стр. 302). Таким образом, противопоставление, заключенное в определении словообразовательного значения, сводится к утверждению того, что словообразовательное значение не формируется на основе парадигматических отношений и синтагматических связей. В определении указан негативный признак и остается открытым вопрос — на основе каких же отношений формируется словообразовательное значение?

Во второй части формулировки — «формально выраженное внутрисловными средствами у части слов, относящихся к данной части речи» — содержится противопоставление а) лексическому значению, которое не имеет формального выражения внутрисловными средствами и б) грамматическому, которое выражено у всех слов данной части речи. Но поскольку в «Грамматике» лексическое значение содержательно не определяется, то противопоставление ему словообразовательного значения не раскрывает каких-либо содержательных признаков последнего.

В третьей части формулировки словообразовательное значение определяется как занимающее «промежуточное положение между лексическим

значением ... и грамматическим категориальным». Последняя часть определения, в цитате опущенная, строится на противопоставлениях того же плана и ничего существенного к раскрытию определяемого понятия не добавляет.

Недостаточность в определении словообразовательного значения заключается, на наш взгляд, в том, что противопоставления, в которых оно должно было бы раскрыться содержательно, этому не служат. Определение словообразовательного значения строится, во-первых, на противопоставлении понятию, в «Грамматике» не определяемому (лексическое значение), во-вторых, на противопоставлении, которое словообразовательное значение характеризует в негативных признаках (грамматическое значение) и, наконец, в-третьих, на противопоставлении по признакам, не имеющим собственного содержания, вторичным, отражающим какие-то внутренние отношения и взаимосвязи, которые остаются нераскрытыми. Ведь такие признаки, как свойственность значения слову в целом, а не отдельным его словоформам и выраженность или невыраженность этих значений внутрисловными средствами, лишь отражают некоторые сущностные различия явлений. Различия эти остаются нераскрытыми.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что понятие «промежуточное положение» словообразовательного значения не получает никаких объяснений с общетеоретических позиций: что такое «промежуточное положение» языковой структуры или языковой категории в языке как системе или системе систем?

Недостаточность в определении словообразовательного значения затрудняет его осмысление при чтении дальнейших определений: «Лишь те отрезки, которыми отличаются основы мотивированных слов от основ слов мотивирующих, являются морфами, имеющими словообразовательное значение» (стр. 38) и «Формальный показатель, общий для всех образований одного типа и, следовательно, являющийся носителем словообразовательного значения, называется формантом» (стр. 39). Итак, морфы и форманты — носители словообразовательного значения. Но в определении словообразовательного типа, характеризующегося «общностью ... в) семантического отношения мотивированного слова к мотивирующему (словообразовательное значение)» (стр. 39), встречаемся с новой трактовкой словообразовательного значения — это семантическое отношение мотивированного слова к мотивирующему (кстати, почему-то этот признак не вошел в определения словообразовательного значения, он-то как раз обладает собственным содержанием)². Эти определения противоречат друг другу.

Если словообразовательное значение трактовать как семантическое отношение мотивированного слова к мотивирующему, то морфы и форманты при этом могут быть трактованы только как сигналы этого отношения, как его передатчики. **Итак**, морфы и форманты — носители словообразовательного значения или передатчики семантического отношения мотивированного слова к мотивирующему? Для теории словообразования и разработки принципов словообразовательного анализа это вопрос далеко не праздный.

Если морфы и форманты считать носителями словообразовательного значения, то словообразовательный анализ предполагает деление мотивированного слова на мотивирующую основу и словообразующий морф или формант, которые и сообщают мотивированному слову словообразователь-

² К сожалению, авторы не определили содержание понятия «семантический», которым они широко пользуются, ср. «большая семантическая сложность», «формально-семантическая схема», «семантические отношения», «семантическая невозможность (присоединения)» и т. д.

ное значение. При этом приеме анализа по сути остается не у дел идея принадлежности мотивирующей единицы к части речи, хотя это условие входит в характеристику словообразовательного типа (стр. 39). Морф или формант, будучи носителями словообразовательного значения, присоединяясь к основе мотивирующего слова, сообщает мотивированному всю полноту словообразовательного значения. Что определяет и чему служит при этом характеристика мотивирующего слова как части речи?

Эта характеристика абсолютно значима, если словообразовательное значение определять как отношение мотивированного слова к мотивирующему, а словообразовательные морфемы (или средства, им идентичные — форманты, по терминологии «Грамматики») — как сигналы этих отношений. Словообразовательный анализ в этом случае имеет своей целью установить характер взаимодействия единиц — мотивированной и мотивирующей, с учетом всей полноты лингвистических характеристик этих единиц. Из этого взаимодействия выводится словообразовательное значение. Тожественные в категориальном и семантическом отношении взаимодействия передаются одним и тем же словообразовательным средством. На этом зиждется единство словообразовательного типа.

Двойственность решения проблемы словообразовательного значения и словообразовательного анализа восходит к противоречивым формулировкам, принятым в «Грамматике».

Неясности содержатся и в других положениях, опирающихся на определение словообразовательного значения. На стр. 40 сказано: «Семантическая регулярность типа определяется наличием у всех относящихся к нему слов общего словообразовательного значения... Несмотря на все многообразие лексических значений отдельных слов, входящих в словообразовательные типы, можно выделить повторяющиеся в ряде слов, наиболее распространенные значения, наслаивающиеся на общее значение типа. Их можно назвать частными словообразовательными значениями; они составляют более узкие единицы — семантические подтипы в рамках типа». Во-первых, непонятно, почему в понятие словообразовательного значения вклинилось «многообразие лексических значений отдельных слов» и в каком отношении оно находится к общему словообразовательному значению, во-вторых, «частное словообразовательное значение» не вытекает ни из ранее предложенного определения словообразовательного значения, ни из толкования словообразовательного типа. Если, по мнению авторов, формальными носителями словообразовательного значения являются морфы и форманты, то какими формальными средствами выражаются частные словообразовательные значения? Вызывает также сомнение идея наслаивания более частного значения на более общее, скорее — более общее содержит более частное, позволяя ему реализоваться в определенных условиях.

При определении такого способа образования слов, как словосложение и сложение в сочетании с суффиксацией, словообразовательное значение обретает новые характеристики: «Словообразовательным значением при чистом сложении является значение объединения», при втором способе — «в словообразовательном значении сочетаются объединительное значение, присущее сложению, и категориальное значение, присущее суффиксальным типам» (стр. 42). Если при этих способах словообразования словообразовательное значение получает какое-то обобщенное (или, напротив, более частное — это не ясно) наименование («объединения», «объединительное»), то почему при других способах словообразовательное значение такого наименования не имеет? Не говорит ли это обстоятельство о разных внутренних отношениях при суффиксации и словосложении, которое едва ли правомерно толковать в тех же понятиях мотивации. Указа-

ние авторов на нейтрализацию грамматических значений основ при слово-сложении (стр. 42) поддерживает эти сомнения. Неясно, что означает выражение «категориальное значение, присущее суффиксальным типам» (стр. 42): категориальное значение, как принято считать, присуще слову и каждому из слов.

3. Словообразовательные отношения, т. е. те отношения двух слов, которые возникают между ними на почве словопроизводства, авторы «Грамматики» определяют через отношения мотивации. Они пишут: «Слова делятся на мотивированные и немотивированные, или простые. Из двух соотносящихся друг с другом слов, имеющих общий корень, одно является более простым, первичным, а другое — более сложным, вторичным. Отношения между этими словами есть отношения мотивации...» (стр. 37). Далее перечисляются те признаки, по которым распознаются мотивированные слова (стр. 37—38): формальной сложности (признак 1 и 3б), большей семантической сложности (признак 2), категориальные при тождестве лексических значений (признак 3а). По этим признакам узнается мотивированное слово. Однако в определении словообразовательного типа отношения мотивированного слова к мотивирующему обозначены как семантические, т. е. соответствующие признаку 2. Другие признаки мотивированного слова в определение словообразовательного типа не вошли. То ли эти признаки не вскрывают отношений мотивации, то ли определение словообразовательного типа строится без учета этих отношений. Не объяснена также с точки зрения отношений мотивации возможность признать мотивирующим не одно слово при одном и том же мотивированном; например, существительное *западник*, по мнению авторов, мотивируется одновременно существительным *запад* и прилагательным *западный* (стр. 38—39). Это утверждение тем более непонятно, что принадлежность мотивирующего слова к части речи и семантическое отношение мотивированного слова к мотивирующему указаны в качестве характеристических признаков словообразовательного типа. Не означает ли это, что за существительным *запад* и прилагательным *западный* авторы признают семантическое и категориальное тождество? Этот же вопрос возникает при осмыслении признака 3а, различающего мотивированное и мотивирующее слова путем их категориальных сопоставлений «при тождестве лексических значений сопоставляемых слов» в парах «глагол — существительное, обозначающее действие по этому глаголу» (*косить — косьба, дуть — дутье* и др.), «прилагательное — существительное, обозначающее тот же признак, что и прилагательное» (*красный — краснота, синий — синь, широкий — ширь*) (стр. 38). *Косить* и *косьба* — лексически тождественны?

Признак различения слов мотивирующего и мотивированного на основе большей семантической сложности последнего по сравнению с первым (признак 2) демонстрируется на примерах *химия* — *химик* («тот, кто занимается химией») и *художник* — *художница* («женщина-художник») (стр. 38). Далеко не всегда так уж очевидно, что считать семантически более, а что семантически менее сложным при общей неопределенности понятия «семантический». Но совсем неразрешимые сомнения вызывает пара *химия* — *химик*, где слово *химик* трактуется как мотивированное в силу своей большей семантической сложности («тот кто занимается...»). При аналогичных сопоставлениях типа *биология* («наука») — *биолог* («тот, кто этой наукой занимается»), *геология* — *геолог* и т. д. направление мотивации единого толкования получить не может: по признаку «семантической сложности» направление мотивации развивается от *биология* (мотивирующее) к *биолог* (мотивированное), по признаку «большей формальной сложности» (признак 1) — от *биолог* к *биология* [«содержит в основе большее количество вычленяемых (помимо корня) звуковых отрезков»] (стр. 38).

Определение отношений мотивации и их трактовка в разных планах не дает возможности описать материал словообразования в функциональном аспекте, принятом в «Грамматике» наряду с аспектом формальным (стр. 3).

Применительно к словообразовательному материалу понимание функционального реализуется в характеристиках словообразовательных типов по продуктивности / непродуктивности. Но как ни понимать продуктивность (см. определение на стр. 40), нельзя не признать, что в явлениях продуктивности / непродуктивности находят отражение какие-то отношения, обуславливающие продуктивность одних и непродуктивность других словообразовательных типов. По-видимому, обусловленность продуктивности/непродуктивности следует искать в словообразовательных отношениях, которые в «Грамматике» обозначены как отношения мотивации. Но содержательное раскрытие этого понятия в «Грамматике» не указывает путей для объяснения различий в функционировании разных словообразовательных типов. Функциональный аспект в описании материала в разделе «Словообразование» оказался фактически опущенным. Описание же материала в аспекте только «формальных связей» значительно обедняет словообразовательную проблематику.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

К. И. ЛОГАЧЕВ

ПРОБЛЕМА НОВОГРЕЧЕСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В ПОСТАНОВКЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ НОВОГРЕЧЕСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Проблема новогреческого литературного языка встала перед греками после гибели Ново-Римской (Византийской) империи, когда эллинизм окончательно разделился на эллинизм поработенный и эллинизм диаспоры. Упадок национального греческого образования сделал невозможным столь же широкое, сколь и раньше, употребление нормы, служившей в Ново-Римской империи литературным языком. Начиная с XV в., многие, ссылаясь на это, доказывали необходимость перехода к новой литературной норме. Однако было немало и тех, кто видел залог выживания греческой нации в сохранении ею традиции употребления византийского письменного языка. Немало было и сторонников компромиссного решения этого вопроса.

Эти разнообразные тенденции в греческом языковом строительстве сохранились (хотя и во многом видоизмененными) до сих пор. Наличие их обусловило возникновение и сохранение до наших дней сложной языковой реальности в греческом обществе, характеризующейся употреблением целого ряда форм литературной речи. Сложность же этой реальности обусловила в свою очередь то, что с XV в. до наших дней среди греков не прекращается периодически обостряющаяся борьба по «языковому вопросу» — вопросу отношения к тем или иным формам письменной речи.

Период относительного затишья в этой борьбе наблюдался после воссоздания независимого греческого государства, когда большинство греков приняло программу, предусматривавшую внедрение в качестве единственной общегреческой языковой нормы так называемой «чистой» формы литературной речи (кафаревусы). Создатели этой формы в качестве главного критерия отбора ее элементов приняли встречаемость этих элементов в классической древнегреческой литературе, следовательно, от пишущих на кафаревусе требовалось глубокое знание классического древнегреческого языка.

Таким знанием многие, употреблявшие кафаревусу, не обладали. Это послужило причиной опубликования в 1882 г. К. Кондосом «Лингвисти-

ческих замечаний относительно нового греческого языка»¹, содержащих требование большего уподобления кафаревусы классическому древнегреческому языку.

Один из противников кафаревусы (число которых к этому времени возросло), Д. Вернардакис, выступил в 1883 г. с возражениями Кондосу и заявил о необходимости двигаться в обратном направлении, все увеличивая в кафаревусе долю элементов народной ненормированной формы речи и тем самым все приближая кафаревусу к этой форме речи, имея в виду полное слияние обеих в будущем².

Полемика Кондоса и Вернардакиса была лишь началом нового периода обострения греческой «языковой борьбы». Основным для этого периода стала полемика профессора (с 1883 г.) Афинского университета Г. Хадзидакиса (1848—1941) и профессора (с 1903 г.) Парижской школы восточных языков Я. Психариса (1854—1929) — двух первых профессиональных лингвистов, принявших участие в спорах по «языковому вопросу». Хадзидакис вступил в эти споры в 1883 г., опубликовав работу «Почему ново-греки не культивируют народный греческий язык»³, в которой призывал отказаться от стремления максимально приблизить кафаревусу к классическому древнегреческому языку и добиться ее стабилизации; Психарис вступил в споры по «языковому вопросу» в 1886 г., опубликовав «Опыт исторической грамматики новогреческого языка»⁴, в котором призвал немедленно отвергнуть кафаревусу и ввести в повсеместное употребление норму, основанную на форме ненормированной речи, типичной для сферы бытового общения неграмотных⁵.

Ни один из указанных призывов не был абсолютно новым и, следовательно, никого из названных ученых нельзя считать родоначальником принципиально нового литературного языка. Кондос требовал в сущности того же, чего требовали П. Русанос (ум. 1553), Е. Вулгарис (1716—1806), Н. Дукас (1760—1845). Вернардакис и Психарис выдвигали по существу одно и то же требование, аналогичное требованиям, выдвигавшимся Н. Софианосом (первая половина XVI в.), И. Мисиодаксом (род. при бл. 1730, ум. при бл. 1780), Д. Катардзисом (род. между 1720 и 1725, ум. 1807), А. Христопулосом (1772—1847), И. Виларасом (1771—1823), Д. Соломосом (1798—1857). Хадзидакис отстаивал «средний путь», намеченный А. Корасом (1748—1833). То принципиально новое, что появилось в период обострения борьбы по «языковому вопросу», начавшийся в 80-е годы XIX в., — это обоснования требований, выдвинутых Хадзидакисом и Психарисом. Ранее дискуссии по «языковому вопросу» носили чисто социологический характер. Хадзидакис и Психарис впервые стали для решения социальной проблемы нормы использовать лингвистические обоснования, т. е. выступили как социолингвисты и придали дискуссии по «языковому вопросу» социолингвистический характер.

Участие в этих дискуссиях в деятельности обоих ученых заняло главное место. Будучи подготовлены (Хадзидакис — в Германии, Психарис — во Франции и Германии) как историки греческого языка, они свои историко-лингвистические и диалектологические исследования обычно в

¹ К. Σ. Κόντος, Γλωσσικά παρατηρήσεις αναφερόμεναι εις την νέαν ελληνικήν γλώσσαν, Ἀθήναι, 1882.

² Ψευδαττικισμοῦ ἐλεγχος, Τριέστι, 1884.

³ Γ. Χατζιδάκις, Διατὶ δὲν καλλιεργοῦσιν οἱ νέοι «Ἕλληνες τὴν δημόδη ελληνικήν γλώσσαν», «Ἐστία», 15, Ἀθήναι, 1883, стр. 390—394.

⁴ J. P s i c h a r i, Essais de grammaire historique néo-grecque, 1, Paris, 1886.

⁵ Ср.: Ἀπαντα Μα νό λ η Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ῆ δ η, 5, Θεσσαλονίκη, 1963, стр. 279 и сл.

большей или меньшей степени увязывали с социолингвистической проблематикой.

Деятельность Хадзидакиса и Психариса в 80-е годы XIX в. знаменовала рождение национального новогреческого языкознания, в котором, благодаря этим ученым, социолингвистическая проблематика с самого начала заняла одно из важнейших мест.

Поскольку после Хадзидакиса и Психариса принципиально новых (по содержанию или обоснованию) предложений относительно выхода из сложившейся в Греции языковой ситуации не появилось, оба они до сих пор остались крупнейшими теоретиками двух противостоящих друг другу в «языковой борьбе» группировок.

Все это обуславливает значение концепций обоих ученых и в наши дни как для частной области — новогреческого языкознания, так и для области общезыковедческой — социолингвистики, и делает целесообразным знакомство советских языковедов с этими почти неизвестными для них концепциями.

Взгляды Хадзидакиса относительно языковой нормы в Новой Греции не были застывшими. Его работы отражают динамику его воззрений на протяжении долгого периода. Однако ядро его концепции, согласно которому в силу социальных причин норма должна опираться на письменную традицию, сохранялось всегда неизменным.

Хадзидакис, однако, подчеркивал необходимость умеренной зависимости нормы от классического древнегреческого языка и заявлял, что чрезмерное уподобление ее этому языку было бы «большим национальным несчастьем», так как привело бы к языковому расколу нации, признаки начала которого уже проявлялись в конце XIX в. в том, что народ усваивал из кафаревусы лишь слова, не овладевая ее грамматическими формами. Необходимость регулируемого развития нормы в будущем была для Хадзидакиса также совершенно очевидной. Все это он выразил в своем программном заявлении: «Кафаревусу я употребляю, когда преподаю и когда пишу, и хочу, чтобы она — упрощенная, как это необходимо, и дополненная — была основой языка будущего»⁶.

При этом Хадзидакис не требовал искоренения других форм греческой речи, а напротив, относился к ним с большим вниманием. Так, он одобрил употребление формы промежуточной между «упрощенной кафаревусой» и формой ненормированной речи, типичной для бытового общения неграмотных (народной или еще более простой кафаревусы). Он призвал обратить серьезное внимание на быстро распространявшийся с конца XIX в. городской говор, «который, двигаясь между кафаревусой и местными диалектами и отстоя на равных расстояниях от первой и вторых, употребляется во всех городах Греции и Турции образованными и необразованными» и может послужить основой нового койне в Греции. Он не закрывал для «народного языка» возможности возвышения в будущем на положение языка письменного, допуская, что когда «народный язык» станет всесторонне известен, «тогда сможет исчезнуть презрение в отношении его... и начнется понемногу более широкое его употребление в письменной речи, до тех пор, пока он не станет употребляться наравне с нынешней кафаревусой и наконец, возможно, и победит»⁷.

Понимая социальный характер вопроса о норме, сознавая зависимость его решения от отношения к нему греческого общества, отдавая себе отчет, что легкость теоретических выводов не означает легкости их практического

⁶ «Απαντα...», 4, 1963, стр. 170, 174, 481; 5, 1963, стр. 300.

⁷ Там же, 4, стр. 173—174, 451.

осуществления, Хадзидакис считал необходимым менять свою тактику в соответствии с изменением в Греции общественного мнения по поводу тех или иных форм речи⁸.

Причины неудач языкового строительства в Греции в XIX в. Хадзидакис видел не в том, что школа пыталась внедрить архаизирующую кафаревусу, а прежде всего в недостатках самой школы, которая не смогла помочь молодому поколению овладеть этой формой речи во всем ее объеме⁹.

Итак, концепция и программа Хадзидакиса основывались в значительной степени на социологическом анализе современной ему греческой действительности. Социологическая аргументация доньше осталась основной опорой сторонников созданного Хадзидакисом современного компромиссного направления в решении проблемы новогреческого литературного языка (допускающего в этот язык как древние, так и новые элементы). Направление это является умеренным языковым традиционализмом и представляет собой составную часть современного греческого традиционализма в целом.

Концепции Хадзидакиса присущи элементы диалектичности: в ней в целом верно отражена диалектика языковой реальности в Греции конца XIX — начала XX в., отражающая в свою очередь диалектику борьбы в греческом обществе между верностью национальным традициям и требованиями жизни.

Диалектичность концепции Хадзидакиса была совершенно чужда и сторонникам архаизирующей кафаревусы, и противникам каких-либо уступок традиции. Последние называли его позицию «двойной» и «противоречивой». Но все же именно один из его самых убежденных противников — ведущий с 30-х годов XX в. языковед-антитрадиционалист М. Триандафилидис — признал, что Хадзидакис является «единственным представителем круга архаистов, требующим вести кафаризм к языковой реальности»¹⁰.

Психарис в течение всей своей жизни ни в чем не изменил свои воззрения по проблеме языковой нормы в Новой Греции, сформулированные им в 1886 г. в «Опыте исторической грамматики новогреческого языка». Его последняя крупная работа — «Большая научная грамматика новогреческого языка», начавшая выходить в 1929 г.,¹¹ — в том, что касается вопроса о норме, ничем не отличается от «Опыта». До самой смерти Психарис считал непререкаемой истиной свою концепцию, основанную на неверной предпосылке об отсутствии в Новой Греции формы речи, заслуживающей названия литературного языка.

Первое положение его концепции заключалось в том, что при создании нормы необходимо опираться только на ненормированную форму речи, присущую сфере бытового общения неграмотных. Оно обуславливалось прежде всего младограмматическими взглядами Психариса на койне, согласно которым при образовании последнего недопустимо влияние литературной традиции («нормальные койне никто не создает, они создаются сами. Это живые языки, потому что они заимствуют то из одного, то из другого говора местности, иногда и из говора деревни»). Стоя на младограмматических позициях, Психарис отрицал далее какие-либо специфические особенности в истории греческого языка («греческий язык развивался подобно всем языкам мира»), а все особенности языковой истории

⁸ Там же, 4, стр. 480.

⁹ Там же, 5, стр. 297.

¹⁰ Там же, 4, стр. 480 и сл.; 5, стр. 286—294; М. А. Τριανταφυλλίδης, *Νεοελληνική γραμματική*, 1, Ἀθήνα, 1938, стр. 505.

¹¹ Πυχάρης, *Μεγάλη ρωμαϊκή ἐπιστημονική γραμματική*, 1, Ἀθήναι, 1929.

греческого общества считал результатом ненормальных препятствий на пути естественного развития этого языка, в частности, результатом деятельности тех, кто стремился якобы «препятствовать развитию современного литературного языка» (как-то писателей конца XVII—XIX в. вроде Дукаса и Кодрикаса с их основанными на «недоразумении» попытками возродить древний язык, Кораиса с его знаменовавшими «всего-навсего возврат назад, а не прогресс» попытками направить греческое языковое строительство по «среднему пути», Кондоса с его попытками архаизовать кафаревусу и т. д.). В результате деятельности подобных лиц (все они в равной мере были для Психариса принципиальными противниками, ибо для него был достаточен сам факт наличия у них проявления архаизма, на степень же этого проявления он внимания не обращал) в Греции и возникла диглоссия особого рода («между д и г л о с с и е й в других странах и греческой д и г л о с с и е й существует различие: ... там речь идет о нормальной д и г л о с с и и, являющейся результатом естественной эволюции, а совсем не о д и г л о с с и и искусственной и произвольной»). Этой «инородной д и г л о с с и и», от которой страдает Греция, по мнению Психариса, настало время положить конец. Сделать это можно, лишь признав «национальный язык» (т. е. народный язык) и ведя языковое строительство в Греции по примеру других стран («В Греции нужно сделать то же самое, что уже было сделано во Франции. Народный, т. е. современный язык, должен стать основой всякого стиля»). Избегать в норме «всякого оборота, всякого словоизменения, даже всякого синтаксиса, которые не свойственны разговорному или народному языку» необходимо потому, что подлинным фактом языка может считаться лишь то, чего «не ищут, то, что создается исключительно духом, то, что является результатом спонтанного создания языка народом». «Ученый» же «язык» — кафаревуса (хотя большинство считало, что «греческий язык не изменился за две тысячи лет») не может быть национальным языком — во-первых, потому, что «он является искусственным», во-вторых, потому, что «даже сами пуристы отказываются от него в разговоре и признают, что нигде на нем не говорят в чистом виде», в-третьих, потому, что «на его пути к успеху стоят психологические и физиологические препятствия столь же большие, какие мы имели бы во Франции, если бы пытались оживить французский язык песни о Роланде». «Заблуждением» является и вера многих в то, что можно «достичь стилистического единства и создания общего для всех греков литературного языка, пользуясь древним языком, более или менее смешанным с современными формами» (т. е. идя по пути компромиссов). «Один найдет, что *παις* является слишком древним и что *παιδιον* подходит лучше; второй, напротив, остановится на *χοράσιον* и охотно принесет в жертву конечное», но еще кто-нибудь будет протестовать и утверждать, что *χοράσιον* и *παις* являются более благородными и про из в о д я т л у ч ш е е в п е ч а т л е н и е в р е ч и: словом, каждый писатель будет ссылаться на вкус публики... И тут начинается путаница». «Когда один употребляет простое будущее время, а другой — будущее составное, когда один не останавливается перед употреблением инфинитива, а другой заменяет его аналитической конструкцией с *ναι* и субъюнктивом, когда один допускает употребление дательного падежа, а другой его отвергает, это создает ... морфологические различия, которые вырывают пропасти между языком одного автора и языком другого ... В морфологии современных диалектов, наиболее непохожих друг на друга, нет такого разрыва, который наблюдается между различными учеными языками». Итак, согласно Психарису, со всех точек зрения необходимо отвергнуть письменную традицию («литературный язык является наиболее сильным препятствием для свободного и спонтанного развития языка») и считать,

что греческий язык «находится ... в таком же положении, в каком находятся все литературные языки при своем возникновении»¹².

«Писать на народном языке» означало для Психариса использовать некую лингвистическую конструкцию, поскольку он не отрицал, что любая реальная живая народная речь (основа) нуждается в обработке, чтобы стать филологическим языком. Поэтому второе положение концепции Психариса касалось метода такой обработки. Этим методом были максимально большие упрощение и унификация на основании только лингвистических соображений. «Я выбираю, — писал Психарис, — для примера множественное число от *συγγραφέας*; *συγγραφείς* более не принадлежит к современной морфологии; с другой стороны, именительный падеж множественного числа *συγγραφέδες* мне неизвестен, и я сомневаюсь, чтобы он существовал. Тот, кто употребил бы его, должен был бы, очевидно, создать эту форму по модели и по аналогии с другими современными эквивалентными формами, например, *βασιλιάδες* ... Я признаю, что формы *συγγραφέας*, *συγγραφέδες*, *ὁ ὄφελος* меня не напугали бы. Я думаю, что можно рискнуть употребить даже именительные падежи вроде *ὁ πάθος*. Важно, чтобы эти формы были бы употреблены в первый раз, и мало-помалу дело пойдет»¹³. Человек, пожелавший бы создать, применяя метод Психариса, современный русский литературный язык, должен был бы, очевидно, требовать упразднения склонения *знамя — знамени* — ... (склонения древнего и, следовательно, «не принадлежащего к современной морфологии»), спряжения *бегу — бежишь — бежит* — ..., множественного числа *космонавты* и настаивать на внедрении унифицированных по «ведущим» образцам склонения *знамя — знами* — ..., спряжения *бегу — бежишь — бежит* — ..., множественного числа *космонавтá* и т. д. и т. п.

Психарис проявлял крайнюю нетерпимость ко всем другим существовавшим в его время формам литературной речи. «Ученый язык» он называл «путями», «антинациональным языком», «скверно прочтенным» или «исковерканным» древнегреческим языком, «убийцей народа», «иностранным языком», «варварским языком», языком, представляющим «серию грамматических какофоний», языком, у которого «отсутствуют правила и постоянно остается открытой дверь для произвола и индивидуальной фантазии», у которого отсутствует лексическое и грамматическое единообразие для передачи даже простейших понятий. «Мешавший язык» для него был «отступлением, а не прогрессом». Наконец писателях своего времени он говорил, что они «не знают, на каком языке они пишут»¹⁴.

Итак, концепция и программа Психариса были лишены какой-либо связи с социологическим анализом современной ему греческой действительности: он игнорировал значение национальных языковых традиций Греции и в решении социальной по основному характеру проблемы нормы опирался исключительно на младограмматическую теорию языкового развития, не понимая, что его лингвистические аргументы были чужды широким слоям общества.

¹² Ψυχάρης, Μεγάλη ... γραμματική, 1, стр. 89; J. Psychari, Essais... 1, стр. XVIII, XX—XXII, 185, 187—188, 254, 264, 267, 274, 277; J. Psychari, Quelques travaux de linguistique, de philologie et de littérature helléniques 1884—1928, 1, Paris, 1930, стр. 159, 439, 443, 1294.

¹³ Ψυχάρης, Μεγάλη ... γραμματική, 1, стр. 16, 98—99; J. Psychari, Essais... 1, стр. 282—284.

¹⁴ J. Psychari, Essais... 1, стр. XVIII—XX, 248, 268, 285—287; J. Psychari, Quelques travaux... 1, стр. 444, 1007, 1293; Ψυχάρης, Μεγάλη ... γραμματική, 1, стр. 15, 113.

Младограмматическая аргументация доныне осталась основной опорой сторонников созданного Психарисом направления в решении проблемы новогреческого литературного языка, стремящегося не допускать в этот язык древние элементы. Этот языковый антитрадиционализм в конце XIX — начале XX в. был составной частью греческого европеизма, но ныне стремится войти в рамки современного греческого традиционализма.

Отсутствие социологического компонента в социолингвистике Психариса привело к тому, что в большинстве своем созданную им норму не приняли противники кафаревусы. «Язык Психариса, — писал один из них, крупнейший греческий поэт нового времени К. Паламас (1859—1944), — ... обладает большим непреодолимым пороком ... Это — одностороннее языковое произведение, созданное с абсолютной верой в науку и при употреблении исключительно языковых законов. Но письменный язык ... — это нечто иное ... Народный язык, для того чтобы на нем сейчас писали так, как это подобает, нуждается в элементах, которые отыскиваются, сознательно или бессознательно, в здешней атмосфере повседневной жизни... Элементы эти отсутствуют у Психариса, который не живет среди нас ... Лингвист поглотил поэта. Народный язык развивают не догматизм и логика, ... а история и психология»¹⁵.

Психарис понимал, конечно, социальную значимость проблемы нормы («чем иным является вопрос о нашем письменном языке, если не вопросом, относящимся к области искусства?»), но, проявляя прямолинейный лингвистический фанатизм, утверждал, что «грамматика, упорядоченная грамматика нашего языка (т. е. созданная им самим лингвистическая конструкция. — К. Л.) — это ныне национальная необходимость», потому что «нация стоит на краю пропасти». Сознывая, что в Греции еще очень далеко от «общегреческого энтузиазма», о котором он мечтал, что кафаревуса «вошла, вьелась» в греков, он, однако, заявлял: «Это меня не касается и не беспокоит. Я думаю о р е б е н к е» — иными словами, сознавая, что языковое будущее Греции зависит от того, какой язык усвоят дети, не понимал, что последнее зависит от языковых склонностей взрослых. Из-за отсутствия внимания к социальной стороне «языковой борьбы» Психарис неверно осмыслил итоги языкового развития Греции в конце 20-х годов XX в. и перспективы этого развития, оценив ускоряющееся распространение «мешаного языка» как признак определенного успеха сторонников «народного языка» («борьба происходит ныне уже не между пуристами и вульгаристами, а между сторонниками мешаного и сторонниками чистого языка»), хотя этот факт означал поражение «народников» (они сами признают это в наши дни). Игнорируя психологию нации, он давал поражающие своей непрактичностью рецепты: так, указывая, что одной из причин «смешения» в языке является «поэтическая вольность», он призывал: «Пока что — долой поэзию». Триандафилидис был прав, когда написал в конце рассказа об одной из своих встреч с Психарисом: «Я ушел с впечатлением, что Психарис утратил чувство реальности»¹⁶.

Европейское новогреческое языкознание создавалось одновременно с национальным новогреческим языкознанием — в 80-е годы XIX в. Основателем первой в Европе, до сих пор наиболее сильной и авторитетной школы языковедов-новогрецистов — парижской (и тем самым основателем новогреческого языкознания в Европе) был не кто иной, как Психарис. Хотя европейское новогреческое языкознание нельзя считать социолинг-

¹⁵ «Νέα Ἑστία», 81, Ἀθήναι, 1967, стр. 302.

¹⁶ Ψυχάρης, Μεγάλη ... γραμματική, 1, стр. 6, 14, 17, 30, 45; J. Psychari, Quelques travaux..., 1, стр. 1332; Ἀπλῶτα..., 5, стр. 374.

вистикой по преимуществу, именно социолингвистическим взглядам Психариса оно обязано до сих пор и суженным пониманием своего объекта, и господствующей трактовкой истории языковой реальности в греческом обществе нового времени. Связь идей Психариса с идеями, возобладавшими в европейском новогреческом языкознании, ясно проявилась, в частности, в высказываниях европейских филологов начала XX в. по проблеме нормы в Греции.

В 1903 г. вышла работа К. Крумбахера «Проблема новогреческого письменного языка»¹⁷, в которой делался вывод о необходимости языковой реформы в Греции в духе требований Психариса. Крумбахер, правда, говорил, что «Психари ... впал в односторонность. Его методы приложимы для создания литературного языка среди народа некультурного, ... но не там, где, как в Греции, народ имеет большое литературное прошлое. Грамматический терроризм Психари только испугал публику». «Но все же, — утверждал он, — Психари ближе к истине, чем его противники. В основу реформы во всяком случае должен быть положен народный язык... Спасение не в *καθάρουσα* с уступками народному языку, а в народном языке, смягченном традицией»¹⁸. Неприятие большинством греческого общества «народного языка» в качестве языка литературного Крумбахер считал общенациональным заблуждением. В 1905 г. Хадзидакис выпустил работу «„Проблема новогреческого письменного языка“ К. Крумбахера и ответ ему»¹⁹, в которой заявил о необходимости считаться с общественным мнением в Греции. Хотя он сам в принципе не отвергал идею реформы, он считал ее в условиях начала XX в. невозможной.

Для европейских ученых, по словам Триандафилидиса, «эти две работы показали ... глубокую пропасть, которая разделяет ... две теории... Они показали, что слепая преданность прошлому ... и будущее нации ... не могут примириться». Почти все европейские филологи выступили против того, что казалось им «слепой преданностью прошлому», став тем самым вслед за Крумбахером на сторону Психариса. Так, К. Дитрих писал: «Мы видим, что речь идет о противоречиях между западноевропейской и восточной культурами; ... Если Хадзидакис считает, что письменный греческий язык находится в особых условиях, ... то он, как кажется, не понимает, что эти особые условия могут быть лишь симптомами общественного и национального загнивания». А. Тумб говорил, что духовный упадок и кафаревуса взаимосвязаны и определяют друг друга. К. Бругманн заявил, что для греческой нации важнейшим является вопрос о том, сможет ли она «разорвать традицию»²⁰.

Тут уместно напомнить, что европейские филологи в начале XIX в., руководствуясь подобно тогдашним политикам не анализом социальной действительности в Греции, а предвзятыми суждениями, сами толкали греков к архаизации в языковом строительстве. Таким образом, их коллеги начала XX в., яростно критиковавшие эту самую архаизацию, проявили странную забывчивость. Худшим, однако, было то, что они, как и их предшественники, по-прежнему игнорировали греческую социальную реальность. Пожалуй, лишь один европейский филолог начала XX в. —

¹⁷ К. K r u m b a c h e r, Das Problem der neugriechischen Schriftsprache, München, 1903.

¹⁸ Цит. по кн.: И. А н д р е е в, К вопросу о новогреческом литературном языке, [б. м.], 1904, стр. 19—20.

¹⁹ Γ. Χατζιδάκις, Τὸ πρόβλημα τῆς νεωτέρας γραφομένης Ἑλληνικῆς ὑπὸ Κ. Κρὺμβacher καὶ Ἀπαντήσις εἰς αὐτόν, Ἀθήναι, 1905.

²⁰ Цит. по кн.: ἙἈπαντα ..., 4, стр. 4—7.

А. Хайзенберг,— обладая более широким, чем его коллеги, кругозором, понял, как глубоко укоренился в Греции традиционализм и насколько нереальными являются призывы к грекам разорвать с традицией. Он был, пожалуй, единственным в Европе, кто, ясно понимая социальную сущность проблемы нормы в Греции, заявил о необоснованности как утверждений о «мертвости» «ученого языка», так и его противопоставления «народному языку». Как единственно верный в греческих условиях рассматривал Хайзенберг обоснованный впервые Кораисом компромиссный путь, а главной чертой языкового будущего Греции считал распространение с ростом просвещения письменного языка ²¹.

Позиция Хайзенберга осталась нехарактерной для европейского новогреческого языкознания. Дезориентированное до сих пор в силу опоры на младограмматические принципы, оно создает неверное представление о языковой реальности в Греции, вульгаризаторски трактуя греческую «языковую борьбу» как борьбу реакционеров-традиционалистов против прогрессивных «народников».

²¹ А. Heisenberg, *Dialekte und Umgangssprache im Neugriechischen*, München, 1918, стр. 18, 26; А. Heisenberg, *Die jüngste Entwicklung der Sprachfrage in Griechenland*, Berlin, 1911, стлб. 18.

А. П. СКОВОРОДНИКОВ

О КРИТЕРИИ ЭЛЛИПТИЧНОСТИ В РУССКОМ СИНТАКСИСЕ

(По материалам современной советской лингвистической литературы)

1. В дискуссии на Симпозиуме по теории грамматики современного русского литературного языка (Институт русского языка АН СССР, 27—29 октября 1971 г.) было высказано достаточно широко распространенное мнение о плодотворности понятия эллипсиса в синтаксисе¹. Однако в современном отечественном языкознании такие соотносительные термины, как «эллиптическое предложение» и «неполное предложение», широко используемые в научных исследованиях и в практике вузовского и школьного преподавания, лишены однозначности².

Многозначность термина отражает кризис теории эллипсиса, что, в частности, выражается в отсутствии единой точки зрения на критерий эллиптичности (неполноты) предложения. Такой критерий видят: 1) в смысловой стороне предложения (выполнение им коммуникативной функции в конкретных речевых условиях)³; 2) в формальной стороне предложения (нарушение грамматической связи между членами предложения)⁴; 3) в обеих указанных сторонах, взятых вместе⁵; 4) в возможности передачи одной и той же информации более экономным способом (любая компрессия текста)⁶; 5) в нестабилизированности (нетипизированном характере) формально неполносоставной конструкции⁷.

¹ Эта мысль прозвучала в выступлениях Л. С. Бархударова, В. А. Ицковича, Е. Н. Ширяева.

² Ср. разное содержание этих терминов, например, в таких работах: И. А. Попова, *Неполные предложения в современном русском языке*, «Труды Ин-та языкознания АН СССР», II, 1953, стр. 55—63; «Грамматика русского языка», II, ч. 2, М., 1954, стр. 89—90; А. Шумилина, *Некоторые виды эллипсиса в русском стандартизованном языке*, в кн.: «Доклады на конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста», 6, М., 1961, стр. 7; Н. Н. Леонтьева, *Анализ и синтез русских эллиптических предложений*, НТИ, 1965, 11, стр. 41; Е. А. Земская, *Русская разговорная речь* (Прспект), М., 1968, стр. 46—50.

³ И. А. Попова, *указ. соч.*, стр. 132—135; В. В. Виноградов, *Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения*, ВЯ, 1954, 1, стр. 29.

⁴ А. С. Попов, *К вопросу о неполных предложениях в современном русском языке*, ФН, 1959, 3, стр. 28; З. К. Тарланов, *К вопросу о неполных предложениях в русском языке*, в кн.: «12-я научно-методическая конференция Северо-Западного зонального объединения кафедр русского языка», Л., 1970, стр. 183.

⁵ А. Н. Назаров, *Неполные предложения и их границы*, «Уч. зап. Пензенск. гос. пед. ин-та», 1, 1954, стр. 9; Т. И. Антонова, *Неполные предложения в современном русском языке* (письменная речь). Автореф. канд. диссерт., Магнитогорск, 1959, стр. 5.

⁶ А. С. Богуславский, *О коммуникативных типах предложений*, ФН, 1964, 4, стр. 146. Ср.: Л. А. Булаховский, *Курс русского литературного языка*, I, 5-е изд., Киев, 1952, стр. 404—405.

⁷ К. П. Кукушкина, *Структурные особенности составных частей сложноподчиненного предложения в современном русском литературном языке* (сложноподчиненные предложения с неполными придаточными в их сопоставлении с полными). Автореф. канд. диссерт., Л., 1967, стр. 5—6. Ср.: И. П. Чиркина, *Проблема неполноты предложения и ее изучение в вузе*, в кн.: «Вопросы синтаксиса русского языка», Калуга, 1969, стр. 17—20.

По этому поводу представляется необходимым сделать следующие замечания.

2. Смысловой критерий эллиптичности неприемлем потому, что, по сути дела, объявляет любое предложение полным, поскольку оно в конкретных условиях его реализации выполняет свою коммуникативную функцию. Тем самым снимается сама проблема эллипсиса, остается необъясненным наличие в языке и параллельное функционирование в речи соотносительных более развернутых и менее развернутых синтаксических построений и специфика последних⁸.

Смысловой критерий, понятий «наоборот», как любое «уплотнение информации», как «обобщенное понятие сокращения» текста, ведет к другой крайности — к неоправданно широкому пониманию эллипсиса на семантической основе, к игнорированию структурных особенностей (как синтагматических, так и парадигматических) сопоставляемых конструкций. Так, например, для А. С. Богуславского неполными являются предложения *Кто пришел?* (по сравнению с *Скажи, кто пришел?*), *Трое опоздали* (по сравнению с *Три работника опоздали*), причем, с точки зрения прокламируемого им семантического описания, морфологические особенности конструкций «не могут иметь решающего значения»⁹.

Не может быть положен в основу определения эллиптических конструкций и критерий «подразумеваемости». И не потому, что он ненаучен¹⁰, а потому, что вопрос о подразумеваемости элиминированных элементов высказывания — это вопрос психологии речи, а не лингвистики.

Критерий нестабилизированности (нетипизированности) формально неполносоставной конструкции тоже должен быть отвергнут как несинтаксический, поскольку вопрос о стабилизированности или нестабилизированности предложения — это вопрос не о его составе, а о его большей или меньшей обусловленности языковыми или речевыми факторами. Рассмотрение эллиптических предложений в плане соотношения языка и речи убеждает в справедливости мысли В. А. Звегинцева о том, что «проводя разграничение между языком и речью, не следует придавать им абсолютного характера»¹¹. Заслуживают внимания мысли ряда исследователей о принадлежности некоторых неполных предложений к «моделям второго порядка»¹². Определение неполноты предложения как обязательно нестабилизированного отсутствия структурно необходимых элементов исходного типа предложения вступает в противоречие с понятием «типа неполных предложений», поскольку определение неполноты предложе-

⁸ В этом смысле характерным является, например, такое рассуждение: «Все предложения русского языка в конкретных условиях своего употребления полностью выражают заключенный в них смысл, то есть являются полными. Вследствие этого нужно отказаться от деления предложений на полные и неполные и от самого термина „неполные предложения“» (П. А. Лекант, «Неполные предложения» в курсе современного русского языка, «Уч. зап. Красноярск. гос. пед. ин-та», 16, 1959, стр. 193).

⁹ А. С. Богуславский, указ. соч., стр. 149.

¹⁰ Психолингвистическое обоснование понятия подразумеваемости как критерия выделения неполных предложений содержится, например, в статье А. Н. Назарова «К вопросу о выделении неполных предложений в особый грамматический тип» (в кн.: «Вопросы синтаксиса и стилистики русского литературного языка», Куйбышев, 1963).

¹¹ В. А. Звегинцев, Теоретическая и прикладная лингвистика, М., 1968, стр. 99.

¹² Е. Н. Ширяев, Нулевые глаголы как члены парадигматических и синтагматических отношений (на материале современного русского языка). Канд. диссерт., М., 1967, стр. 213—214; Б. И. Фоминых, Простое предложение с нулевыми формами глаголов в современном русском языке и его сопоставление с чешскими конструкциями. Канд. диссерт., М., 1968, стр. 29.

ния ориентировано только на речевой план, а понятие типа предложения — на языковой.

Чтобы избежать этого противоречия, по-видимому, следует учитывать разные ступени «размещения» рассматриваемого явления на оси «язык — речь». С этой точки зрения эллиптические предложения представляют собой либо неполные реализации моделей первого порядка (языку здесь принадлежат правила реализации), либо полные реализации моделей второго порядка (языку здесь принадлежит сама модель).

3. Решение проблемы эллипсиса часто ставят в зависимость от решения проблемы предложения как основной единицы синтаксиса, объясняя противоречивость разных подходов к определению эллипсиса отсутствием единого мнения о сущности предложения вообще¹³. Думается, что понятие эллипсиса целесообразно связывать не с понятием предложения как предикативной единицы, а с более широким понятием синтаксической конструкции, имея в виду как простые и сложные предложения, а также сложные синтаксические единства, так и их части, в том числе — полупредикативные и непредикативные словосочетания.

Нельзя не согласиться с мыслью Н. Ю. Шведовой о том, что «в сложном предложении, так же, как в диалогическом сцеплении реплик, действуют свои правила не только соединения частей, но и самой организации этих частей, их внутреннего строения» и что «квалификация... формантов сложного построения как неполных (эллиптированных) простых предложений неправомерна»¹⁴. Однако отсюда не следует, что к конструкциям, представляющим собой части сложного синтаксического построения, не может быть применено понятие эллипсиса. В этом случае говорить об эллипсисе можно тогда, когда незамещенность синтаксической позиции не стала обязательной конструктивной чертой сложного построения, когда в сложном предложении или сложном синтаксическом целом определенного типа возможно (в пределах языковой нормы) варьирование конструкции с замещенной синтаксической позицией и конструкции с незамещенной синтаксической позицией в зависимости от различных коммуникативных и стилистических условий.

Необходимо, далее, учитывать, что эллипсис может не затрагивать предикативного ядра простого предложения, как, например, в следующих высказываниях: «С запада, из другого плена, тащились толпы измученных русских солдат, с глазами на восток, на свою родину, домой» (К. Федин, *Города и годы*); «Есть мнение — под трибунал. Есть мнение — понять и простить» (К. Симонов, *Солдатами не рождаются*) и т. п. С другой стороны, в сфере заголовков функционируют синтаксические образования, соотносительные с тем или иным второстепенным членом полного предложения озаглавливаемого текста, существующие как бы в контексте синтаксических связей, воспроизведенных в данном тексте, но сами по себе не обладающие признаками предложения, так как их предикативное ядро элиминировано. Например: «На заседания органов Межпарламентского союза» (Ив. 11 IV 71), ср. в тексте: «Из Москвы в столицу Венесуэлы — Каракас на заседания органов Межпарламентского союза 10 апреля отбыла делегация Парламентской группы СССР ...» (начало сообщения); «От сердца народного» (Пр. 18 IV 71), ср. в тексте: «... Делегаты съезда ответили бурными, продолжительными аплодисментами. Эти слова шли от сердца народного ...» (конец корреспонденции).

Все это свидетельствует в пользу того, что общее определение эллип-

¹³ См. об этом: Б. М. Г а с п а р о в, Некоторые теоретические основы изучения неполных предложений, «Уч. зап. Бельцк. гос. пед. ин-та», 8, Кишинев, 1967, стр. 14.

¹⁴ «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 575.

сиса должно строиться по отношению к понятию синтаксической конструкции, а не предложения¹⁵.

4. Под восполнением эллипсиса обычно понимают либо воспроизведение недостающих слов во внешнем (окружающем) контексте, либо наличие элементов ситуации, вызывающих нужные для понимания эллиптического предложения речевые ассоциации. За пределы неполных выводятся те предложения, в которых смысловая завершенность обеспечивается внутренним контекстом самой конструкции (в том случае, если эллипсис затрагивает устойчивые или фразеологические связи). Например: «Ты ей про отдельные случаи частичного хамства — она тебе, обязательно, про всю прекрасную природу в целом» (Лит. газ. 24 VIII 68); «Подумал я про него: светлая голова, и скорей глаза в сторону» (Лит. газ. 11 VIII 68) и т. п. Такие предложения признаются полными на том основании, что они строятся по определенным моделям, не нуждаются в поддержке внешнего контекста и не допускают восполнения, которое отождествляется с вставкой, добавлением к конструкции каких-либо форм¹⁶. По этим же причинам предложения данного типа иногда рассматриваются как содержащие нулевое сказуемое¹⁷.

Разумеется, восполнение, понимаемое как вставка, «восстановление» какого-либо элемента, изменит структуру любого, а не только типизированного эллиптического предложения, не говоря уже о том, что такая механическая манипуляция легко может оказаться неприемлемой с точки зрения стилистической. Вместо «восстановления», «подраствования» и т. п. точнее было бы говорить о смысловой и структурной соотносительности более развернутых и менее развернутых конструкций, не предполагающей их полного тождества. Внешний (окружающий) контекст эллиптической конструкции позволяет установить ее соотносительность с параллельной полной прежде всего на уровне речи (текста); внутренний контекст, т. е. микроконтекст самой эллиптической конструкции, — соотносительность на уровне языка (системы)¹⁸. Характер этой соотносительности неодинаков у разных групп неполных предложений.

В предложениях контекстуального типа эта соотносительность с полной конструкцией однозначна. Например: «Дама-патронесса отказалась написать жалобу на почтальона Веру. „Жалко, молодая девочка!“ *Я решил написать сам. Под горячую руку не написал*» (Пр. 3 II 72). Так называемые эллиптические предложения (в узком смысле)¹⁹ соотносятся с рядом более или менее синонимичных полных предложений. Например: «Ты мне на пол-литра, я тебе на ползакрутки кран подвинчу» (Пр. 3 II 72). Ср.: — *Ты мне на пол-литра дай (суди, одолжи, поднеси и т. п.), я тебе на ползакрутки кран подвинчу*. Для так называемых ситуативных неполных пред-

¹⁵ В этом смысле показательно, что в «Грамматике современного русского литературного языка» конструкции, относимые нами к эллиптическим, рассматриваются в разных разделах. См., например, § 1311 («Конституативно не обусловленные бесказуемые реализации двусоставных схем»); § 1352 («Высказывания, не функционирующие в независимой позиции»); §§ 1419, 1420 («Неполнота словосочетаний»).

¹⁶ См.: И. А. Попова, указ. соч., стр. 20; И. П. Чиркина, указ. соч., стр. 25, и др.

¹⁷ Е. М. Галкина-Федорук, О нулевых формах в синтаксисе, РЯШ, 1962, 2, стр. 10; Г. А. Хабургаев, Предложения с нулевым глагольным сказуемым в современном русском языке, «Изв. Воронежск. гос. пед. ин-та», 42, 1962, стр. 49, и др.

¹⁸ Е. Н. Ширяев, Незамещенные синтаксические позиции в аспекте синтагматических и парадигматических отношений, в кн.: «Синтагматика, парадигматика и их взаимоотношения на уровне синтаксиса (Материалы научной конференции)», Рига, 1970, стр. 174—175.

¹⁹ Название явно неудачно, так как противоречит более широкому значению термина «эллипсис», равнозначному понятию неполноты.

ложений специфичным является часто возникающая возможность установления соотносительности с целой серией полных предложений, равно возможных в условиях данной ситуации для выражения того или иного «кусочка действительности». Например: «В это время раздался громкий стук в дверь. — Должно быть плотник» (Тендряков, За бегущим днем). Ср.: *Должно быть, плотник пришел и Это, должно быть, плотник*²⁰.

Среди синтаксистов все более утверждается взгляд на эллипсис не как на «опущение», «нарушение», «пропуск», а как на оппозицию «развернутая структура»/«неразвернутая структура», т. е. как на одно из частных (хотя и существенных) проявлений системной организации языка²¹.

Мы полагаем, что соотносительность эллиптических и полных конструкций — это разновидность парадигматических отношений типа «семантико-функциональных подобий» (синонимии) в отличие от парадигматических отношений типа «семантико-функциональных противопоставлений» (оппозиций)²², которые служат базой нулевых синтаксических форм. С этой точки зрения понятие эллипсиса покрывает собой то, что вслед за Ш. Балли Р. Якобсон назвал «нулевым анафорическим или дейктическим знаком» и «подразумеваемым знаком»²³, и противопоставляется нулевому знаку, имеющему грамматическое значение.

Встречающееся в литературе отождествление понятий эллипсиса и синтаксического нуля²⁴, а также расширительное понимание синтаксического нуля²⁵ нецелесообразно, так как затушевывает принципиальное различие двух разных рядов явлений в языке: явлений эллипсиса и явлений нулизации. Язык — сложная, многоплановая система. Он может рассматриваться, в частности, как система лексических и грамматических значений и средств их выражения (лексика и грамматика) и как система экспрессивных значений и средств их выражения (стилистика). Нулизация и эллипсис относятся к этим разным планам языка: нуль — к первой системе, эллипсис — ко второй. Соответственно, синтаксический нуль — категория, возникающая при противопоставлении конструкций во взаимоисключающих позициях; эллипсис — категория, возникающая при противопоставлении конструкций во взаимозаменяемых позициях. Интерпретировать эллипсис через нулизацию — значит смешивать разные планы языковой системы.

Отсюда следует, что термины «синтаксический нуль», «эллипсис», «незамещенная синтаксическая позиция» неправомерно употреблять как синонимичные или однородные. Термин «незамещенная синтаксическая позиция» является наиболее широким по смыслу, он относится к терминам «синтаксический нуль» и «эллипсис» как родовое понятие к видовым, в нем не отражен характер противопоставленности развернутой и неразвернутой конструкций. Иначе говоря, его целесообразно использовать тогда,

²⁰ А. А. Ч у в а к и н, Структурно-синтаксические разновидности ситуативных неполных предложений в современном русском языке. Автореф. канд. диссерт., Ростов-на-Дону, 1971, стр. 15. Отсюда такая особенность этих предложений, как неопределенность (неоднозначность) их грамматической членности (см.: Ю. М. С к р е б н е в, Синтаксис разговорной речи и проблема синтаксической теории, «Уч. зап. Горьковск. гос. пед. ин-та иностр. языков им. Н. А. Добролюбова», 1968, стр. 138—139).

²¹ Показательны в этом отношении, например, работы Б. М. Гаспарова (см. выше) и Г. Г. Инфантовой («О подходе к изучению явлений экономии в синтаксисе разговорной речи», в кн.: «12-я научно-методическая конференция Северо-Западного зонального объединения кафедр русского языка»).

²² О двух указанных типах парадигматических отношений в языке см.: В. Г. А д м о н и, Основы теории грамматики, М.—Л., 1964, стр. 12—19.

²³ R. J a k o b s o n, Signe zéro, «Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally», Genève, 1939, стр. 149—150.

²⁴ См., например: «Книга о русском языке», М., 1969, стр. 139—141.

²⁵ См., например: Е. М. Г а л к и н а - Ф е д о р у к, указ. соч., стр. 10.

когда нужно указать лишь на сам факт отсутствия у предложения материального выражения синтаксической позиции по сравнению с другим предложением. Когда же необходимо обозначить языковое качество (характер) незамещенной синтаксической позиции, зависящее от типа парадигматических отношений между развернутой и неразвернутой структурами, следует использовать термины «эллипсис» и «синтаксический нуль».

5. Мысль о том, что для констатации эллипсиса необходимо наличие фона из структурно более развернутых конструкций, высказывалась многими лингвистами²⁶. Однако нестрогость применения этого критерия дает повод для обвинений в насилии над языком, в необоснованном «подразумевании якобы опущенного» члена и т. п., вызывает у некоторой части лингвистов скептическое отношение к понятию эллипсиса.

Поэтому необходимо наметить такие объективные признаки соотносительности эллиптических и полных конструкций, которые в совокупности исключали бы возможность произвольных сближений и «подразумеваний». Такими признаками, по нашему мнению, являются следующие:

1) Тождество грамматического значения конструкций при возможных стилистических различиях.

2) Совпадение всех элементов структуры обеих конструкций за исключением того (тех), который элиминирован, т. е. «замещен» элементами внутреннего или внешнего контекста, а также ситуацией.

3) Способность обеих конструкций к объединению в составе сложного предложения или сложного синтаксического целого на основе синтаксического параллелизма, а также способность вступать в одинаковые синтаксические отношения с конструкциями других типов.

4) Нормативность обеих синтаксических конструкций. Не может быть признана эллиптической конструкция, для которой соотносительный полный вариант подобран путем искусственного конструирования и не соответствует нормам живого речевого употребления²⁷.

6. При решении вопроса о соотносительности/несоотносительности конструкций развернутой и неразвернутой структуры нельзя отвлекаться от ответа на другой вопрос: о соотносительности / несоотносительности синтаксических конструкций разговорной речи и так называемого кодифицированного литературного языка.

Существует точка зрения, согласно которой разговорная речь и кодифицированный литературный язык противопоставлены как различные языковые системы, функционирующие в одном и том же коллективе и создающие особый вид двуязычия²⁸. Согласно этой точки зрения материально совпадающие единицы в текстах «разговорных» и текстах «неразговорных» рассматриваются как «омонимы»²⁹. С этим связывается возможность оценки предложения одного и того же «материального состава» то как полного, то как неполного, в зависимости от того, о какой языковой сфере — книжной или разговорной — идет речь, и относительной его частотности в той или иной сфере³⁰.

²⁶ См., например: И. Ф. В а р д у л ь, К вопросу о явлении эллипсиса, в кн.: «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения», М., 1969, стр. 64—65; Т. П. Л о м т е в, Основы синтаксиса современного русского языка, М., 1958, стр. 130—131.

²⁷ При этом при установлении соотносительности конструкций следует строго ограничивать синхронию и диахронию, поскольку «то, что в синхроническом плане представляется результатом эллипсиса, может при диахронических сопоставлениях оказаться мнимым эллипсисом» (Г. А. В е й х м а н, Признаки неполноты предложения в современном английском языке, ФН, 1962, 4, стр. 95).

²⁸ Е. А. З е м с к а я, Русская разговорная речь (Проспект), М., 1968, стр. 8—10.

²⁹ См., например: «Русский язык и советское общество. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры», М., 1968, стр. 109.

³⁰ «Русский язык и советское общество. Проспект», Алма-Ата, 1962, стр. 77.

Нам кажется более приемлемой точка зрения, согласно которой «различные функциональные формы и виды речи слишком тесно связаны между собой, чтобы можно было разрывать их грамматические системы»³¹, когда разговорная речь и кодифицированный литературный язык рассматриваются как подсистемы литературного языка, взятого как целое³².

Конечно, совершенно необходимо учитывать, что как книжно-письменной, так и устно-разговорной разновидностям русского литературного языка присущи некоторые специфические средства выражения, в том числе синтаксические конструкции. Однако несомненен и тот факт, что значительная часть языковых элементов, в частности синтаксических конструкций, относится к общему арсеналу языковых средств, к таким зонам указанных подсистем языка, которые при «наложении» должны совпасть. Кроме того, специфическая синтаксическая конструкция разговорной речи может не быть противопоставлена синтаксическим конструкциям книжного литературного языка как особый инвариант, а входить в вариативный ряд или ряды³³. Поэтому, устанавливая соотносительность синтаксических конструкций более и менее развернутой структуры, следует учитывать, относятся ли они к сопоставимым областям устно-разговорной и книжно-письменной разновидностей литературного языка или лежат за их пределами.

7. Следует уточнить и вопрос о формальном показателе эллипсиса, принадлежащем самой эллиптической конструкции. Им обыкновенно считается наличие подчиненных форм при отсутствии подчиняющих³⁴. Действительно, этот формальный признак эллипсиса наиболее частотен. Однако показателем эллипсиса может служить и наличие подчиняющей формы, обладающей обязательной сочетаемостью, при отсутствии подчиненной формы, обозначенной прямо или косвенно во внешнем контексте. Например: «А в том суть, что именно она подготовила кандидатскую диссертацию. За четыре года собрала весь материал. *А коллеги ее — не собрали. Могучие мужчины, которые по десять, по пятнадцать лет сидят там, не подготовили*» (Изв., 5 VIII 70); «Когда стан был уже собран, *приехала бригада из института доводить до кондиций. Настроивали, много времени у них ушло — наконец пустили*» (Изв. 6 VI 70).

Применение критерия обязательной сочетаемости логически вытекает из критерия соотносительности двух структур — развернутой и неразвернутой и является, собственно говоря, формально-структурной стороной этой соотносительности.

Учет обязательной сочетаемости «позволяет определить структурный минимум той или иной синтаксической конструкции»³⁵. Поэтому нарушение, точнее — нереализация такой сочетаемости в пределах синтаксической конструкции становится сигналом ее эллиптичности.

Сигналом эллиптичности может быть как нереализованная обязательная грамматическая сочетаемость, так и нереализованная обязательная лексическая сочетаемость, тесно взаимодействующие на уровне предложения. Нереализованная обязательная лексическая сочетаемость слова

³¹ В. Г. А д м о н и, О двусоставности предложений, в кн.: «Вопросы грамматики и лексикологии», Л., 1955, стр. 154.

³² О. А. Л а п т е в а, К вопросу о месте современной русской устно-разговорной речи в кругу явлений литературного языка, «Русский язык за рубежом», 1968, 1, стр. 5. Ср.: Л. И. Б а р а н н и к о в а, Социально-историческая обусловленность места разговорной речи в общенародном языке, ВЯ, 1970, 3, стр. 100.

³³ Г. Г. И н ф а н т о в а, указ. соч., стр. 310.

³⁴ А. Н. Н а з а р о в, Неполные предложения и их границы, стр. 9; А. С. П о п о в, указ. соч., стр. 28, и др.

³⁵ Е. А. И в а н ч и к о в а, О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе, ВЯ, 1965, 5, стр. 85.

как члена предложения, как элемента синтаксической конструкции неизбежно ведет к синтаксической, структурной незавершенности конструкции. Это вполне согласуется с утверждающимся в лингвистике мнением о том, что лексическое наполнение предложения должно учитываться в синтаксисе «в той мере, в какой оно может оказывать влияние на структуру предложения, в частности, на сочетаемость входящих в него конструктивных элементов»³⁶.

Поэтому неправомерно, например, считать полной (точнее — завершенной) в структурно-грамматическом отношении конструкцию *Закусие неторопливо, с глазами ... они друг за другом вздохнули...* (ср.: *Закусие неторопливо, с глазами, исследовавшими тарелки, они друг за другом вздохнули ...*)³⁷. Здесь смысловая недостаточность и структурная незавершенность неразрывно связаны, знаменуя диалектическое взаимодействие лексического и синтаксического уровней языка.

При констатации синтаксического эллипсиса должна приниматься во внимание обязательная языковая (грамматическая и лексическая) сочетаемость с разграничением нереализованной прямой и обратной валентности (ср. *Я пошлю* и *Покажите синие*)³⁸.

8. Нереализация сильной валентности не является единственным и достаточным критерием эллиптичности. Взятая вне связи с другими критериями, она не позволяет, например, отличить эллиптическую конструкцию от незавершенной (усеченной, недоговоренной). Такое разграничение возможно лишь с учетом интонационной стороны предложения, а также критерия нормативной соотнесенности развернутой и неразвернутой структур. Незавершенные конструкции, в отличие от эллиптических, не являются оформленными единицами речи со стороны интонации и нормативно не соотнесены с завершенными. Таким образом, незавершенность — это отступление от нормы, а эллиптичность — отражение вариативности нормы. Полнота предложения не может быть противопоставлена незавершенности, они входят в разные оппозиции: полнота/неполнота, завершенность/незавершенность.

Опора главным образом на сочетательные возможности словоформ, недостаточно строгий учет характера соотнесенности развернутой и неразвернутой конструкций в системе языка ведет к смещению таких разных синтаксических явлений, как эллипсис и нулевой синтаксический член (компонент). Так, например, А. А. Чувакин относит к неполным двусоставным предложениям с нарушенными предикативными синтаксическими отношениями типа «действие-процесс и его производитель» следующие: «— *узнай аккуратность вашу, Ульяна Федоровна*, — сказал одобрительно Шалагин»; «— *От вас, видимо, никуда не денешься*, — невольно уступая (Чудинову), отвечала Наташа»³⁹. Между тем, во втором из этих предложений позиция подлежащего не может быть восполнена ни синтагматически, ни парадигматически без перевода предложения в иной грамматический разряд со своим собственным грамматическим значением, а это как

³⁶ Е. А. Седелников, Парадигматический анализ и грамматические категории простого предложения, «Уч. зап. Хабаровск. гос. пед. ин-та», Серия русского языка, 29, 1970, стр. 30.

³⁷ Э. П. Боярченко в этом примере усматривает лишь смысловую недостаточность предложения, возникшую в результате нарушения обязательной смысловой (семантической) связи (Э. П. Б о я р ч е н к о, Неполные предложения в составе сложно-го и принципы их классификации. Канд. диссерт., Курск, 1968, стр. 62).

³⁸ О терминах «прямая валентность» и «обратная валентность» см.: Е. А. З е м с к а я, Русская разговорная речь (Проспект), стр. 48. Об аналогичных понятиях-терминах активной и пассивной сочетаемости см.: Л. Н. З а с о р и н а, В. П. Б е р к о в, Понятие валентности в языке, «Вестник ЛГУ», 1961, 2, 8, стр. 138.

³⁹ А. А. Ч у в а к и н, указ. соч., стр. 16—17.

раз свидетельствует о том, что в предложениях такого рода мы имеем не факультативное, а обязательное, причем грамматически значимое отсутствие подлежащего, т. е. нулевое подлежащее.

Недостаточность критерия обязательной сочетаемости, взятого отдельно от других, проявляется также тогда, когда незамещенной оказывается факультативная позиция, т. е. позиция, обусловленная слабыми (необязательными) синтаксическими связями. Дело в том, что позиция, факультативная для изолированного предложения, может стать обязательной для предложения, рассматриваемого в его связях и отношениях с другими предложениями. Такая «контекстуально обязательная» позиция может быть незамещенной. Например: «Ему уже полегчало, когда майор одобрил его действия, потом он стал сомневаться, *пойдут ли танки именно сюда* — ему хотелось не только выполнить приказ, поступить правильно, но положить свою долю на весы войны. *Танки пошли*, и теперь оправдалась вся его подготовка к тому, чтобы стать военным» (С. Гансовский, Двадцать минут). «Поэтому пусть читатель не торопится укорять авторов этой книги за однообразие повторяющихся выражений, терминов, словосочетаний. *Дело отнюдь не в бедном словарном запасе*, а в том, что необходима максимальная точность, чтобы не исказить твердых, устойчивых понятий» (М. Любарский, В. Санов, Немые свидетели).

Наличие таких позиций и, следовательно, констатация эллипсиса в предложении предопределяются здесь не столько особенностями структуры самого предложения, сколько его контекстными связями и отношениями, которые и становятся, таким образом, необходимым и ведущим критерием эллиптичности.

Учет контекстных связей необходим, наконец, для разграничения синтаксических омонимов. Ср., например: «Все двенадцать собрались через час. *Председателем выбрали Афанасьева, пожилого оружейника*. Он предложил проверить у всех партбилеты, так как собрание будет закрытое. *Мой комсомольский билет и служебное положение в расчет не взяли и предложили покинуть собрание*» (П. Шамшур, Трибунальцы).

Только учет контекстных связей и отношений позволяет разграничить здесь двусоставное эллиптическое бесподлежащее предложение (в первом случае) и односоставное неопределенно-личное предложение с нулевым подлежащим (во втором случае).

9. Смысловый критерий эллиптичности, понятый как единственный или ведущий, как уже говорилось, не может удовлетворить исследователей синтаксиса. Однако обращение к семантике при констатации эллипсиса не может быть полностью исключено. Оно обязательно при установлении соотносительности развернутых и неразвернутых структур, а также там, где есть необходимость отграничения фактического, живого эллипсиса от его результатов, от образований, лишь генетически восходящих к эллипсису. Это относится прежде всего к следующим двум обстоятельствам.

Во-первых, слово, ранее не обладавшее способностью к абсолютному употреблению, развивает в себе такую способность, как результат семантического сдвига, возникшего в свою очередь на основе многократных эллиптических употреблений⁴⁰. Например, существительное *урегулирование* на наших глазах приобретает способность к абсолютному употреб-

⁴⁰ О явлениях такого рода см., например: Д. Н. Шмелев, О семантических изменениях в современном русском языке, в кн.: «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964; Т. Г. Винокур, Об эллиптическом словоупотреблении в современной разговорной речи, в кн.: «Развитие лексики современного русского языка», М., 1965.

лению, что связано с развитием у него нового значения: «умиротворение, политическая стабилизация, установление мира»⁴¹. Ср.: «Официально объявлено, что специальный представитель генерального секретаря ООН Г. Ярринг не намерен в ближайшее время возвращаться в Нью-Йорк для продолжения своей миссии по урегулированию на Ближнем Востоке» (Изв. 25 IV 71). Ср. «старое», неабсолютное употребление: «ОАР не первый раз выступает с важными предложениями, направленными на урегулирование положения в Иордании» (Изв. 2 IV 71).

Семантический сдвиг компенсирует, «нейтрализует» сильную валентность слова, и, таким образом, устраняются основания для констатации эллипсиса.

Во-вторых, смысловой критерий позволяет различать эллипсис и различные ступени субстантивации. Ср. такие крайние случаи, как, например: *Принесите синюю* (эллипсис) и *Он зашел в гардеробную* (полная субстантивация) с явлениями переходного типа, например: *Я поступил на филологический, Он погиб на гражданской*. Такого рода «окказиональные субстантивы» могут переходить в узуальные (при условии, если в языке утрачиваются развернутые параллели), что сопровождается изменением категориальной семантики слов (ср.: *прачечная, булочная* и т. п.). При полной субстантивации определяемое является нулевым, при окказиональной — эллиптическим.

Следовательно, по отношению к другим критериям эллиптичности смысловой критерий выступает как вспомогательный прием.

Таким образом, критерий эллиптичности — это комплексный критерий, который надежно «работает» тогда, когда учитываются все его составляющие. Только такой комплексный подход к определению эллипсиса, учет целого пучка признаков позволит, как нам думается, с одной стороны — избежать неоправданного ограничения этого понятия рамками контекстуального «нулевого повторения», а с другой стороны — провести достаточно четкую границу между эллипсисом и другими видами языковой имплицитности.

С учетом сделанных уточнений, эллиптическая (неполная) синтаксическая конструкция может быть определена как такая, которая: 1) характеризуется хотя бы одной нереализованной обязательной (в том числе контекстуально обусловленной) языковой валентностью, компенсируемой средствами внутреннего или внешнего контекста, а также ситуацией высказывания; 2) имеет фактически (в речи, в тексте) или потенциально (в языке, в системе) соотносительную нормативную конструкцию с аналогичной реализованной валентностью.

10. Рассмотрение вопроса о критерии эллиптичности убеждает в том, что для полного и непротиворечивого решения проблемы эллипсиса в современном русском литературном языке необходима разработка ряда вопросов теории сочетаемости (в первую очередь — установление всех типов обязательной сочетаемости), теории межфразовых связей (сложного синтаксического целого), теории функциональных синтаксических рядов (синтаксической синонимии), теории функциональных разновидностей (стилей) языка, теории языковой нормы, теории нулевых синтаксических форм. Решение этой проблемы требует также всестороннего конкретного анализа речевого материала.

⁴¹ Факт, в словарях современного русского языка, и в том числе в словаре «Новые слова и значения» (М., 1971), еще не зафиксированный.

РЕЦЕНЗИИ

С. И. Ожегов. *Словарь русского языка*. Изд. девятое, испр. и доп. Под ред. Н. Ю. Шведовой. — М., изд-во «Советская энциклопедия», 1972. 846 стр.

Однотомный словарь русского языка С. И. Ожегова, выдержавший до рецензируемого издания восемь предшествующих, по праву считается самым популярным толковым словарем русского языка. Его известности как у нас в стране, так и за рубежом, его авторитету среди широких слоев населения может позавидовать любой лексикограф — составитель толкового словаря. Тем не менее сам автор словаря еще в 1964 г. в письме в издательство писал, что считает необходимым внести в свой словарь целый ряд усовершенствований, и находил нецелесообразным его дальнейшее переиздание стереотипным способом (см. «Предисловие» к рецензируемому изданию). Эту задачу взяла на себя редактор нового, девятого издания словаря Н. Ю. Шведова. Сохраняя общие принципы словаря С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведова руководствовалась в работе над новым изданием словаря теми задачами по его усовершенствованию, которые были намечены С. И. Ожеговым. В результате было произведено много существенных изменений, и объем словаря значительно увеличился.

Словарь пополнился значительным количеством вновь введенных в него слов. Это прежде всего прочно укрепившиеся за последнее время в литературном языке различные научные термины, утратившие в нем свой узкоспециальный характер (*галактика, гермошлем, космонавтика, перигей, приводниться; гены, гербициды, гидропоника, микроклимат; миокард, пандемия, психотерапия* и др.), а также слова общественно-политической сферы (*гангстеризм, глобальный, пресс-центр* и т. п.), слова живой обиходной речи (*пирожковая, почасовик, прогрессивка*), среди которых многие обладают экспрессивно-эмоциональной окраской (*миляга, пацан, прохиндей* и т. п.) и многие другие — всего около 3500 новых слов.

С другой стороны, прежний словник словаря подвергся и некоторым сокращениям преимущественно за счет узкоспециальных терминов (*гемофилия, гумма, диабаз* и т. п.), устаревших слов (*брандер, булыга, дива*) или слов, замененных в современном языке другими для обозначения тех же предметов (*астролет* «воздушный корабль для межпланетных путешествий»). Сокращение коснулось также и не-

которых продуктивных производных категорий, например, регулярно образующих производных на *-ние* (*-ание, -ение*) и *-тие*, если образуемые с этими суффиксами слова не представляют собой распространенных специальных терминов или не имеют самостоятельного предметного значения.

Наряду с изменениями в составе словника в новой редакции словаря произведена существенная перестройка семантической характеристики очень многих слов. Н. Ю. Шведовой, как она сама отмечает в предисловии к данному изданию, «была осуществлена попытка, сохраняя принцип краткости и общности семантических характеристик слов, сделать эти характеристики более точными и полными», и попытка эта, на наш взгляд, удалась, приведя, несомненно, к усовершенствованию словаря.

В первую очередь здесь надо указать на выделение в качестве самостоятельных таких значений, которые в предшествующих изданиях словаря были отмечены только как переносные употребления внутри основного, прямого значения, например, в слове *громкий* выделено как самостоятельное переносное значение «напыщенный, фальшиво торжественный» (*Громкие фразы, Громкие слова*), данное раньше как переносное употребление внутри основного значения. То же и в слове *грязный*, в котором как отдельное значение указано «безнравственный, аморальный» (*Грязная личность. Грязный анекдот. Грязно* (нареч.) *говорить о женщинах. Грязная война. Грязная игра*), представленное в прежнем тексте словаря одним примером (*Грязная личность*), выделенным как переносное употребление в прямом значении.

Кроме того, в очень большом количестве словарных статей отмечены значения слов, вновь у них появившиеся или закрепившиеся в литературном языке за последнее время, или опущенные в словаре ранее по тем или иным причинам. Так, например, отмечено новое, третье значение слова *виток* «При полете: один оборот по орбите. *Космический корабль завершает третий в. вокруг земного шара*», распространившееся в литературном языке в связи с развитием космонавтики. В слове *гореть* указаны ранее в словаре не отме-

ченные значения: 8-е переносное «отдавать полностью (какому-н. делу), идее) *Г. на работе*, *Горит энтузиазмом*» и 11-е — «Быть под угрозой срыва из-за опоздания, упущения сроков (разг.). *Дело горит*. *Горящая путевка*». Указаны ранее отсутствовавшие в словаре значения у слов *голосовать*: «2. Поднятием руки останавливать попутную машину (прост.). *Г. на шоссе*»; *налево* «2. Незаконно используя служебные возможности в личных интересах (прост. неодобр.). *Продать кирпич н. Сработать н.*; *носить*»: «3. Устройство, несущее, перемещающее что-н. (спец.). *Ракета-н.*»; *взвиться*, *гонять*, *гроб*, *надрываться* и во мн. др.

Детальный анализ семантики слова привел во многих случаях к выделению из словопроизводных гнезд в отдельные статьи таких образований, которые наряду с основным значением, соотношенным с производящей основой, приобрели в современном языке также и самостоятельные значения. Например, в отдельные статьи выделены *винтик* с указанием на его два переносных значения: «2. Деталь, часть. *В системе воспитания важен мельчайший в.*» и «3. О том, кто должен действовать механически и безынициативно. *В социалистическом обществе человек не винтик, а творец и создатель*»; *головной* с указанием его самостоятельного значения «Ведущий, руководящий главный. *Главное предприятие*»; *невесомость* «Состояние земного тела (человека, воздушного аппарата и т. п.), находящегося вне сил притяжения. *Находиться в состоянии невесомости. Легко переносить невесомость*». См. также *ватный*, *вафельный*, *гвоздик*, *наворачивать*, *номерной* и мн. др. Такое выделение дало возможность в ряде случаев более полно представить в словаре производные связи отдельных однокоренных образований. Так, выделенное в качестве самостоятельной статьи образование *вкусовой*² «Основанный на индивидуальном вкусе², личном пристрастии (*Вкусовые оценки*)» оказалось таким образом соотношенным со словом *вкусовщина* («Оценка каких-н. явлений с точки зрения своего, субъективного вкуса²»).

Расширен также и фразеологический материал. В соответствующих словарных статьях вновь введены, например, такие специальные сочетания, как *минеральная вата* «синтетический волокнистый тепло- и звукоизолирующий материал», *тяжелая вода* «разновидность воды, в состав которой вместо обычного водорода входит дейтерий», а также такие разговорно-просторечные лексикализованные сочетания, как *гори (всё) огнем!* «то же, что *пропади пропадом*»; *на пару* «вместе, вдвоем» и др.

В ряде случаев произведена заметная перестройка в подаче фразеологического материала. Так, например, сочетание *чистой воды* «лучшего качества (о драгоценных камнях)», представленное в прежних изданиях как переносное употребле-

ние в первом основном значении, выделено в новом издании как фразеологизм, к которому в свою очередь дано его переносное употребление: «самый настоящий, подлинный — *Идеалист чистой воды*». В то же время внутри отдельных статей добавлены новые распространенные переносные употребления слов. См., например *ниточка* (в статье *нитка*): «*Н. тянется куда-н.* (перен.: при распутывании какого-н. сложного дела: следы ведут куда-н.)».

Проверке и редактированию в новом издании словаря подверглись также толкования значений слов в сторону их уточнения, детализации, что в первую очередь коснулось специальной терминологии. См., например, в статье *космический* раскрытие понятия *космическая скорость* и ряд других. Уточнены и стилистические характеристики слов в соответствии с изменениями, которые происходили за последнее время в стилистической системе современного литературного языка: передвижение некоторых просторечных лексических групп в разряд разговорной литературной лексики, нейтрализация лексических элементов специальной и книжной лексики и т. п.

Редактирование коснулось также упорядочения грамматических характеристик слов, в частности показа их синтаксической и семантической сочетаемости.

Некоторые стороны словаря остались почти без изменения. Так, система подачи омонимов, приводившая к некоторому их излишеству в предыдущих изданиях, сохранена в прежнем виде, так как пересмотр ее потребовал бы специального научного исследования и изменения самих принципов словаря в данном отношении. По той же причине не была полностью проведена унификация толкований слов, принадлежащих к одним и тем же грамматическим, словообразовательным и семантическим категориям.

Как справедливо отмечает редактор рецензируемого издания, толковые словари всегда отстают в фиксации живых процессов, происходящих в лексической системе языка. И в данном издании уже сейчас можно указать на некоторые промахи в этом отношении. Например, в словаре не зафиксировано распространенное сейчас в литературном употреблении слово *сенаж*, отсутствует как самостоятельное слово *ультра* (в его общественно-политическом значении) и некот. др. Но эти промахи не идут ни в какое сравнение с теми усовершенствованиями, которые произведены в словаре. Новое издание толкового словаря С. И. Ожегова является дополненным, исправленным и улучшенным в духе его автора изданием, которое будет с удовлетворением и благодарностью встречено не только в кругах филологов, но и массовым потребителем любой специальности, остро в нем нуждающимся.

С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление. — Л., изд-во «Наука», 1972. 216 стр.

До сих пор в литературе по типологии языка разрабатывались главным образом вопросы формальной типологии. Рецензируемая книга С. Д. Кацнельсона представляет собой фактически первое специальное исследование по континентивной типологии, ориентированной на содержание языковых форм. Впервые сделана попытка наметить пути решения ряда важнейших проблем, стоящих перед лингвистом в этой трудной области.

Типологию автор понимает как «учение о единообразии и многообразии, тождестве и несовпадении, инвариантности и вариативности языковых структур» (стр. 11). «В содержании каждого языка, — продолжает он, — необходимо различаются два компонента — универсальный и идиоэтнический» (там же): первый является общим для всех языков, а второй характеризует каждый язык в его индивидуальном своеобразии. «Содержание языковых форм представляет собой амальгаму универсальных и идиоэтнических функций» (стр. 14). Пафос книги и заключается в обнаружении путей и обосновании методов «отслоения» универсального, общечеловеческого компонента от всего того, что в содержательной стороне языка оказывается неуниверсальным, специфическим, присутствующим лишь данному языковому типу.

Материальную базу книги составляют прежде всего русский язык и другие языки с «синтетической», т. е. флективной — или также агглютинативной — морфологией, языки, для которых в качестве их главной приметы характерна «насыщенность... продуктивными морфологическими категориями» (стр. 17) типа падежа или числа. Эти языки противопоставлены в книге «аналитическим» вроде китайского или английского (к счастью, автор не пользуется крайне неудачным, но все еще не изжитым термином «аморфный строй»). Сразу же подчеркивается, что различие между синтетическими и аналитическими языками не абсолютно. Во всяком случае, автор не связывает себя традиционными представлениями о границе между «синтезом» и «анализом», справедливо указывая, что «не только словоформы, но и служебные слова могут при некоторых условиях выступать как носители морфологической категории» (стр. 17). В частности, это замечание относится к предлогам и послелогам, осложняющим падежную систему (стр. 40), и к артиклям, который во многих языках является, как известно, служебным словом, но, тем не менее, в любом случае образует, по мнению автора, типичную морфологическую категорию (стр. 35 и сл.).

С другой стороны, в корейском и в японском языках, традиционно относимых к агглютинативным, т. е. к синтетическим, категория числа, выражаемая словофор-

мами, рассматривается в книге как «аналитическая» (стр. 33—34). Дело в том, что для принятого автором понимания морфологической категории «существование не способ выражения как таковой, а соотношение функционального содержания категории с ее внешним выражением... Специфические морфологические категории отличаются от „аналитических“ полифункциональностью и обобщенностью [т. е. принудительностью. — Ю. М.] своего употребления в пределах той или иной части речи» (стр. 35). Именно насыщенность языка такого рода морфологическими категориями и определяет «меру синтетичности» этого языка (стр. 17). Артикль, в том числе и в аналитических языках, например, английском или французском, полифункционален и принудителен. Указание же на грамматическое число в корейском и японском (как и в китайском) осуществляется с помощью монофункциональных показателей и далеко не при всяком употреблении существительного, а лишь в тех случаях, когда такое указание действительно необходимо по смыслу высказывания.

Задачи анализа содержательной стороны языка выдвигают на первое место проблему соотношения языка (или речи) и «речевого мышления», языка и сознания, а в числе собственно лингвистических проблем — вопрос о взаимоотношениях между содержанием и формой внутри языкового знака.

Речь рассматривается С. Д. Кацнельсоном как «процесс (или результат процесса) выражения мысли средствами языка» (стр. 96). Но формы языка «сопутствуют мысли уже на начальной фазе ее зарождения... Деятельность сознания необходимо сопровождается деятельностью языка, выливаясь в единый, хотя и сложный по своей внутренней структуре, речемыслительный процесс» (стр. 110). Термин «речевое мышление», проходящий красной нитью через книгу, подчеркивает, что внимание автора направлено на специфические мыслительные категории, не выделенные специализированными науками о мышлении — логикой и психологией — категории, «которые лингвист вынужден добывать самолично путем кропотливого и многоступенчатого анализа одному лишь ему „подведомственного“ материала» (стр. 4).

Что касается проблемы соотношения формы и содержания в языковом знаке и в языке в целом, то автор, как и в предшествующих своих работах¹, выступает принципиальным противником концепций изоморфизма (т. е. взаимно-однозначного

¹ См. в особенности: С. Д. Кацнельсон, Содержание слова, значение и обозначение, М.—Л., 1965.

соответствия) между единицами плана выражения и плана содержания, и, следовательно, противником идеи «общих значений». Во второй главе книги (небольшая первая глава носит характер вводной) он подвергает анализу одну за другой категории грамматического рода или класса, числа, артикля, и — особенно подробно — падежа, убедительно показывая, что любая из этих категорий «является конгломератом гетерогенных функций, молекулярным соединением атомарных функций, относящихся к различным областям языкового строя» (стр. 31).

Так, у форм числа основной содержательной функцией является функция квантитативной актуализации виртуального понятия о предмете. Но семантическим полем этой функции оказываются только нарицательные имена, допускающие возможность счета. Поскольку в синтетических языках формы числа представлены и у всех других имен, эти формы несут уже другие содержательные функции — обозначение разнovidностей вещества (*вина, масла*), обилия вещества (*пески*), выделение родовых понятий и т. д. Некоторые из указанных функций даже прямо противоречат основной. Кроме того, на все содержательные функции наслаивается еще одна, уже чисто формальная, — функция согласования в числе, совершенно независимая от содержательных функций и охватывающая все без исключения формы числа, имеющиеся в данном языке. Сходную картину обнаруживаем и в других морфологических категориях, проанализированных в книге.

Сторонники «общих значений» не могут, по мнению автора, удовлетворительно объяснить эту реально наблюдаемую полисемию (точнее — полифункциональность), так же как и синонимию (изофункциональность) языковых форм. Так называемые «частные значения» во многих случаях, действительно, не могут быть интерпретированы лишь как «контекстуальные варианты общих значений»; они «не возникают окказионально в речи под воздействием контекста, а являются фактом «языка», его внутренней структуры. Контекст в таких случаях — не генератор значений, а их внешний „проявитель“» (стр. 42). Развивая и углубляя идеи Карцевского об «асимметричном дуализме» языкового знака и идеи Куриловича о «первичных» и «вторичных» функциях в языке, С. Д. Кацнельсон выявляет «многослойность» анализируемых грамматических структур, появление в них ряда промежуточных планов. Он пишет: «Асимметрия между планами содержания и выражения в языке часто усложняется настолько, что дуализм языковых планов нарушается, уступая место многослойной структуре» (стр. 15). В морфологических категориях «значение» во многих случаях «деградирует... до уровня компонента синтаксической формы» (стр. 18). Тем

самым морфологические категории синтетического типа уже не могут рассматриваться как «двусторонние языковые единицы, легко распадающиеся на „означающее“ и „означаемое“» (стр. 74). «Что, в самом деле, — пишет ниже С. Д. Кацнельсон, — непосредственно выражают формы какого-либо падежа? Ничего, кроме указания на место этих форм в парадигме и способность их получить в предложении одну из многих — формальных или семантических — функций, закрепленных за этим падежом в системе данного языка» (стр. 91).

Учет, наряду с многообразными содержательными, также различных полуформальных и чисто формальных функций грамматических форм побуждает автора сдержанно отнестись к широко распространенному термину «грамматическое значение». Ведь значение языкового знака есть «отражение реальных внеязыковых данностей» (стр. 19). Поэтому термин «грамматическое значение» оправдан «только в применении к семантико-грамматическим функциям» (стр. 92), таким, например, как функция адресата речи, функция орудия, при помощи которого совершается действие, и т. д.² Такого рода функции не присущи падежам в качестве их первичных или основных функций, они проявляются лишь в определенных условиях. Многие же другие функции падежей и прочих грамматических форм, если и связаны со внеязыковой действительностью, то лишь опосредованно. Вместе с тем автор справедливо отвергает как крайность сплошную «асемантизацию» всех грамматических функций, типичную для некоторых направлений структурализма. «Тезис об асемантичности грамматики, — заключает он, — ... столь же ошибочен, как и тезис о семантичности всех грамматических форм» (стр. 91).

Проделанный автором анализ содержания морфологических категорий является их «редукционным анализом»: он не исчерпывается вскрытием полифункциональности этих категорий, но, в соответствии с общей установкой книги, направлен на отграничение в обнаруженных функциях универсального минимума (того общего, что необходимо представлено в каждом человеческом языке) от разнообразных идиоэтнических «накладок», отсутствующих в языках с менее сложной морфологией. Тем самым в процессе анализа осуществляется своего рода «логическая редукция» гипертрофированной морфологии синтетических языков, — сведение их разветвленной «поверхностной структуры» к элементарно необходимой «глубинной». Безусловно идиоэтнической

² Ниже (стр. 119) даже такое ограниченное употребление термина «грамматическое значение» квалифицируется автором как «нежелательное», — с чем, как нам кажется, трудно согласиться.

оказывается, конечно, формальная функция согласования. Что касается содержательных функций, то они, как правило, находят то или иное выражение и в языках, не имеющих данной морфологической категории; однако специфическое объединение этих функций в рамках одной грамматической формы (скажем, того или иного падежа и т. п.) составляет идиоэтническую черту соответствующего синтетического языка.

Автор считает, что вычленение универсальных речемыслительных категорий нередко усложняется, так как многие из них не получают прямого выражения в грамматических формах. Во всех языках, как аналитических, так и синтетических, существует, помимо «явной» грамматики, еще и грамматика «скрытая», и именно она является основой всякого грамматического строя» (стр. 79). Скрытой грамматике и формам ее обнаружения посвящена в книге специальная глава.

Развивая и систематизируя идеи, высказывавшиеся в русском и в зарубежном языкознании (в частности, Потемной, Щербой, Уорфом и др.), С. Д. Кацнельсон показывает, что скрытая грамматика — это «грамматические сигналы, имплицитно содержащиеся в синтаксических сочетаниях и семантике слов» (стр. 78). Конкретнее — это «категориальные компоненты лексических значений» (стр. 83), которые, «уточняя взаимоотношения слов в предложении, делают излишним присутствие специальных формантов» (стр. 85) и позволяют группировать знаменательные слова «в разряды или классы, отличающиеся единством грамматического функционирования» (стр. 87). Многие лексико-грамматические разряды были выделены внутри отдельных частей речи, как известно, уже традиционной грамматикой (например, одушевленные и неодушевленные существительные, качественные и относительные прилагательные, глаголы чувственного восприятия, мысли и речи и т. д.). Более тонкий анализ, применяющий современные методы (в частности, компонентный анализ лексических значений), создает возможность дальнейшей дифференциации, направленной на выявление инвентаря категориальных признаков, лежащих в основе речевого мышления.

Явления, относимые в книге к области скрытой грамматики, иногда описывались как случаи «взаимодействия лексики и грамматики» или «влияния лексики на грамматику». Некоторыми лингвистами выдвигалась идея «пограничных» между лексикой и грамматикой категорий, или, говоря словами И. Польдауфа, «лиминальных абстракций»³. Можно думать, что

концепция скрытой грамматики, как она развивается автором, идея «скрытых грамматических категорий» (последний термин, как известно, был предложен Б. Уорфом)⁴ полнее и четче отражает существо дела. Следует согласиться с С. Д. Кацнельсоном в том, что роль скрытой грамматики в языке огромна: «Скрытые категории глагола определяют его валентность. Скрытые категории имен определяют их способность замещать „места“ при глаголе» (стр. 88). При содействии скрытых категорий «уточняются функции полифункциональных морфологических элементов» (стр. 93), например, функции творительного падежа в сочетаниях типа *стол накрыт скатертью — стол накрыт официантом* (см. стр. 83—84). Скрытые категориальные признаки позволяют опознать «семантическую деривацию» там, где «явная» лексическая деривация отсутствует, т. е. в своего рода суффиксальных рядах вроде *ездить — возить* (стр. 88—89). Очень важен заключительный тезис автора о том, что «явная, или внешняя, грамматика, воплощенная в грамматических формах того или иного языка, строится на базе скрытой, или внутренней, грамматики и является неполным и во многих случаях морфологически усложненным ее отображением» (стр. 93).

Вместе с тем автор не замалчивает трудностей, возникающих при изучении категорий скрытой грамматики. Он пишет: «Когда семантический анализ открывает в составе значения такие признаки, как одушевленность или неодушевленность, фактитивность или каузативность и т. п., то сомнений не возникает, так как эти категории давно известны в грамматике. Другое дело — признаки, не освященные грамматической традицией. В этом случае исследователю приходится самостоятельно решать, относится ли данный признак к числу грамматических или собственно лексических» (стр. 90). «Обнаруживаемые компонентным анализом лексических значений скрытые категории даны постоянно в слове за вещественными семантическими компонентами, отличить которые от категориальных признаков не всегда легко» (стр. 94).

Можно пожалеть, что важная и интересная глава о скрытой грамматике оказалась (не считая вводной главы) самой короткой в книге.

В последней, самой большой по объему главе, автор рассматривает речемыслительные и универсально-языковые (коммуникативные) основания традиционных частей речи и членов предложения.

Что касается частей речи, то важнейшие из них, по мнению автора, универсальны,

³ См.: И. Польдауф, Место грамматики и лексикологии в изучении вопросов глагольного вида, сб. «Вопросы глагольного вида», М., 1962, стр. 77 и сл.

⁴ См.: Б. Л. Уорф, Грамматические категории, сб. «Принципы типологического анализа языков различного строя», М., 1972, стр. 44 и сл.

т. е. представлены во всех языках, но, так сказать, не в полном объеме, а «лишь в меру выражения ими базисных значений» (стр. 176). Для субстанциональных слов базисными являются «лексические значения, отображающие чувственно воспринимаемые предметы (физические тела). Вряд ли существует поэтому хоть один язык, в котором такие значения оказались бы в составе иного грамматического класса. Базисными для атрибутивных слов являются чувственно воспринимаемые признаки предметов, обладающие относительной устойчивостью, — качественные и количественные признаки. Для предикативных слов базисными являются простейшие, чувственно наблюдаемые изменчивые признаки, — предикаты действия и состояния. Традиционная грамматика интуитивно выделила базисные значения как семантическую основу важнейших частей речи — существительных, прилагательных, числительных, глаголов» (стр. 175).

В противоположность этому небазисные, производные значения образуют, по словам автора, «подвижной фонд», который в разных языках распределяется между частями речи по-разному. Например, значения типа «быстрота» или «копание» могут в том или ином языке по условиям своей лексической фиксации оказаться вне разряда существительных, а значения типа «сделанный из железа» или «быть сильным», «быть отцом» и т. п. соответственно вне разрядов прилагательных и глаголов. В ряде случаев для оформления производных значений используется «скрытая деривация» (стр. 174) с помощью словоизменятельных форм: например, род. падеж *солнца* в *лучи солнца* обозначает уже не предмет, а признак, как и относительное прилагательное в *солнечные лучи*.

Из большого комплекса рассматриваемых в книге проблем, связанных с членами предложения, остановимся на проблеме подлежащего, или субъекта. Заметим, что из двух приведенных равнозначных терминов автор чаще употребляет второй, но, как увидим ниже, различает «форму субъекта», что соответствует традиционному подлежащему, и «функцию субъекта», которая может отделяться от его формы. Субъект, по С. Д. Кацнельсону, не следует трактовать «как некую внеязыковую сущность, отождествляемую с „реальным“, или „логическим“ субъектом (агенсами)» (стр. 195). Ведь об агенсе в точном смысле слова можно говорить только там, где предикат обозначает действие. «Между тем категория субъекта употребляется и при предикатах состоянии (ср. *Он болен*), а в пассивных конструкциях при переходных глаголах действия она выделяет не агенса, а объект переходного действия» (там же; в этой последней цитате особенно отчетливо видно, что «субъект» у С. Д. Кацнельсона это именно

«грамматический субъект»). Далее следует вывод: «Свойственные субъекту специфические функции... носят внутриязыковой характер и вне языка аналогов не имеют» (стр. 195). Каковы же, по мнению автора, содержание и природа этих функций?

Как и ряд других современных лингвистов, С. Д. Кацнельсон подходит к подлежащему со стороны валентных свойств предиката, причем имеется в виду не формальная, а содержательная валентность. Субъект, с этой точки зрения, «является одним из „дополнений“ („дополнителей“) предиката» (стр. 160) и объединяется с традиционными дополнениями (объектами, или компонентами) в общем понятии «предикандума». Субъект — это, так сказать, первый предикандум. Применительно к различным типам случаев это конкретизируется следующим образом.

При одноместных предикатах их единственный предикандум, независимо от его внешнего выражения, рассматривается как субъект. В этом отношении не делается различия между *Я не сплю* и *Мне не спится*. О втором и подобных ему предложениях (*Меня знобит* и т. д.) С. Д. Кацнельсон пишет, что «бесподлежащими считать их не приходится» (стр. 61): в функции субъекта этих предложений выступает косвенный падеж, что представляет собой образец «сдвинутого» употребления падежей, употребления их во «вторичной функции».

Сложнее обстоит дело в случае двухместного или многоместного предиката. При таком предикате только одно из мест может быть отведено субъекту. Какой именно из предикандумов будет «возведен» в этот «ранг», определяется рядом факторов.

В частности, существенную роль играет так называемая «интенция» предиката. Как отмечает С. Д. Кацнельсон, интенция особенно отчетливо выступает во взаимно конвертируемых предикатах типа «быть отцом» — «быть сыном» (*Этот мальчик — сын моего соседа* и *Мой сосед — отец этого мальчика*), «обладать чем-л.» — «принадлежать кому-л.», «любить» — «быть любимым» и т. д. Но она присутствует в любом двухместном или многоместном предикате. «Каждое предикативное значение, — констатирует автор, — отличается семантической „кривизной“, „перекосом“, односторонним „равнением“ на субъект. Выражая то или иное отношение, предикат всегда выделяет один из своих предикандумов..., возводимый... в субъекты» (стр. 184). «Предикативное значение — это, следовательно, векторная величина, в которой задана вместе с содержанием определенная направленность на субъект» (там же). Исходя из приведенных положений, подлежащее при многоместном предикате, очевидно, могло бы быть определено, как тот из предикандумов, на который ориентирована интенция

предиката. В книге мы, однако, не находим подобного определения.

Так или иначе, между предикандумами обязательно устанавливается некая иерархия: «субъект — прямой компонент — остальные компоненты». Эта иерархия хорошо отражена традиционной грамматикой в противопоставлении «прямого» падежа — «косвенным», а внутри последних винительного падежа — остальным. Но иерархия предикандумов, как считает автор, не связана со специфической морфологией «падежных» языков, а носит характер универсалии. Только обусловлена эта универсалия не природой речевого мышления, а некоторыми универсальными особенностями языка как средства общения и как специфической знаковой системы. Имеется в виду линейность речи и компенсирующие эту линейность «проективные свойства» языка.

В этом пункте С. Д. Кацнельсон отправляется от намеченного еще Штайнталем и Потембей сравнения языка с живописью. Как живописец, используя перспективу, может воспроизвести на плоскости трехмерное пространство, так, используя «проективные свойства» языка, мы можем с помощью линейной речи выразить многомерную «пропозицию» (мысль, заключенную в предложении). «Проективность» языка обеспечивается наличием в нем грамматических средств подчинения, создающих в предложении своего рода перспективу. По мнению автора, компоненты маркируются с помощью тех или иных проективных средств, а на долю субъекта остаются «непроективные средства». Это последнее понятие очерчено не совсем ясно. Имеются ли в виду только «словопорядковые формы» выделения субъекта, и конкретно — линейная позиция в предложении впереди всех других предикандумов, или также и морфологическая форма «синтаксически независимого», «прямого» падежа? Во всяком случае автор считает возможным определить субъект при множественном предикате как «единственный предикандум, выраженный непроективными средствами» (стр. 187).

Конечно, это определение является более формальным, чем определение, которое исходило бы из интенции предиката. Но, выдвигая на первый план словопорядковые формы выделения субъекта, оно создает почву для сближения субъекта с «данным», или «темой» в концепциях актуального членения предложения, и тем самым для определенной содержательной интерпретации категории субъекта. Ведь «тема», как известно, тяготеет к началу предложения. И вот автор ставит вопрос о соотношении темы и субъекта (стр. 188 и сл.) и фактически приходит к их функциональному отождествлению. Такое отождествление представляется нам не совсем правильным. Нужно, впрочем, признать, что эта часть концепции С. Д. Ка-

цельсона является наименее разработанной и наименее ясной. Возможно, автор несколько суживает объем понятия «тема» по сравнению с обычным употреблением этого термина, когда утверждает, что именно функция темы превращает предикандум в субъект (стр. 195), или что «в нейтральном, не деформированном особыми факторами высказывании субъект и есть тема» (стр. 189). Во всяком случае надо учесть и недвусмысленное возражение автора против того, чтобы ставить подлежащее «в прямую связь с актуальным членением предложения» (стр. 61).

Словопорядковые формы выделения субъекта, которые С. Д. Кацнельсон считает в принципе универсальными, в чистом виде выступают в «беспадежных», аналитических языках. В этих языках субъект «всегда стоит впереди других предикандумов» (стр. 204). В синтетических языках словопорядковые формы, как полагает автор, «сохраняют свою значимость», но здесь для разграничения субъекта и компонентов используются также синтетические, падежные формы. При этом в языках эргативного строя порядок слов все же остается, по мнению автора, «важнейшей приметой эргатива как субъектного падежа в переходной конструкции» (стр. 70), хотя эта примета и «дублируется» соответствующим падежным показателем. В синтетических языках номинативного строя чистота отношений нарушена в большей степени. Здесь в одних случаях падежная форма выделения субъекта, т. е. именительный падеж, также лишь дублирует, «избыточно оттеняет» словопорядковую форму, но в других — «вступает с нею в конфликт» (стр. 193).

Случаи первого рода — это предложения, в которых традиционное подлежащее (им. падеж) стоит впереди других предикандумов и является для автора, так сказать, полноправным субъектом, как по форме (совпадающие показания порядка слов и морфологии!), так и по функции. Случаи же второго рода — это предложения, в которых линейная последовательность предикандумов открывается именем в косвенном падеже или предложным сочетанием. В этих случаях конфликт, о котором говорит автор, конфликт между падежной и словопорядковой формой субъекта, интерпретируется в книге как разрыв между формой субъекта и его функцией: формой субъекта признается им. падеж, а функция субъекта усматривается в первом по порядку предикандуме, — что и естественно, поскольку, как мы уже знаем, эта функция отождествляется автором с функцией темы. «В таких предложениях, — пишет С. Д. Кацнельсон, — где тема дана не в форме субъекта, последняя не имеет уже функции субъекта, хотя и сохраняет интенциональную связь с предикатом» (стр. 190). А несколько выше, рассматривая пример *Спортсмен занимается с детства*, автор высказал

ся даже еще категоричнее: «субъектом в приведенном предложении является *спортсмен*» (стр. 184).

С последним утверждением вряд ли можно согласиться, хотя аналогичная трактовка в книге некоторых других конструкций (*У меня есть деньги, С ним приключилась беда, У них родился сын* — стр. 64 и сл., 189) кажется более убедительной: дело в том, что для последних трех предложений любой иной порядок слов воспринимается как инверсия, тогда как в первом предложении наиболее «нейтральным», неинвертированным порядком слов был бы такой: *Он с детства занимается спортом*, т. е. с им. падежом на первом месте. Вероятно, нужно ограничивать не только функцию темы от функции субъекта, но также и словопорядковые формы выделения темы от словопорядковых форм выделения субъекта⁵.

Проблемы, по которым мы высказали здесь несогласие с автором, являются хотя и важными, но в рамках общей концепции книги все же частными. Следующее наше замечание носит скорее характер пожелания на будущее. В книге систематически осуществляется сопоставление фактов синтетической морфологии с фактами, типичными для языков аналитического строя. Но в этом сопоставлении одни и другие языки выступают не на равных правах: в центре внимания автора стоят синтетические (и прежде всего — флективные) языки, а языки аналитические фигурируют лишь как фон, как задний план. В результате таким образом направленного сопоставления у читателя может сложиться впечатление, будто в строе аналитических языков все или почти все является универсальным, а идиоэтнические черты

составляют исключительную принадлежность синтетического строя. Конечно, в действительности это не так, и автор подчеркивает, что как универсальные, так и идиоэтнические компоненты имеются в строе каждого языка. Ясно, что конкретное выявление идиоэтнических особенностей, типичных для аналитических языков, потребовало бы значительного увеличения объема книги, а также и несколько иной методики сопоставления. Такого рода исследование можно считать одной из будущих задач континентальной типологии.

Наконец, некоторые мелочи. В книге нет анализа категории глагольного вида, как и ряда других категорий глагола, и потому несколько неожиданно звучит утверждение автора, что «все попытки свести... конкретные функции форм совершенного вида к общей категории „совершенности“ окончились неудачей» (стр. 74). Представляется также, что критика «теории уровней» (стр. 98—100) должна была бы иметь более четкий адрес: по существу она направлена только против того варианта теории уровней, который развивался в 50-е годы американскими дескриптивистами, но не против других вариантов и уж никак не против концепции Бенвениста, более новой «стратификационной модели» Глисона и Лэма и других идей, признающих особую роль «промежуточных ярусов».

В заключение хочется подчеркнуть, что книга С. Д. Кацнельсона — незаурядное явление в жизни лингвистической науки, исследование, новаторское по своей основной направленности и чрезвычайно интересное по полученным выводам. В книгах такого рода кое-что (и даже, вероятно, многое) может показаться иному читателю не очень убедительным и, во всяком случае, непривычным, тем более, что и стиль изложения местами довольно труден, а иллюстративных примеров маловато. Но все здесь будит мысль, дает возможность увидеть языковые факты, пусть даже знакомые, под новым углом зрения, увидеть их как бы одновременно и в их неповторимом идиоэтническом своеобразии, и в их глубинных и универсальных общечеловеческих чертах.

Ю. С. Маслов

⁵ Кстати, нам кажется не совсем удачным и термин «позиционные функции», которым автор обозначает функцию субъекта и функцию прямого дополнения (как и функции соответствующих надежд в падежных языках). Этот термин сразу направляет мысль на линейную последовательность элементов (ср. «позиционные классы морфем» — по их месту относительно корня, «позиционное примыкание» и т. п.) или, что того хуже, на «обусловленность окружением» (ср. «позиционные чередования»).

«Гістарычная лексікалогія беларускай мовы». — Мінск, «Навука і тэхніка», 1970, 339 стр.

«Гістарычная лексікалогія беларускай мовы» является «первой попыткой введения в научный обиход лексического материала картотеки словаря древнебелорусского языка» (стр. 8).

Во введении при кратком обзоре трудов из области белорусской исторической лексикологии А. И. Журавский показывает их роль в изучении развития лексики белорусского языка, но вместе с

тем отмечает, что в большинстве случаев эти исследования построены на материалах памятников, способ издания которых не может удовлетворить современного лингвиста. Кроме того, сочинения таких жанров, как светско-художественный, религиозный и научный, остались вне внимания издателей и по нынешний день хранятся в единственных рукописных экземплярах в архивах и книгохранилищах преимущественно за пределами Белоруссии.

Подготовка к составлению словаря древнебелорусского языка в значительной степени улучшила положение с комплектацией источников. Картотека словаря древнебелорусского языка, созданная в Институте языкознания АН БССР, послужила основой первого в белорусском языкознании специального исследования по истории словарного состава белорусского языка. На других материалах, как отмечено в предисловии, построены только те разделы, которые хронологически не совпадают со словарем. Правда, в монографии нигде не уточнены эти хронологические рамки.

В первом разделе («Древнерусская лексика как основа старобелорусской лексической системы») исследуется происхождение лексики и дается ее предметно-тематическая характеристика. Автор раздела А. М. Булыко показывает, что в составе древнерусской лексики значительный процент составляют общеславянские лексические элементы. Постепенное обогащение словарного состава древнерусского языка происходило главным образом за счет собственных внутренних ресурсов, путем развития значений и усложнения семантической структуры существующих слов, а также путем создания лексических единиц на базе общеславянского словарного материала с помощью новых словообразовательных средств. «Древнерусская лексическая система в свой наиболее зрелый период, накануне создания на ее основе лексических систем русской, украинской и белорусской народностей владела всеми важнейшими средствами, необходимыми для выражения основных понятий тогдашней действительности» (стр. 51).

К сожалению, полученная картина лексической системы древнерусского языка IX—XIV вв. оторвана от реальной почвы памятников древнерусской письменности. Только в редких случаях автор высказывается по поводу территориального распространения слов в этот период (например, при анализе леммы *мѣсто* — стр. 36). В разделе невольно повторен недостаток трудов о лексике древнерусского периода, базировавшихся только на «Материалах» И. И. Срезневского «без учета происхождения и территориальной принадлежности того или иного памятника, его жанра и стиля»¹.

Автор раздела показывает наличие в древнерусском языке так называемых стилистических славянизмов. Под этим подразумеваются слова, которые имели в древнерусском языке свои фонетические соответствия — типа *врагъ/ворогъ, градъ/городъ, единъ/одинъ*, а также такие пары слов, как *лобзати/цѣловати, ланита/щеча, челло/лобъ* и т. п. Согласно довольно распространенному мнению, автор приписывает такого типа дублетам четкое разграничение стилистической функции (стр. 17). Но если исходить из конкретного материала письменных памятников, вряд ли удастся провести столь четкое стилистическое разграничение. Вкладывал ли, например, подобное стилистическое содержание в слова *цѣловати* и *лобзати* автор *Изборника 1076 г.*, когда писал: «Мошти стыхъ съ вѣроу цѣлоуи»²; «Възьмъши же блженая ѳеодора дѣтишь: на лоно своѣ. лобъза же»³. На размышления по этому поводу наталкивают и материалы такого нейтрального в стилистическом отношении жанра, как деловая письменность, где лексико-фонетические дублеты типа *градъ/городъ* довольно распространены, а их наличие обусловлено отнюдь не стилистическими причинами.

На современном этапе исследования восточнославянских языков все еще остается открытым сложный вопрос о том, «что нужно считать церковнославянизмами на всех уровнях языка и каков был их удельный вес в разные исторические эпохи как в отдельных жанрах письменности, так и в языке обиходном»⁴. И сегодня нельзя считать законченной дискуссии о генетических основах древнерусского письменного языка, нашедшую свое выражение в гипотезах С. П. Обнорского и А. А. Шахматова.

Замечания о роли греческих элементов в древнерусском языке сведены к довольно скупому (в пределах одного абзаца) перечню отдельных лексем (стр. 18—19). Правда, при этом отмечено, что список греческих слов можно расширить в несколько раз. Но роль греческого языка в истории восточнославянских языков определяется не только большим или меньшим количеством прямых лексических заимствований, но также заметным влиянием системного характера (посредством калек) на формирование словообразовательных моделей и на появление целого ряда фразеологизмов книжного происхождения. Освещение роли и места грецизмов в восточнославянских языках на протяжении

тературной мови кїївського періоду Х—XIV ст., ВЯ, 1964, 4, стр. 142.

² «Изборник 1076 года», М., 1965, стр. 237.

³ Там же, стр. 481.

⁴ Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 639.

¹ Н. Г. Михайловская, [рец. на кн.:] П. Ковалів, Лексичний фонд лі-

их истории важно для освещения истории связей цивилизации славян с цивилизациями других европейских народов.

В разделе о древнерусской лексике находим немало интересных замечаний о жизни слов, о причинах появления и исчезновения отдельных лексем, элементы анализа их полисемии и словообразовательных возможностей. Но такие наблюдения не всегда подтверждены конкретными свидетельствами источников и нередко вызывают сомнения. Например, на стр. 14 читаем о том, что из активного древнерусского словаря выпали отдельные слова, относящиеся к языческой религии (*сълхвъ, капище*), исчезли некоторые термины родства (*стрый, суй*). При этом не говорится, когда это произошло, на какой территории и в каких памятниках отражено. Но слово *волхвъ* и производные (*волхвованье, волхвовати*) на почве украинского языка прослеживаются в памятниках вплоть до XVIII в.⁵, в русском языке производные от *сълхвъ* — *волшебник* и другие — живут и ныне. Так же неконкретно в отношении времени и пространства представлена и семантическая эволюция слова *понъти* (стр. 15) и других.

Следующие три раздела монографии «Собственно белорусская лексика» (В. В. Аниченко), «Займованная лексика в старобелорусском языке» (А. И. Журавский) и «Тематическая характеристика старобелорусской лексики» (А. М. Булько, А. И. Янович, З. К. Турцевич) — построены на материалах древнебелорусских письменных источников. Многие из них — это рукописи, начиная с конца XV и кончая второй половиной XVIII в. (1787). Список памятников разнообразен в жанровом отношении. Здесь представлены образцы актовой письменности, исторические трактаты, жития святых, учительные евангелия, первые художественные и научные произведения. В их числе имеется оригинальная и переводная литература, памятники, написанные книжным церковнославянским языком, как «Грамматика словенская» Л. Зизания, и памятники, отражающие народный язык того времени. Что касается последних, то многие из них требуют особого подхода. Сюда относятся «Лексиконъ славенороский именъ толкование» П. Беринды (2-е изд., Кутеин, 1653), «Лексис Лаврентия Зивания» (Вильнюс, 1596), «Четья-Миня» 1489 г., которую исследователи считают первой попыткой обработки церковнославянского языка в народном украинском духе. Она составлена поповичем Берякою в Каменце на Украине⁶, позже переписана в Белоруссии, поэтому в ней,

кроме украинских, отражены также и некоторые черты белорусского языка⁷. Вследствие тесного переплетения истории двух братских народов эти памятники, отражая черты древнеукраинского языка, имеют в некоторой степени прямое отношение и к древнебелорусскому языку. В монографии, к сожалению, языковой специфике таких памятников не уделено должного внимания.

Выявление органической связи белорусской лексики с лексикой древнерусского периода развития восточнославянских языков продолжается во втором разделе и базируется здесь на выявлении различий между древнерусским языком-основой и собственно белорусским языком. Правда, о том, что автор подразумевает под собственно белорусской лексикой, говорится только вскользь в конце раздела, когда речь идет о словах, общих для белорусского и польского языков. Значительная часть таких слов, по мнению автора, может быть отнесена к собственно белорусской лексике хотя бы на том основании, «что они в давние времена существовали в белорусском языке и без существенных структурных и семантических изменений сохранились в нем вплоть до нынешнего времени» (стр. 73). Это было бы вполне убедительно, если бы можно было более точно хронологически определить «давние времена».

Автор пытается разграничить собственно белорусскую и древнерусскую лексику на основании целого ряда фонетических и словообразовательных особенностей. Но некоторые из черт, характеризующих, по мнению автора, только собственно белорусскую лексику (по сравнению с древнерусской), являются характерными и для украинского языка. Примером может послужить замена *е* на *у* перед согласными в начале слова. Автор считает ее характерной чертой древнебелорусского языка (стр. 54) и документирует ее древнебелорусскими памятниками XIV в. Но это явление не менее характерно и для древнеукраинских памятников того же времени. Более того, Ф. П. Филин считает, что исходя из наличия или отсутствия взаимных замен *е/у* в упомянутой позиции, древнерусская письменность уже в XI—XIII вв. разделяется на две большие области: юг, запад, север, северо-запад (наличие *е/у*) и ростоно-владимирский северо-восток (отсутствие *е/у*)⁸.

Более выразительной фонетической чертой собственно белорусского языка из перечисленных в разделе могло бы послужить наличие приставных гласных и согласных звуков (протез), если бы автор показал их дифференцированно, с учетом позиционных особенностей.

⁵ «Историчний словник українського язика», I, А—Ж, під ред. Е. Тимченка, Харків — Київ, 1932, стр. 303.

⁶ См.: П. П л ю щ, Історія української літературної мови, Київ, 1971, стр. 151.

⁷ См.: «Курс історії української літературної мови», I, Київ, 1958, стр. 61—62.

⁸ Ф. П. Ф и л и н, указ. соч., стр. 293.

Наиболее полно охарактеризована соб-ственно белорусская лексика с точки зрения словообразования. Определяющим фактором обоснованно считается не только наличие или отсутствие словообразовательной единицы, но также частота ее употребления и продуктивность. Оторванный от памятников перечень слов (стр. 56—66) хорошо отражает качественную сторону явления, но ничего не говорит о времени и среде его возникновения и распространения. Этот аспект появляется в поле зрения исследователя только при анализе семантических изменений слов на почве древнебелорусского языка. Ссылки на памятники письменности датируют эти явления, начиная преимущественно с XVI—XVII вв. (стр. 68—79). Самым ранним упомянутым памятником является «Четья» (1489), использованная автором для иллюстрации слов *жывотъ* в значении «часть тела» и *годовати* в значении «кормить, питать». Неудивительно, что именно этот памятник послужил для документации названных слов, ибо они так же характерны для украинского языка, как и для белорусского. В так называемых молдавских грамотах, составленных на староукраинском языке, находим еще более раннюю фиксацию упомянутого значения *годовати* в лексемах *годовати сб* (1453), *годоуля* (1472). Это слово засвидетельствовано также и в волынской грамоте, написанной в Кобрине в 1454 г. («дѣти маеть ходовати») ⁹.

Вопрос взаимосвязей белорусского, украинского и польского языков на лексическом уровне не уделено должного внимания. В частности, это относится к проблеме разграничения лексики старобелорусского и староукраинского языков, засвидетельствованных в общих письменных памятниках, отличающихся высокой степенью стандартизации — памятниках официального делового языка Литовско-Русского государства XIV—XV вв. Критериям выделения специфически белорусских, специфически украинских и общих для обоих языков особенностей так называемого западнорусского языка, противопоставлявшегося церковнославянскому, однако сохранявшего, подобно ему, хотя и в меньшей степени, «наддиалектный», обобщенно-литературный характер, посвящена обширная научная литература. Некоторые из предложенных критериев принимаются не всеми исследователями ¹⁰, и, поэтому более четкая позиция автора в

этом вопросе была бы весьма желательной.

Прямые и косвенные языковые контакты, оставившие в белорусском языке на протяжении столетий заметный след в виде иноязычных лексических заимствований, являются предметом наблюдений автора раздела «Заимствованная лексика в старобелорусском языке». Здесь идет речь о полонизмах, латинизмах, германизмах, грецизмах, церковнославянизмах, туркизмах, литуанизмах.

Раздел о лексических заимствованиях не является голым перечнем тех или иных иноязычных лексем. Он содержит целый ряд обобщений относительно их количественной характеристики, хронологии, путей и способов проникновения в белорусский язык, их лексико-семантической характеристики, словообразовательных способностей и некоторых других моментов. Касаясь общей природы заимствований, А. И. Журавский придерживается мнения, что они отражают не период упадка, а, наоборот, являются показателем приспособления языка к новой обстановке, вызванной хозяйственным, политическим и культурным подъемом (стр. 83). Такое утверждение, быть может, в общих чертах и правильное, требует осторожного и дифференцированного подхода к оценке явления в историческом плане. Дискуссионным кажется и вопрос о соотношении числа заимствований в памятниках разных жанров (стр. 82).

Если раздел о заимствованиях отличается почти исчерпывающей полнотой охвата материала и многоаспектностью его рассмотрения, то раздел «Тематическая характеристика старобелорусской лексики» весьма фрагментарен. Здесь представлены лишь некоторые тематические пласты лексики: общественно-политическая лексика (А. М. Булыко), торговая, военная (А. И. Янович), научно-книжная (З. К. Турцевич). Правда, в этих подразделах рассматриваются и некоторые группы слов, относящиеся к сопредельным сферам употребления (слова, отражающие иерархическую политико-экономическую и правовую структуру общества, названия различных типов собственности, названия пошлин, повинностей, штрафов, некоторых юридических учреждений и инстанций — в разделе «Общественно-политическая лексика», названия многих метрических мер — в разделе «Торговая лексика» и под.). Это частично восполняет пробелы в тематической характеристике старобелорусской лексики, но не компенсирует их. Трудно согласиться с высказанным в работе утверждением, что ряды лексики, восходящие к глубокой старине и мало изменившиеся в ходе истории, представляют для исследователей меньший интерес (стр. 8). Как видно из работ белорусских же диалектологов, углубленное изучение именно «исконных» пластов лексики (земледельческой, быто-

⁹ Цит. по картотеке Словаря староукраинского языка, находящейся в отделе языкознания Института общественных наук АН УССР во Львове.

¹⁰ Ср.: Ё. В. А н і ч е н к а, Беларуска-украінскія пісьмавомаўныя сувязі, Минск, 1969; рец. А. Бурыча і В. Русаніскаго см.: «Мовознавство», 1971, 1.

вой, терминологии народных промыслов), реконструкция семантических сдвигов в них дает интереснейший материал именно для восстановления многих этапов истории языка и его носителей¹¹.

В тех случаях, когда сфера применения тематически близких слов определяет их стилистическую тональность, привлечение «сопредельных» групп лексики требует особой щепетильности характеристик. Трудно согласиться с тем, что в разделе «Научно-книжная лексика» рассматриваются и, главное, квалифицируются как научные и книжные термины слова, характерные для сферы производственно-бытовой, в лучшем случае — для сферы глубоко практического применения знаний, ремесла (*старший тесля, бурса, масть* и под.). Вряд ли можно старобелорусское *учень* считать в такой же мере термином, как *школяръ, студей, студентъ*, если оно иллюстрируется контекстами об «учнях Христа» (т. е. последователях его учения) и об «учне-кравчшке» (т. е. подмастерье портного, практиканте-ремесленнике) (стр. 224). Как абсолютные — семантические и стилистические — синонимы рассматриваются и слова *лекаръ, врачъ, барберъ, цирульник, докторъ* (стр. 217—219), но этого не подтверждают иллюстрации («болезнь застарялая служит врачеву, а новую немощ укротит лекаръ», стр. 219).

Во многих случаях прослеживается происхождение слова, пути его распространения, семантические приращения, синонимические и другие системные отношения с другими словами и группами слов. Особенно многоценных наблюдений такого характера имеется в главе «Общественно-политическая лексика». Жаль только, что из-за недостатка места в качестве иллюстраций, за редкими исключениями, приводятся отдельно взятые слова, без контекста и документации, могущих предоставить дополнительную информацию о сфере употребления, лексической сочетаемости, семантических и стилистических оттенках слова. Даже sporadические указания на хронологию и географию бытования отдельных слов весьма расширяют представление о старобелорусской лексике как о динамичной, развивающейся системе. Но о периодизации истории белорусской лексики и о хронологических границах старобелорусского языка в монографии говорится лишь вскользь.

В книге есть еще разделы «Развитие лексической системы белорусского языка в XIX — начале XX ст.» (И. И. Крамко) и «Изменения лексики белорусского языка

в советский период» (А. Я. Баханьков), а также глава «Белорусская фразеология» (А. С. Аксамитов), представляющая собою как бы монографию в монографии — и не только в композиционном отношении, но и потому, что в ней используются наравне с «традиционными» методами и методы структурно-типологические. Оправданно внимание авторов к особенностям преемственности лексического состава старого и нового белорусского литературного языка, обусловленным социально-экономическими и политическими причинами, которые привели к двухвековому перерыву в функционировании письменного белорусского языка. Среди этих особенностей выделены: утрата значительной части лексики, в частности книжной, многих слов с абстрактными и отвлеченными значениями, лексики, связанной со сферами официальной деятельности; бытование сохранившихся заимствований в устной диалектной среде; повторные заимствования из русского и польского языков и др. Здесь более, чем в предыдущей части монографии, ощущается потребность в характеристике лексической системы не только в плане сфер ее практического применения, но и в плане принадлежности к тем или иным функциональным стилям.

Весьма убедительны и аргументированы наблюдения над различными типами взаимодействия лексики равноправных языков народов Советского Союза — близкородственных и относящихся к разным языковым семьям (стр. 278—279). Интересно рассмотрение изменений в топонимической номенклатуре, вызванных новыми социальными условиями (стр. 284).

Коллективный труд белорусских ученых имеет важное значение не только для белорусского языкознания. Выход в свет «Гістарычнай лексікалогіі беларускай мовы» следует расценивать как обнадеживающее начало в серии обобщающих и специальных исследований по исторической лексикологии восточнославянских языков. Наблюдения и размышления авторов рецензируемой работы представляют несомненный интерес и для исследователей истории других славянских языков и будут способствовать более углубленной научной разработке многих вопросов, в первую очередь — выявлению общих и специфических черт близкородственных восточнославянских языков на определенных синхронных срезах. Работа белорусских языковедов является как бы развернутым приглашением к активному обмену мнениями и выработке общей точки зрения, соответствующей новому этапу развития лексикологических исследований, впервые базирующихся на огромном документальном материале картотек исторических словарей русского, белорусского и украинского языков.

У. Я. Едлинская, В. Л. Карпова

¹¹ Ср.: «Лексика Палесся у прасторы і часе», Минск, 1971; «Лексика Полесья», М., 1968; П. У. Стэцко, Прадметно-бытавая лексіка зэльвенскіх гаворак, Минск, 1962; І. М. Шарбакова, Прадметная сельска-гаспадарская лексіка мінска-маладзечанскіх гаворак, «Вопросы литературы и языка», Минск, 1968.

J. Praninskas. Trade name creation. Processes and patterns.—The Hague—Paris, Mouton and Co., 1968. 115 стр.

Прикладное языковедение в последние годы становится все более многосторонним и перспективным. Помимо лексикографии, документалистики, исследований в области информационно-поисковых языков и машинного перевода, т. е. уже вполне привычных для лингвиста сфер прямой или опосредованной реализации его усилий, языковедческих изысканий требуют экономика и торговля. В эпоху быстрого промышленного прогресса появляются определенные затруднения при наименовании широкого потока новых товаров. Эти трудности усугубляются требованиями рекламы: новый вид товаров должен получать достаточно «привлекательное» обозначение и соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к товарным знакам. Проблема знаков, столь актуальная для товарооборота, в наше время разрабатывается на научно-лингвистической основе и при этом неизбежно затрагивает смежные и несмежные с языковедением области: экономику, политику, историю, фольклористику и др. В пределах же самой лингвистики указанную проблему, видимо, следует относить к социопсихологическому аспекту ономастики и рассматривать ее в тесной связи с вопросами антропоники и топонимики.

Автор монографии Дж. Праинскас провел специальное исследование в этой своеобразной области науки и не только описал существующие в практике методы создания товарных знаков на материале английского языка, но и дал вполне конкретные рекомендации на будущее. Таким образом, исследование имеет самый непосредственный выход в практику.

На конкретном материале (выборка составляет 2000 словесных товарных знаков) автор дает всестороннюю характеристику этого особого пласта лексики, приближающегося по своему характеру к мета-языкам терминологии или к искусственным информационным языкам. Подход автора к товарному знаку как к языковому знаку — слову представляется оправданным, поскольку в дальнейшем оказывается возможной характеристика исследуемого материала на всех уровнях. Соответственно, композиция монографического исследования отражает этот основной принцип. В первых четырех главах речь идет об особенностях графического оформления товарных знаков («Graphemics»), об их морфемном составе («Morphemics»), о синтаксической структуре («Syntaxics») и об их семантической мотивированности («Semantics»). За пятой главой под названием «Эстетика» («Aesthetics») следуют общие выводы. Книга завершается приложением, которое состоит из двух частей: из глоссария, содержащего весь исследуемый материал, и из библио-

графического списка. Основному корпусу книги предшествует содержательное введение, в котором сообщается о принципах выборки материала и об источниках. Отмечается, в частности, что, ограничивая материал, автор руководствуется следующим принципом: лингвистическому описанию подлежат те наименования, в которых просматривается «соотношение между словом и вещью».

Перечисляя источники, Дж. Праинскас подчеркивает, что исследуются только товарные знаки, возникшие на базе естественного языка, и при этом (что небезынтересно) процесс их моделирования как бы иллюстрирует в миниатюре все основные процессы живого языка: заимствования из классических или современных языков, из сленга, влияние народной этимологии и т. п. Несколько удивляет, однако, что имена собственные, которые упоминает автор, перечисляя источники создания товарных знаков, занимают слишком скромное место в работе, что отчасти оправдывается отгравными принципами отбора материала. С самого начала исследования автор стремится занять сдержанную и объективную позицию: не противопоставляя пласт товарных знаков естественному языку, он детально анализирует особенности своего материала.

Первая глава монографии («Графемика») посвящена графическому оформлению словесных товарных знаков. В целях рекламы традиционная орфография подвергается изменениям разных типов, упрощению за счет элиминирования отдельных гласных и согласных графем (HAVANART ¹ < have a heart, GLASSBAKE < glassbake), целых графических комплексов (EVERBRITE < ever bright), силлабической репрезентации (GARD-N-GRO < garden grow), слогового наложения (FASTEETH < fast teeth).

Автор обращается к истории английского языка с тем, чтобы найти в ней объяснение некоторых особенностей графики товарных знаков. Представляется сомнительной трактовка удвоения согласных в «Ормулуме» как «стилистического средства» (a stylistic device), и очень спорным кажется стремление объяснить таким образом одну из особенностей графики современной рекламы.¹ Заметим попутно, что удвоение консонантов в «Ормулуме» принадлежит к одному из неясных вопросов исторической фонетики, ибо версия об удвоении такого рода как о «долгом» согласном, является не единственно возможной. В то же время экскурс в историю языка, а также обзор современного английского

¹ Здесь и ниже товарные знаки, по существующей традиции, выделяются заглавными буквами.

вокализма¹ и консонтизма придают этой части исследования необходимую глубину.

Автор отмечает широкое употребление дефиса для соединения структурных элементов товарных знаков.

В главе «Морфемика» излагаются способы словообразования товарных знаков. Это — перестановки (rearrangements) типа ALAMAC < McALester, сокращения (LUX < luxury), акронимизация (BT < breakfast treat), аффиксация (BIO-MIRACLE, OVENETTE). Кроме традиционного выделения суффиксов используемых товарных знаков, автор описывает суффиксы, специфические для данной сферы лексики (commercial suffixes), такие, как -a, -an, -ax, -drin, -ex и др. (например, FUTURA, ACRILAN, SOLAX, ACIDEX). Кроме того, что автор не включает в перечень суффиксов товарных знаков формант -co, зарегистрированный как таковой в слове Вебстера². В специальных параграфах под общим названием «Псевдосложение» («Pseudo-compounding») автор описывает случаи образования товарных знаков путем соединения полнозначной и усеченной основ. Несмотря на высокую продуктивность ряда усеченных основ, на закрепленную постпозицию и распространение их только в данном слое лексики, автор не рассматривает их как особые суффиксы товарных знаков (имеются в виду форманты -matic, -tronic, -lux), что представлялось бы справедливым с нашей точки зрения (ср., например, POWERMATIC, POST-TRONIC, ELECTROLUX, ZEROTEX).

Композиция главы «Синтактика» представляется не вполне удачной, поскольку ту часть материала, которая связана с вопросами словообразовательного анализа, было бы уместнее исследовать в предыдущей главе. В главе «Синтактика» дается детальный анализ синтаксических отношений между компонентами сложного слова. При этом сложное слово понимается автором довольно широко (определение дано в работе на стр. 61), так как в него включаются и случаи с синкопированием, и товарные знаки с раздельно написанными компонентами. Автор предлагает интересную классификацию типовых отношений между членами многокомпонентных товарных знаков. Включение конверсии, называемой автором «функциональным сдвигом» (functional shift), в главу «Синтактика» представляется спорным.

Главы «Семантика» и «Эстетика» объединяются общностью задач, которые ставит перед собой автор, а именно — исследовать как лингвистические, так и «металингвистические» мотивирующие факторы (motivating forces). Однако в работе нет четкого определения этих факторов.

При рассмотрении материала автор исходит из того положения, что «отношения между референтом и товарным знаком являются подчиненными отношениями между наименованием товара и его потенциальным покупателем» (стр. 77). Иными словами, товарный знак создается не для того, чтобы охарактеризовать предмет, а для того, чтобы ускорить его сбыт. В процессе создания товарных знаков используются суггестивная и эмоционально-экспрессивная функция естественного языка. Исходя из этого положения, автор противопоставляет суггестивные товарные знаки, которые он находит более «тонкими» (subtle), знакам информативным. Суггестивные знаки, не содержащие конкретной информации (знаки типа ALL DUZ! = does all), позволяют покупателю самостоятельно судить об использовании и достоинствах товара.

Исследователь указывает, что в процессе создания товарных знаков учитываются субъективные черты покупателя, обусловленные характером общества. Это — стремление экономить энергию и время (EASY, ONE WIPE), продвигаться в обществе (AMBASSADOR), бережливость (ONE-A-DAY) и др.

Мотивированность такого рода представляется нам неполной. Если рассматривать вопрос о мотивированности товарного знака в свете развиваемой отечественными языковедами теории имени собственного, то окажется, что словесный товарный знак имеет двупланную семантическую природу³ и что в сфере товарных знаков целесообразно выделять различные типы значений. Так, по аналогии с выделенными В. А. Никоновым топонимическим и дотопонимическим значениями (на топонимическом материале), а также антропонимическим и доантропонимическим значениями⁴ (на антропонимическом материале)⁴, можно, по нашему мнению, и в области товарных знаков различать ономастическое и доономастическое значение. При этом первое из них может иметь обобщенную дефиницию типа *a sort of adding-machine* (для словесного товарного знака LIGHTNING), а второе (доономастическое) значение совпадает со словарной дефиницией для соответствующего значения имени нарицательного lightning («a flash of light in the sky caused by the discharge of atmospheric electricity from one cloud to another or from a cloud to the earth»)⁵.

³ В. А. Москович, Товарные знаки, сб. «Ономастика», М., 1969, стр. 256.

⁴ В. А. Никонов, Введение в топонимику, М., 1965, стр. 57—63; его же, Личные имена в современной России, ВЯ, 1967, 6, стр. 105.

⁵ Словарная дефиниция приводится по словарю «Webster's new world dictionary».

² «Webster's new world dictionary», New York, 1966, стр. 278.

Неразличение автором рецензируемой монографии типов значений и пренебрежение теорией ономастики приводит к недифференцированному подходу к истокам возможных ассоциаций при создании нового товарного знака.

В главе «Эстетика» Дж. Пранинскас рассматривает поэтические и другие литературные приемы, использующиеся при создании товарных знаков. Это — рифма (например, SPEED FEED), аллитерация (PICK-A-PAK), прония (ANT DINER), гипербола (FITZ-ALL), персонафикация (AIR MAID), метонимия (PILLOW WALKS — товарный знак для обуви), метафора (TURTLE BACK — *a sponge*), архаические формы (WEED-B-GONE < *Weed be gone*), избыточная информация (PREDICASTS < *predict and forecast*), множественность выбора, напоминающая каламбур (B-KLEER — где компонент В — может быть либо первой буквой слова *bottle*, либо речь о товарном знаке состава для мытья бутылок, либо этот же компонент может рассматриваться как начальная буква слова *be*, т. е. B-KLEER < *Be clear!*).

Включение в главу «Эстетика» стяжений, основанных на контаминации компонентов товарного знака (*blends*), представляется не вполне удачным, поскольку этот материал скорее принадлежит главам «Синтактика» и «Морфемика».

К числу достоинств монографии относится неизменное стремление автора резюмировать свою работу в выводах по главам и по книге в целом. Сочетание синхронного подхода к анализируемым явлениям с элементами диахронии проведено с необходимым научным тактом, несмотря на отдельные ошибочные гипотезы автора.

Нагляден и убедителен лексический материал, представленный в приложении. Солидные библиографические источники, среди которых выделяются труды классиков американской лингвистической школы, подкрепляют наше мнение о рецензируемой работе как о серьезном труде, свободном от конъюнктурного подхода к социолингвистическому материалу. Автор вполне убеждает читателя в том, что словесные товарные знаки, будучи ори-

гинальным пластом лексики, не выходят за пределы естественного языка. Отдельные просчеты автора в трактовке тех или иных проблем не снижают общелингвистического значения работы, так как многие принципиальные вопросы лингвистики попадают в поле зрения исследователя. Мы имеем в виду проблему отдельности слова и в особенности вопрос о разграничении сложного слова и словосочетания, мотивированность языкового знака, вопрос о графической традиции, вопросы словообразовательного анализа и др. Подобные вопросы было бы полезно в будущем осветить нашим исследователям на материале советских товарных знаков с привлечением разных по строю языков народов СССР, синхронно и в историческом плане, сопоставляя с рекламой США и других стран, с учетом социальных различий. Интересные работы по товарным знакам были опубликованы сотрудниками ЦНИИПИ и другими советскими исследователями за последние годы как в нашей стране, так и в зарубежной печати⁶.

Вопрос о товарных знаках, являющийся центральным при изучении языка рекламы, не исчерпывает новой языковедческой проблематики. Представляется перспективным также научный анализ синтаксиса и стилия языка рекламы.

З. П. Комолова, А. Е. Карпович

⁶ Например: W. A. Moskowich, *Typological classification of information retrieval languages and transcriptions*, «Information retrieval among patent offices, 7-th annual meeting [of the United International Bureau for the protection of intellectual property]», ed. by H. Pfeffer, Geneva, 1968; А. Л. Василевский, «Некоторые особенности языка патентной литературы», «Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно-технической информации», I, М., 1967; З. П. Комолова, Семантическая мотивированность прагматиков (на материале товарных знаков СССР и США), сб. «Вопросы семантики», М., 1971.

«System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe». I. Numeruszeichen und Nominalflexion. Von Ago Künnap.—Helsinki, 1971, Suomalais-Ugrilainen Seura. 204 стр. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia. 147).

Рецензируемая книга А. Кюннапа состоит из краткого предисловия (стр. 3—4), введения, трех глав (I. — Показатели числа, стр. 18—55; II. — Падежные окончания, стр. 56—155; III. — Притяжательные суффиксы, стр. 156—182) и ряда приложений

(источники цитируемых самодийских материалов, литература и принятые сокращения, парадигмы словоизменения камасинского языка из неопубликованной рукописи М. А. Кастрена, небольшой отрывок текста, записанного автором книги,

с переводом на немецкий язык — стр. 183—201)¹.

Во «Введении» (стр. 7—17) даются краткие сведения о камасинском языке как единственном еще в какой-то мере сохранившемся самодийском языке Саянского нагорья и его носителях, о двух последних информаторах, уроженках селения Абалаково на Саянах, об источниках, содержащих материалы камасинского языка, сообщаются сведения о более ранних работах по этому языку и о принятой в исследовании транскрипции.

Композиция книги в целом продумана последовательно. Камасинский язык, как и другие самодийские языки, не имеет специального показателя ед. числа, и в двух разделах первой главы (стр. 18—55) анализируются соответственно оформители двойств. числа (стр. 18—31) и оформители мн. числа (стр. 31—55). Оба раздела построены по однотипной схеме: вначале сообщаются материалы камасинского языка, причем выделяются числовые формы существительных, местоимений, и особо рассматривается, как передается число в лично-притяжательных суффиксах и личных окончаниях; затем приводятся сведения из других саяносамодийских языков и данные селькупского языка. В каждом разделе приводятся соответствующие материалы и по северносамодийским языкам: юракскому (по нашей терминологии, ненецкому), енисейско-самоедскому (resp. энецкому), тавгийскому (resp. нгансанскому)². Необходимость привлечения сведений по другим самодийским языкам, в том числе северносамодийским, диктуется принятым в работе сравнительно-историческим методом. В заключение каждого раздела обсуждается вопрос о происхождении данного числового показателя камасинского языка и возможных источниках его возникновения, причем обстоятельно излагаются существующие по этому поводу точки зрения. В ходе изложения обосновываются выводы автора книги, а реконструкция праформ доводится сначала до древнесамодийского, а затем — до древнеуральского праязыкового состояния.

Наибольшей по своему объему является, естественно, вторая глава (стр. 56—

155), в которой рассматриваются падежные форманты; строится она по тому же плану, что и первая глава.

В камасинском языке имеется два склонения: абсолютное и притяжательное. В абсолютном склонении выделяется семь падежей: номинатив, генитив, аккузатив, латив, локатив, аблатив и инструменталь. В притяжательном склонении только четыре падежа: «номинатив-генитив-аккузатив», «латив-локатив» (как их называет автор), аблатив и инструменталь; лишь в единичных случаях встречаются отчетливо выраженные притяжательные формы генитива и локатива. Падежные форманты, по мнению А. Кюнпапа, свойственны существительным, прилагательным, местоимениям, наречиям, послелогам, инфинитным формам глагола. В ед. и мн. числах употребляются одни и те же падежные окончания, но в ед. числе они присоединяются к основе, во множественном — к показателю числа. Вполне аналогичную структуру имеют падежные формы ед. и мн. чисел селькупского языка, отличающегося тем самым от северносамодийских языков.

Каждый падеж описывается отдельно в указанном для первой главы порядке, сначала в абсолютном, потом — в притяжательном склонении. Для параллельного рассмотрения падежных форм притяжательного склонения с падежными формами абсолютного склонения имеются основания, хотя стройность изложения выиграла бы от их отдельного анализа, тем более что по своему количеству они не совпадают. Так, форма «номинатива-генитива-аккузатива» притяжательного склонения включена в число параграфов, отведенных генитиву абсолютного склонения, а форма «латива-локатива» притяжательного склонения дается после аблатива абсолютного склонения.

При характеристике каждого падежа освещаются особенности его образования и употребления в предложении. Приводятся соответствующие иллюстрации, аналогии с другими самодийскими языками, а в ряде случаев — и с аналогичными формами финно-угорских языков и уральского праязыка. В книге критически суммируются взгляды на данную форму и ее происхождение исследователей уральских языков.

Из числа субъектно-объектных падежей³ довольно большое место отведено генитиву. И это не случайно. В зарубежной литературе вопрос о происхождении генитива и даже о правомерности его вы-

¹ Книга основывается на более раннем исследовании автора [А. Ю. К ю н п а п, Флективные суффиксы камасинского языка (в сравнении с флективными суффиксами других южносамодийских языков). Автореф. канд. диссерт., Тарту, 1969], успешно защищенном в качестве кандидатской диссертации (рукопись ее хранится в Институте финно-угорских языков при Тартуском гос. университете).

² Названия самодийских языков сохраниены А. Кюнпапом в том виде, как они даны в свое время М. А. Кастреном и продолжают применяться в большей части зарубежной литературы.

³ При определенной структуре предложения имя в форме генитива северносамодийских языков употребляется для выражения субъекта действия, а в энецком языке — и для выражения прямого объекта. Тем самым имеются основания для отнесения этой падежной формы к числу субъектно-объектных падежей.

деления в качестве особой падежной формы остается еще в известной мере дискуссионным. Так, по мнению И. Н.-Шебештена, генитив в парадигме флексий камасинского языка (как и других самодийских языков) является лишь «теоретическим падежом», а показатель этой формы *-n отождествляется ею с суффиксом одного из локативных падежей⁴.

Имеющийся камасинский материал, а также данные других самодийских языков, по нашему мнению, не мотивируют объединения генитива и латива камасинского языка в одну падежную форму. Представляется, что автор рецензируемой работы совершенно прав, говоря о том, что функция данной падежной формы соответствует нашим представлениям о генитиве и нет повода искать для нее другого наименования.

Характерно, что А. И. Йоки на материале ныне исчезнувших саяносамодийских языков установил, что форма генитива выражалась в них также суффиксом *-n. Согласно взгляду ряда исследователей (Б. Коллиндера, Э. Итконена, П. Хайду, Й. Ангера), суффикс генитива *-n встречается уже в древнеуральском языке. Другая часть уралистов (Д. В. Бубрих, Б. А. Серебренников, П. Равила, Л. Кеттунен, Й. Фаркас) считает, напротив, что этот формант развился из какого-то другого, обособленно в отдельных языковых группах или языках. По мнению А. Кюннапа, в древнесамодийском языке уже имелся суффикс *-n, назначением которого было выражение генитивных функций. Этот суффикс бесспорно связан с генитивным суффиксом -n финно-угорских языков.

Действительно, материальная общность форманта генитива во всех самодийских языках (как в современных, так и в ныне исчезнувших языках Саянского нагорья) позволяет считать, что он существовал уже во времена древнесамодийской языковой общности.

Нет единой точки зрения и в отношении образования аккузатива. Одни уралисты считают, что суффикс этого падежа *-m существовал уже в древнеуральском языке (Б. Коллидер, Б. Викман, Э. Итконен, П. Хайду, Й. Ангере, В. Таули); по мнению же других, эта падежная форма имеет довольно позднее происхождение (П. Равила, Й. Фаркас).

Исходная форма аккузатива на *-m имеется в финно-угорских языках — прибалтийско-финских, саамском, марийских, мордовских, мансийском. Как полагает А. Кюннап вслед за А. И. Йоки,

древнесамодийский аккузатив на *-m восходит к тому же источнику, что и одноименная форма финно-угорских языков.

Привлекая к сопоставлению соответствующие данные других самодийских языков, можно предполагать, что первоначально номинатив, генитив и аккузатив иртяжательного склонения были обособленными. Вместе с тем и тогда в ряде случаев наблюдалось, по-видимому, совпадение отдельных лично-иртяжательных формантов.

Выяснение происхождения и первоначальной системы падежных флексий, в особенности у пространственных падежей, является нелегкой задачей. Каждая из этих форм характеризуется большим количеством формантов, не все из которых объясняются фонетически. В разных падежах используются порой одни и те же суффиксы. Первичные функции некоторых падежей нередко утрачены. Заслуга А. Кюннапа состоит в том, что он с достаточной полнотой подытожил существующие точки зрения по этому вопросу, особо выделив те из них, которые представляются ему наиболее вероятными, привлекая к исследованию новые языковые данные.

Не подлежит сомнению, что в возникновении пространственных падежей значительную роль играли местоименно-наречно-последельные частицы. Этот процесс наблюдается и в настоящее время в ряде образований севернесамодийских языков, однако вряд ли стоит преувеличивать значение данного фактора.

Особый интерес представляет вопрос об инструментальном падеже, который из других самодийских языков выделяется только в селькупском. Таким образом наличие особого падежа для выражения орудийности составляет особенность южносамодийских языков. Помимо своей прямой функции, эта падежная форма служит и для выражения совместности действия. В селькупском языке, кроме инструментального падежа, отмечается также комитатив, суффикс которого -nopti образуется, как показал А. И. Йоки, из форманта генитива -n и формы латива числительного «один».

Вопрос о происхождении инструментального падежа остается не вполне ясным. Не очень помогает и попытка связать формант этого падежа с конечным компонентом -š назначительно-превратительной (или: назначительной) формы ненецкого и энецкого языков. Образование последней еще вполне очевидно — она складывается из сочетания имени в номинативе с вспомогательным глаголом «быть». Такое предположение, высказанное применительно к ненецкому языку Г. Н. Прокофьевым, вполне подтверждается материалами окранных диалектов этого языка — канинского и таймырского. Таким образом, суффиксы -ye, -yeš, -š в ненецком языке — диалектные разновидности одной и той же суффиксальной морфемы,

⁴ I. N.-S e b e s t y é n, Die possessiven Fügungen im Samojedischen und das Problem des uralischen Genitivs, AL, VII, 1957, fasc. 1—2, 1958, fasc. 3—4; е е ж е, Zum Problem des samojedischen und des uralischen Genitivs, «Commentationes fennougricae», Helsinki, 1962.

например: большеземельск. *zabekeze*, таймырск. *zabekezes*, канинск. *akbes* «ребенком». Очень показательны в этом отношении данные энецкого и особенно иганасанского языков.

В составе падежных форм камасинского языка (в отличие от других самодийских языков) ни К. Доннером, ни А. Кюннапом не зафиксированы формы просективата (по нашей терминологии, продольного падежа).

Третья глава (стр. 156—182) посвящена рассмотрению посессивных суффиксов. Все посессивные суффиксы камасинского языка распадаются на две группы. Первую группу составляют те из них, которые употребляются у имен в форме «номинатива-генитива-аккузатива» и инструментального падежа, вторую — у имен в форме «латива-локатива» и аблатива. Наряду с регулярным употреблением этих суффиксальных морфем встречаются исключения: суффиксы первой группы могут иногда сочетаться с формами латива и локатива.

Согласно принятой схеме, вслед за посессивными суффиксами камасинского языка приводятся посессивные суффиксы других саяносамодийских языков, затем анализируются этого рода форманты в селькупском и в северносамодийских языках, выводятся первоначальные формы под знаком астериск и возводятся в конечном счете к древнеуральским посессивным формам.

В целом книга А. Кюннапа представляет собой по существу сравнительно-историческое исследование флективных суффиксов числа и падежа всех самодийских языков. Проводимые реконструкции представляются мотивированными и в значительном большинстве подкрепляются фактами современных самодийских языков. В добавление к основательно проштудированной автором литературе по уральским языкам, изданной в СССР и за рубежом, было бы желательно несколько шире отразить в работе взгляды и наблюдения советских языковедов (в первую очередь — Д. В. Бурбиха, Г. Н. Прокофьева, Б. А. Серебренникова, К. Е. Майтинской).

Автором книги, насколько это было возможно, привлечены архивные материалы по ныне исчезнувшим самодийским языкам Саянского нагорья (маторскому, карагасскому, койбальскому, тайги). Что касается камасинского языка, то А. Кюннапом тщательно изучены как опубликованные работы М. А. Кастрена, К. Доннера, так и их архивные материалы, хранящиеся в Хельсинском университете. Значительная часть материалов по камасинскому языку собрана самим автором во время поездок в Сибирь, причем заснята им на пленку.

В отношении камасинского и других саяносамодийских языков А. Кюннап законно опирается на работы А. Йо-

ки, в которых факты этих языков получили наиболее полное освещение⁵. Им также учтены высказывания этого ученого как в общетеоретическом плане, так и в отношении селькупского языка.

На имеющихся неточностях в трактовке материалов северносамодийских языков остановлюсь лишь в тех случаях, когда они представляются существенными для построения некоторых выводов. Неясны, например, основания для выделения в ненецком (по терминологии А. Кюннапа, юракском) языке особого показателя двойств. числа *-saɣa* с его фонетическими вариантами (стр. 25) — слово *jufo/saɣa* в словосочетании *šid'e jufo/saɣa* «два приятеля» имеет иную морфологическую структуру: *jufo/s/a/ɣa* (ср.: двойств. число *jufoša-ɣa*, мн. число *jufoš-*). Тем самым отпадает возможность для реконструкции на этой основе древней южносамодийской формы двойственного числа **-sV ~ *zV* (стр. 27).

Сомнительно, чтобы конечный звук *ʝ* в личных местоимениях иганасанского языка являлся показателем мн. числа. Та же основа в ряде случаев выступает в ед. и в дв. числах. Например: *tyɣ-gü"mü-ntə* «ты-ведь», *tyɣ-gü"mü-nd'i* «вы-двое-ведь», *tyɣ-gü"mü-nd'i* «вы-многие-ведь». Утвердительный суффикс *-gü"mü* вклинивается в состав личных местоимений (ср. ненецк. *pyd-ħaβa-r* «ты-то», *pyd-ħaβa-fi* «вы-двое-то», *pyd-ħaβa-ra* «вы-многие-то»).

Касаясь вопроса о том, насколько велико было в прошлом различие между двойств. и мн. числами, может быть, следовало бы сослаться на существующее положение в северносамодийских языках. Во всех этих языках в отличие от селькупского способы выражения падежных значений в ед. и мн. числах, с одной стороны, в двойственном — с другой, различаются очень существенно. Склонение в двойств. числе здесь по сути дела отсутствует: вместо падежных выступают аналитические формы, состоящие из сочетания имени в двойств. числе с тем или другим послелогом.

Говоря, что форма номинатива в камасинском языке в виде исключения используется в функции наречия, А. Кюннап ссылается и на другие самодийские языки, в которых, по его словам, можно наблюдать аналогичное положение, прежде всего при выражении времени, места, орудийности. В доказательство приводятся

⁵ См. вступление (стр. XII—LI) и грамматическую часть (стр. 119—190), написанные А. Й. Йоки, в кн.: «K. Donners Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik», Helsinki, 1944; A. J. Jokki, Die Lehnwörter des Sajansamojedischen, Helsinki, 1952; его же, Über das Element *n* in der samojedischen Deklination, Helsinki, 1971.

примеры из ненецкого языка. Однако такие понятия, как «в этом году», «ночью», «ножом» и др., происходят от существительных в форме генитива, а не номинатива. Особенно отчетливо сказывается это во мн. числе и в лично-притяжательном склонении: *Tubci' matorpido'* «Они рубят топорами»; *Haranda madada* «Он разрезал своим ножом». В селькупском языке употребление номинатива для выражения времени действия возможно в единичных случаях.

Вообще сомнительно наблюдаемое в книге отождествление разноплановых по своему назначению грамматических форм: номинатива и основы имени.

Вряд ли можно ставить в один ряд «падежные окончания» существительных, прилагательных, местоимений, с одной стороны, и наречий, послелогов — с другой. Как по образованию, так и по употреблению между соответствующими формами имеются принципиальные различия.

Думается, что фонетически не оправдывается связь реконструируемого древнесамодийского суффикса латива, локатива, аблатива *-*kV*, в частности, с ненецким суффиксом *-hi/-gi/-ki* (стр. 126—127). Суффикс *-hi* явно восходит к слову *hij* «окрестный; близлежащий, находящийся поблизости», и имеет, по-видимому, не столь давнее происхождение. Конечный гласный этого форманта в отличие от других образований с начальным *h* суффикса не подвергается ассимиляции. Ср., например: *pédara-hi* «лесной» и *pédara-had* «из леса», *to-hod* «из озера», *pe-hed* «из камня» и т. п.

Неясны семантические и формальные

обоснования для возведения ненецкого глагола *táña-s* «иметься» к сочетанию наречия *táñá'* «туда» и вспомогательного глагола *jes* «быть».

При реконструкции древних форм, вероятно, не всегда напрашивается однозначное решение. Поэтому в ряде случаев может быть полезен учет реально существующих языковых фактов.

В заключение следует сказать, что выход в свет рецензируемой книги можно только приветствовать. В проводимых исследованиях самодийских языков южносамодийским (за исключением селькупского) уделялось совершенно недостаточно внимания. До недавнего времени считалось, что все саяносамодийские языки полностью утрачены. Начиная с 1963 г. топонимическими экспедициями Уральского гос. ун-та под руководством А. К. Матвеева собран довольно значительный языковой материал от двух старых женщин, уроженок селения Абакаково на Саянах (Клавдии Плотниковой и Александры Жибьевой). Однако работ, которые вводили бы в научный оборот эти материалы, опубликовано не было.

Рецензируемая монография А. Кюннапа, дающая на современной научной основе тщательно подобранные и систематически изложенные данные камасинского языка в сравнении с фактами других самодийских, а также финно-угорских языков, несомненно, имеет существенное значение для дальнейшего развития сравнительно-исторической уралистики.

Н. М. Терещенко

В. П. Рассадин. Фонетика и лексика тофаларского языка. — Улан-Удэ, Буятское книжное изд-во, 1974. 250 стр.

В рецензируемой монографии впервые с наибольшей полнотой, точностью и достоверностью описывается фонетический строй и характеризуется лексика до настоящего времени еще малоизученного бесписьменного языка одной из небольших тюркских народностей — тофаларов (автор называет их тофами), или карагасов, которая проживает на северных склонах Восточных Саян. Монография базируется на полевых записях автора за период с 1964 по 1969 г., сделанных им на основе слухового метода в точной фонетической транскрипции. В процессе работы автором были проверены и уточнены лексические материалы, представленные в известных работах М. Кастрена, Н. Ф. Катанова, Н. П. Дырнковой. Описание фонетического строя языка тофаларов основано также на субъективно-слуховом методе (см. об этом «Предисловие», стр. 3).

Книга состоит из трех частей: описание фонетики тофаларского языка, общая характеристика лексики и приложение — словарь корневых основ. В небольшом «Введении» (стр. 4—9) сообщаются некоторые данные об истории и быте тофаларов, краткие сведения об истории изучения их языка, о месте последнего среди других тюркских языков, освещаются возможности установления фонетических и лексических различий в речи жителей селений Алыгджер и Верхняя Гутара Нижнеудинского района Иркутской области, административных центров двух сельсоветов, основных мест проживания тофаларов.

Раздел «Фонетика» (стр. 11—68) состоит из трех глав. В гл. I (стр. 15—38) подробно описывается вокализм тофаларского языка. В основу классификации фонем (как гласных, так и согласных)

положена система Л. В. Щербы, уточненная применительно к тюркским языкам В. М. Наделяевым (в ней учитываются шесть степеней подъема языка и четыре артикуляционных ряда). При наличии в тофаларском языке гласных всех шести степеней подъема фонематическое значение установлено В. И. Рассадным лишь для четырех степеней (широкие — а, э; полуширокие — е, е, э, ё; полуузкие — ы, и; узкие — i, u, ü), а из артикуляционных рядов в этом языке представлены передний, центральный и задний. Интересна отмеченная автором акустическая идентичность тофаларских гласных центрального ряда (ü, ö, ö, ё) с адекватными звуками бурятского и халха-монгольского языка, что отличает в области огубленных гласных тофаларский язык от других тюркских языков (стр. 17—18). В этом же языке наличествует фонематическое противопоставление кратких и долгих гласных (вторичных по происхождению), хотя, как отмечает автор, сама длительность в зоне кратких и долгих фонем может колебаться в известных пределах по чисто фонетическим причинам.

Значительный интерес представляет для тюркологов и наличие в тофаларском языке, как и в тувинском, фарингализованных гласных, по длительности всегда кратких и на слух производящих впечатление «гласных, произнесенных отрывисто и как бы сдавленным голосом, при этом в конце гласного бывает подобие придыхания» (стр. 20). Характерно, что эти гласные выступают всегда в первом слоге слова и только перед глухими сильными согласными [t, q, k, p, s, š] и сочетанием *rt* (кроме слова *dört* «четыре»). В. И. Рассадин в объяснении явления фарингализации склоняется к точке зрения о влиянии на тофаларский и тувинский языки самодийского или иного языкового субстрата (стр. 20—22, 93).

Консонантизм тофаларского языка описывается во II гл. (стр. 39—51). Выделяется тройственное противопоставление согласных: сильные, слабые и сонанты. Первая группа согласных, характеризующаяся относительно большей напряженностью артикулирующих органов и большей воздушностью, остается глухой в любых позициях внутри слова. Слабые согласные комбинаторно могут быть звонкими и глухими, а также полувзвонками и полуглухими. Сонанты могут быть определены также как сверхслабые согласные.

В гл. III «Звуки в потоке речи» (стр. 52—67) рассматриваются особенности гармонии гласных в тофаларском языке, явления чередования и варьирования гласных, а также редукции, элизии, протезы и других фонетических процессов; обобщенно даются закономерности употребления согласных в слове, их сочетаемости и ассимиляции; описываются факты метатезы, гаплогонии, стяжения. Варьирование гласных в первом слоге представ-

лено в ряде слов, причем оно может отмечаться как в речи одного и того же лица, так и в произношении разных лиц (*šubaras̄/šubaras̄/šabaras̄* «кабарга», *tuɣpʰ/tyɣpʰ* «найти», *tɕa/tyɕa* «тофа», *itek/etik* «обувь»), узкие могут варьировать и в первых слогах (*ɕnuš/ɕnyš* «болото», *ɕlur/ɕlɕr/ɕlyr* «садись»). Автор отмечает чередования типа внутренней флексии в некоторых прилагательных для выражения количественной оценки признака (*nibge* «тонкий» — *ɕingi*: «тонюсенький», *arqalar* «тихо» — *arqal'ir* «тихонечко, тихо-тихо»), хотя здесь можно предположить и эмфатическое удлинение и сужение гласного последнего слога. Особенностью тофаларского языка в области согласных является различие сильных и слабых согласных в интервокальном положении и в конце слова (стр. 60—61).

В двух главах второй части рецензируемой книги подробно анализируется соответственно тюркская лексика в тофаларском языке (гл. IV, стр. 71—87) и нетюркская (гл. V, стр. 88—125), в гл. VI (стр. 126—145) дается семантическая характеристика всей лексики. Для анализа тюркской лексики берутся преимущественно корневые слова и некоторые производные, но «из них лишь те, которые уже были таковыми в древнетюркском языке» (стр. 71). Далее приводятся списки таких слов по частям речи, а внутри каждой из них (где возможно) — по лексико-семантическим группам.

Кроме общетюркских основ (их взято около 800), выделяются тофаларские слова, корреспондирующие с лексикой отдельных групп тюркских языков или даже отдельных языков. Таким образом в тофаларском языке выделяется огузская лексика, уйгурская лексика, киргизская, кыпчакская и отдельно — древнетюркская, кроме того, выделена тюрко-монгольская лексика, являющаяся, по данным автора, общей для тюркских и всех монгольских языков. Нам представляется спорным стремление автора такие тофаларско-тюркские соответствия объяснять лишь как непосредственный результат древних влияний и контактов (стр. 81—83), т. е. рассматривать все это как свидетельство о «каких-то самостоятельных связях носителей тофаларского языка с огузами, уйгурами, киргизами и кыпчакскими, существовавших, по-видимому, еще во времена тюркского, уйгурского и киргизского каганатов, так как исторически позднейших контактов тофаларов с указанными тюркскими народами не было» (стр. 81—82). Такое прямое объяснение синхронно сопоставленных лексических межъязыковых корреспонденций выглядит, по крайней мере, до исчерпывающей этимологической обработки, преждевременным. Непонятно, почему В. И. Рассадин полностью исключает такие возможности объяснения даже ареальных отдаленных соответствий, как результат,

например, общетюркского достояния или через общий источник заимствования и т. п. Остается не объясненным автором и основание, которое позволяет ему выделять «собственнотофаларские огузизмы» типа *beldi* «известно», *u : naq* «мелкий» (стр. 82).

В гл. V выделены слова неизвестного происхождения, т. е. такие, для которых автор пока не находит источника происхождения, и слова, имеющие параллели в самодийских, тунгусо-маньчжурских и кетских языках. Здесь наиболее детально разработан раздел о монгольских заимствованиях. На основании фонетических (особенности отражения монгольских звуков) и частью морфологических (структура слова) критериев автор выделяет среднемонгольские лексические заимствования XIII—XIV вв., иногда и более ранние (ср. стр. 37—38, 108—109), а внутри них иногда удается разграничить среднемонгольские и среднеойратские заимствования и более поздние заимствования преимущественно из западнобурятских говоров. В. И. Рассадин подчеркивает тот факт, что монгольские заимствованные глагольные основы не претерпели в тофаларском языке существенных изменений и употребляются в нем наряду с общетюркскими глаголами, в то время как в других случаях для образования глагольного понятия используется вспомогательный глагол *qyl-* «делать». Это явление он объясняет длительным монголо-тюркским двуязычием.

Автор прослеживает заимствования из русского языка как дореволюционного периода (с XVII в.), так и новейшего, когда русский язык приобрел важное общественно-политическое значение в жизни тофаларов.

В гл. VI рассматриваются изменения значений слов в тофаларском языке, выделяются омонимы, синонимы, антонимы, табу и эвфемизмы. С этнографической стороны особенно ценно здесь описание эвфемистических названий животных, связанных с древними культовыми представлениями. В словаре (стр. 151—240) представлены корневые основы и некоторые производные слова современного тофаларского языка. В нем указываются соответствия по языкам, включая древнетюркский, а для заимствованных слов язык — источник заимствования. Это дает автору основание называть свой словарь этимологическим, хотя такое название, как представляется, можно применить здесь лишь условно.

Точная фонетическая передача тофаларских слов, детальное описание звуков, богатые и добротные лексические материалы, полученные автором непосредственно от носителей языка, разнородные соответствия по различным тюркским языкам, интересные наблюдения по семантике тофаларских слов, выделение заимствований, сведения о путях и особен-

ностях освоения тофаларским языком монгольских, русских и других заимствований — все это позволяет высоко оценить книгу В. И. Рассадина. Теперь появилась возможность точнее определить место тофаларского языка среди других тюркских языков и уяснить его роль для тюркской исторической фонетики.

При чтении книги В. И. Рассадина возникают некоторые замечания. Из ранних сведений о карагасском языке автор не упоминает публикацию в «Этнографическом сборнике» (вып. 4, 1858) заметки «О карагассах», где имеются данные по их составу на январь 1851 г. (543 души) и список примерно в 200 слов (записаны в Сильпигурском улусе)¹.

Следует отметить, что вообще автор часто ограничивает себя в привлечении дополнительной литературы для более широкого освещения тех или иных проблем. Преимущественно это касается лексикологической части, которая могла бы еще более выиграть при использовании как новейших советских тюркологических и монголистических работ по лексике и словообразованию (А. Н. Кононов, Э. В. Севортян, Т. М. Гарипов, Т. А. Бертагаев и др.), так и зарубежных (Г. Дёрфер, С. Кадужинский, К. Менгес, Н. Поппе, М. Ряснен, Дж. Клоусон, К. Боуда и др.). Тем самым автор как бы закрывает себе пути для более полного освещения истории отдельных слов, особенно заимствований (см. стр. 83, где слово *uldu-* «сбить копыта» считается сохранившимся только в тофаларском языке, тогда как оно находит соответствие в тувинском глаголе *улда-* «бить, колотить» и в дериватах: тув. *улдур-* [уьлдур-], якут. *уллар-* «подшивать подметку», кирг. *ултар-* «шить обувь», тув. *улдуң*, якут. *уллуң*, др.-тюрк. *uldař*, кирг. *ултан*, кумык. *ултан*, уйг. *ултаң* «подошва; подметка; стелька»; др.-тюрк. *ulduq* «расквашенный», ср.: тюрк. *ул* ~ *ул* «основание; подошва» / совр. монг. *ул*, бурят. *ула*, калм. *ул*, старописьм.-монг. *ула* «подошва; подметка»; совр. монг. *улада-*, старописьм. монг. *ulada-* «хромать от езды, ходьбы; сбивать ноги (о животном)»; совр. монг., бурят. *улла-* «прошивать подметку драгтой»; к слову «неизвестного происхождения» *adyš* «ладонь» на стр. 89 ср. также турецк. *avuç* и т. д.). Возможное объяснение этого заключается, вероятно, в стремлении автора описать фонетику и лексику тофаларского языка как бы изнутри него самого, не определяя место того или иного явления в общетюркологическом плане.

Этого не компенсирует частая апелляция автора к древнетюркским языкам. Иногда кажется, что для В. И. Рассадина древнетюркский, точнее — древнетюрк-

¹ Немецкий перевод этой заметки см.: «Ztschr. für allgemeine Erdkunde», N. F., VIII, 1860, стр. 400—409.

ские языки, представляются синонимом общетюркского, а древнетюркские слова принимаются им за тофаларские праформы и этимоны. В фонетическом разделе, например, нередко говорится, что в тофаларском языке тот или иной звук или фонема появляется на месте определенного древнетюркского звука (тоф. $\text{ə}/\text{др.}-\text{тюрк. } \text{ĭ}$, тоф. $\text{ə}/\text{др.}-\text{тюрк. } \text{ı}$, тоф. $-\text{j} \sim -\text{j}'/\text{др.}-\text{тюрк. } -\text{j} \sim -\text{j}'$, тоф. $-\text{n}/\text{др.}-\text{тюрк. } -\text{j}$; см. стр. 26, 49, 59, 80). Однако в большинстве случаев тот облик слова, который мы находим в «Древнетюркском словаре» (или в ином подобном пособии) и который реконструирован на основе древнетюркской графики (представленной несколькими весьма неравноценными алфавитами!) и посредством интерполяции современных тюркских звуков, вряд ли допустимо приравнивать к общетюркской реконструкции, а также непосредственно сопоставлять с точной фонетической записью слова из современного живого языка.

Правда, В. И. Рассадин считает, что тофаларский язык (как и некоторые другие сибирские тюркские языки) относится к «языкам-наследникам древнетюркского языка» (стр. 83, 146), он также допускает, что «...тюркский язык существует у тофаларов давно, еще со времен орхонских тюрков, и независимо от тувинского языка подвергался влиянию языка (древних — Н. Л., Д. Н.) уйгуров, кыргызов, монголов и позднее бурят» (стр. 96). Действительно, в тофаларском языке наблюдаются отдельные фонетические закономерности, сходные с древнетюркскими (сохранение интервокального $-d-$, ауслатного $-r$, наличие $-j$ в ряде слов), а в лексическом составе обнаруживается значительный пласт близких по значению слов, однако в своем фонетическом развитии тофаларский язык занимает по отношению к древнетюркским языкам столь же независимое положение, как и все прочие тюркские языки Сибири. Очевидно также,

что древнетюркские языки (в том числе и язык орхоно-енисейских памятников и древнеуйгурских текстов) представляют собой лишь определенные этапы общетюркской языковой эволюции, и поэтому нет оснований принимать их за исходное состояние конкретного тюркского языка. В противном случае, как возможно относительно хронологизировать соответствия тоф. $\text{ħz}/\text{др.}-\text{тюрк. } \text{j}$ -, тоф. $-\text{s}/\text{др.}-\text{тюрк. } -\text{š}$, а также тоф. $\text{ħz} \sim \text{ħs}/\text{ср.}-\text{монг. } \text{j}$ -, тоф. $-\text{s}/\text{ср.}-\text{монг. } -\text{š}$ и т. п.? Можно, пожалуй, лишь в одном согласиться с автором (если принять гипотезу о древней тюркизации предков тофаларов), а именно в том, что таким тюркским языком первоначально был язык древнеугузского типа (один из вариантов которого запечатлен в орхоно-енисейских памятниках), чем, видимо, и объясняется общая с якутским и рядом других сибирских языков (прежде всего — с тувинским) тенденция к субституции в этих языках общетюркских звуков и сходные закономерности фонетического развития слова.

Скрупулезному описанию тофаларской фонетики в монографии В. И. Рассадина недостает, на наш взгляд, системной фонологической интерпретации выявленных фонем, а также отдельных звуковых явлений. В некоторых случаях фонемы как бы растворяются в обилии сообщаемых автором произносительных и позиционных вариантов. Желательно было бы также фонологически интерпретировать и такие интересные явления, как фарингализация гласных, устойчивость сильных согласных в слове и т. п.

В. И. Рассадин продолжает работать над полным словарем тофаларского языка. Следует надеяться, что с его появлением этот язык станет еще более доступным для исследователей, а В. И. Рассадин обратится и к описанию грамматического строя языка тофов.

Н. И. Летягина, Д. М. Насилов

Б. Кожевникова. Спонтанная устная речь в эпической прозе. (На материале современной русской художественной литературы). — Praha, 1970. 165 стр. («Acta Universitatis Carolinae. Philologicae. XXXII»)

Книга К. Кожевниковой посвящена актуальному вопросу современной стилистики — причинам, способам и целям воспроизведения художественной литературой особенностей разговорной речи. Его разрешение равно важно и для исследователя языка художественной литературы, и для понимания структуры общелитературного (и национального) языка.

На современном этапе развития стилистики оба эти аспекта в соответствии с

естественным углублением их проблематики, обнаружили реальные точки соприкосновения. И сейчас уже не может считаться оправданным ни прямолинейное обращение к художественному тексту только как к материалу для анализа экспрессивно-функциональных свойств каких-либо элементов общезыковой структуры, ни игнорирование возможной эстетической значимости того или иного факта языка, если он извлечен из художествен-

ного произведения. Наступило время пристального внимания к двойственной природе художественной языковой ткани и к последствиям, которые вытекают из пересечения коммуникативного задания образно-поэтическим в их совместной манифестации художественным словом.

Закономерно, что при этом особенно актуальной оказывается проблематика эстетического преобразования языковой структуры: описание приемов, какими располагает писатель для ее репродукции. Характер этих приемов зависит, с одной стороны, от потенциальных выразительных возможностей языковых категорий, к которым обращается художник слова, а следовательно, от общего состояния литературного языка его эпохи. С другой стороны, и выбор языковых категорий, и характер приемов их художественной репродукции обуславливается совокупностью причин иного рода: литературным направлением, творческой индивидуальностью, временем, модой.

Для русской реалистической литературы XIX в. основой формирования наиболее эффективных приемов эстетического осмысления выразительных свойств языка можно считать под данным углом зрения стилистическую переоценку книжного и разговорного пластов литературного языка в связи с жанровыми ограничениями языка литературных произведений. При этом сама разговорная речь, т. е. средство повседневного (преимущественно бытового и неофициального) устного общения, не должна приниматься в расчет — наряду с литературным книжным языком — как целостная сфера, откуда писатель, вольно или невольно, черпает изобразительный языковой материал. Ее особенности имели функционально-ограниченный допуск в художественную речь, базирующуюся в целом на языке книжном.

Начиная с Пушкина, шел неравномерно и разнохарактерно развивающийся процесс постепенного осознания разговорного пласта как естественной языковой нормы, годной для художественной эксплуатации не только в прямой речи персонажей, но и в авторском повествовании. Частично с этим процессом связано возникновение многообразных композиционно-речевых приемов, имеющих особое выразительно-эстетическое задание: несобственно-прямая речь, сказ, языковое соотношение образа автора и образа рассказчика и пр. Но важнее то, что этот процесс, явившийся следствием системно-нормативных перераспределений в общелитературном языке, привел литературу нашей современности к прочной опоре на разговорную речь как на универсальную языковую сферу, способную выполнять задачи словесно-художественной интерпретации.

Благодаря тому, что К. Кожевникова ставит вопрос о целях и способах поэтической модификации разговорной речи

применительно к русской художественной литературе XX в. (и особенно к литературе советского периода), в ее книге оказались затронутыми и как бы «сфокусированными» многие аспекты изучения разговорной речи, с одной стороны, и некоторые животрепещущие проблемы лингвистической поэтики, с другой. Автор определяет свой метод исследования как совмещение литературоведческого анализа и лингвистической оценки рассматриваемых явлений. Этому методу соответствует (в расширительном смысле) построение книги: I часть посвящена характеристике тех свойств спонтанной устной речи, которые дают право говорить о ней как об особом типе языковой коммуникации (стр. 11—54); II часть посвящена характеристике «словесных приемов эвокации» спонтанной устной речи в художественной прозе, покоящихся на своеобразии этого особого типа коммуникации (стр. 55—146). Неравномерность объема частей (равно как и их содержание) свидетельствует о том, что главный интерес автора сосредоточен на вопросах художественной речи и что первая часть играет подсобную роль, представляя собой как бы установление некоторого набора единиц, которыми можно оперировать при наложении эстетической функции на функцию коммуникативную. В первой части автор, несмотря на обилие и хорошее качество собранного им самим русского материала (записи устной речи и советская художественная литература), в основном исходит из теории и практики советских языковедов. Вторая же часть представляет собой оригинальное решение новых вопросов.

Такая направленность исследования позволяет судить о нем с позиций стилистики по преимуществу. И этому способствует еще одно немаловажное обстоятельство. В самом названии книги отражено предпринятое автором уточнение предмета исследования и круга фактов, привлеченных к анализу. Но это уточнение весьма симптоматично. Оно, в соответствии с избранным методом «совмещения», не суживает, а расширяет поле наблюдений над спецификой разговорной речи и включает в него не только чисто литературоведческие и чисто лингвистические определения, но также ряд категорий психолингвистики, социолингвистики и теории коммуникации. Именно этим подходом можно объяснить выбор ключевого термина «спонтанная устная речь», обозначающего «всякий говоримый коммуникат, цель которого — достижение непосредственной коммуникации с присутствующим адресатом (адресатами) и психическое условие которого — субъективно неофициальные взаимоотношения участников коммуникации» (стр. 13).

Такое понимание позволяет автору ввести для дальнейших операций фактор «коммуникативной ситуации», т. е. «совокупности всех обстоятельств вне говоря-

щего субъекта» (стр. 13). Пользуясь им, автор сравнивает спонтанную устную речь с ее художественным воспроизведением. Эстетическое переосмысление спонтанной устной речи связано, по автору, с «художественной коммуникативной ситуацией», противопологаемой коммуникативной ситуации бытового общения. Иными словами, специфические средства художественной интерпретации языка вообще К. Кожевникова трактует не только как явления, основанные на лингвистических признаках двух изучаемых ею областей языковой манифестации, но и как строевые элементы коммуникативного процесса в целом.

Учет же всех внешних факторов, которые способствуют выявлению типологии коммуникативного процесса, для стилистики особенно необходим, так как без него многие реальные свойства стилистического узуса данной языковой системы остаются незамеченными. Книга К. Кожевниковой подтверждает мысль о плодотворности комплексного подхода к явлениям стиля.

В соответствии с таким подходом характеристика спонтанной устной речи, данная в первой части исследования, не претендует на полноту и всесторонний охват явлений. Автор ставит перед собой задачу изучить связь плана содержания и плана выражения устного высказывания в их отношении к коммуникативной ситуации. Для этой цели выделяется ряд специфических объектов, показывающих, что наиболее существенную коммуникативную черту спонтанной устной речи определяет совокупность признаков, включающих в себя понятия *н е р а в н о м е р н о с т и* и *в а р и а т и в н о с т и*: неравномерная соотнесенность смысловой связи реплик в диалоге (основной форме манифестации спонтанной устной речи); несоответствие плана содержания и плана выражения, неравномерная четкость сообщаемого содержания, соотносительная с его неравномерно полным выражением; постоянное чередование и взаимопроникновение имплицитности и эксплицитности; неравномерно колеблющаяся конденсация и логизация высказывания и т. д.

Эти свойства обусловлены коммуникативной ситуацией, особенности которой заложены в диалогической природе, а также в непосредственности и неофициальности общения, характерных для спонтанной устной речи. Представляется, однако, что эти особенности в свою очередь находятся в зависимости от более общих и более постоянных социально-психологических характеристик говорящего и слушающего, типы взаимодействия которых и есть основная причина формирования многообразия типов языковой коммуникации. Неоднократно упоминая о «психологической обусловленности», «индивидуальных речевых навыках говорящего», «особенностях восприятия речи адресата

том» и пр., К. Кожевникова тем не менее нигде не формулирует обобщенного значения схемы «адресующийся — сообщение — адресат» для определения «коммуникативной ситуации». Между тем привлечение к анализу этой схемы позволило бы, как кажется, во многих случаях упростить, сделать более экономными интересные и тонкие, но очень «дробные» комментарии, не всегда сводимые (как это, очевидно, должно быть) к одной из разновидностей единой категории: связи участников коммуникативного акта и их отношения к речи. В частности, известное положение о «выравнивании двух противоположных тенденций» — к регулярности и к экспрессивности, которое автор развивает и своеобразно трактует, как, с одной стороны, «тяготение к созданию единого контекста и унификации языковых средств», с другой стороны, стремление к индивидуализации языковых средств и к созданию собственного, независимого контекста» (стр. 21), следует, конечно, выводить из более широкого круга фактов языковой актуализации, чем законы диалога.

Грамматические, лексико-семантические, стилистические особенности спонтанной устной речи в составе художественного текста всегда будут оставаться намеренной *с т и л и з а ц и е й*: художественная коммуникативная ситуация в известном смысле диаметрально противоположна коммуникативной ситуации спонтанной устной речи. В то же время у первой и второй есть связующие звенья, благодаря которым стилизация становится возможной. К. Кожевникова привлекает к доказательству этого обширный диапазон психологических (в плане психолингвистики и психологии литературно-художественного творчества) обстоятельств, историко-литературных и социально-языковых наблюдений. Выводы, данные во второй части книги, сформулированы четко и убедительно: отсутствие тождества между спонтанной устной речью и ее художественным воспроизведением; суть стилизации, заключающаяся в сдвиге пропорциональной связи плана выражения и плана содержания; главенствующая роль лексико-семантического языкового уровня в процессе воспроизведения; различные способы «перевода» языковых явлений, рожденных одной коммуникативной ситуацией, в другую коммуникативную ситуацию — все эти мысли вызывают сочувствие, так как являются следствием отхода от схематизма, долгое время мешавшего обнаружению реальных функций языка в создании строевых элементов художественного произведения.

Рассмотрением свойств спонтанного устного высказывания как результата взаимодействия коммуникативной ситуации и индивидуально-коммуникативной цели автор подводит нас к положению об их *п о т е н ц и а л ь н о м* характере. Спе-

цифическая совокупность выразительных возможностей реализуется «разными говорящими в разном объеме, с разной глубиной, интенсивностью и последовательностью» (стр. 55). А так как художественная речь тоже отличается широкой амплитудой потенциальных возможностей, то репродукция одного их круга в другой приводит к дуализации функции, вызывающей переосмысление и стилизацию — неперемные условия отражения в художественном произведении особенностей спонтанной устной речи.

Очень верно замечая, что язык служит писателю не только средством выражения, но и предметом отображения, подражания, автор книги исследует конкретные способы реализации разговорных языковых потенций в обеих целях и показывает, какие потенции эпического произведения прозы при этом осуществляются.

Основные «словесные приемы эвокации» — реферативный, комментирующий и репродуктивный — включают в план языкового содержания тематические компоненты художественного произведения и выступают как способы регулирования воздействия языковых средств на читателя. По преимуществу интересующий автора репродуктивный прием создает художественные эквиваленты коммуникатов устной спонтанной речи и, подчиняясь при этом всякий раз частной художественной цели, явственно показывает направление сдвигов на пути от естественного образца к стилизации. Проекция перечисленных в первой части книги коммуникативных особенностей спонтанной устной речи на языковую ткань художественного произведения меняет, в основном, количественное соотношение внутренних пропорций плана содержания. Такое представление естественной спонтанной речи в стилизованном виде К. Кожевникова считает наиболее характерным для современной русской прозы. Стилизация же плана содержания «является тем фокусом, в котором пересекаются все остальные частные решения плана выражения... Иными словами, почти все, что мы находим в художественном диалоге, можно найти и в спонтанной устной речи, но в другом соотношении, с другими пропорциями и в другой, «раздвоенной» функции» (стр. 91—92)¹.

¹ Приведем сокращенно лишь один пример авторского анализа. Речь идет о смещении объема и взаимоотношения имплицитности и эксплицитности и изменении их основных языковых коррелятов. Цитируя абсолютное начало повести А. Чаковского «Свет далекой звезды», К. Кожевникова подчеркивает необходимость максимальной полноты плана выражения в диалоге, не замещаемой реферативным и комментирующим приемами: «Ты пойдешь гулять по пляжу?» — спросила Лена, догоняя Завьялова. — Нет. — А что соби-

раешься делать? — Не знаю. Ничего. Побуду немного один. Почитаю журнал. — Журнал? Вот этот старый „Луч“? — Да. — Ничего не понимаю. — Лена пожалала плечами. — Если не хочется гулять, то зачем было уходить из зала?». «Лишние» уточнения (подчеркнутые мною. — Т. В.) не создают впечатления искусственности. В естественном разговоре они могли бы и отсутствовать, и присутствовать в равной мере. Но и более сокращенный вариант (Ты пойдешь гулять?, Зачем было уходить? и пр.) не противоречит его использованию в художественном тексте. Автор считает, что «именно это эле уловимое расхождение в объеме полноты выражения следует отнести к основной разнице между спонтанной устной речью и ее художественным эквивалентом», и делает вывод, что «в художественном тексте решающим фактором оказывается использование взаимосвязанности репродуктивного, реферативного и комментирующего приемов: чем больше информации о внешней обстановке и взаимоотношениях персонажей автор вкладывает в текст, непосредственно предшествующий репродукции, тем легче приблизить репродукцию к естественному характеру ее модели. Наоборот, чем меньше репродукция зависит в отношении композиции и содержания от остальных приемов, тем важнее — с точки зрения читателя — ее коммуникативная ценность, что, конечно, удаляет ее от коммуниката, возникающего в естественных условиях» (стр. 86).

Эти сигналы подчиняются характерологической функции и тем самым оказываются связанными со стилизацией плана содержания, как и другие элементы репродуктивного приема.

Техника «стилистической сигнализации» рассматривается автором и при анализе реферативного приема словесной эвокации. Привлечение этого приема к исследованию представляется чрезвычайно важным, так как именно на его материале можно показать место и зна-

раешься делать? — Не знаю. Ничего. Побуду немного один. Почитаю журнал. — Журнал? Вот этот старый „Луч“? — Да. — Ничего не понимаю. — Лена пожалала плечами. — Если не хочется гулять, то зачем было уходить из зала?». «Лишние» уточнения (подчеркнутые мною. — Т. В.) не создают впечатления искусственности. В естественном разговоре они могли бы и отсутствовать, и присутствовать в равной мере. Но и более сокращенный вариант (Ты пойдешь гулять?, Зачем было уходить? и пр.) не противоречит его использованию в художественном тексте. Автор считает, что «именно это эле уловимое расхождение в объеме полноты выражения следует отнести к основной разнице между спонтанной устной речью и ее художественным эквивалентом», и делает вывод, что «в художественном тексте решающим фактором оказывается использование взаимосвязанности репродуктивного, реферативного и комментирующего приемов: чем больше информации о внешней обстановке и взаимоотношениях персонажей автор вкладывает в текст, непосредственно предшествующий репродукции, тем легче приблизить репродукцию к естественному характеру ее модели. Наоборот, чем меньше репродукция зависит в отношении композиции и содержания от остальных приемов, тем важнее — с точки зрения читателя — ее коммуникативная ценность, что, конечно, удаляет ее от коммуниката, возникающего в естественных условиях» (стр. 86).

чение разговорной речи (а точнее — разговорного стиля как выразительного инвентаря устного, неофициального, спонтанного общения) в системе экспрессивно-образных средств современной художественной прозы. Опирающийся, так же, как и репродукция, на какие-то моменты сходства с естественной спонтанной речью, но свободный от необходимости ее стилизовать, реферативный прием имеет в своем распоряжении обилие средств (сигналов) и плана содержания и плана выражения. Известные формальные признаки: сказовую структуру, изображение спонтанного (позапанного) построения высказывания и пр. К. Кожевникова соотносит, на основе данных в первой части книги характеристик устной спонтанной речи, с «содержательными» сдвигами (вводом имплицитного содержания, контаминацией разных видов личной перспективы рассказа, соз-

данием особой субъективной тональности высказывания и т. д.). Эти сдвиги расцениваются как решающие для восприятия текста и в данном случае гораздо более важные, чем «налет разговорности, достигаемый при помощи привлечения языковых средств со стилистической окраской сниженности, особенно лексических» (стр. 141).

С этой оценкой нельзя не согласиться. В дальнейшем развитии необычайно сложной, многогранной и увлекательной проблематики соотношения художественного и нехудожественного языкового употребления первоочередным является анализ разговорной стихии как нормы авторского повествования в современной русской художественной прозе. Автор рецензируемой книги положил этому хорошее начало.

Т. Г. Винокур

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

11 января 1973 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись очередные чтения памяти академика В. В. Виноградова. Были прочитаны два цикла докладов — о роли трудов акад. В. В. Виноградова в развитии многонационального советского языкознания и по стилистике и языку художественной литературы. Во вступительном слове член-корр. АН СССР Ф. П. Филин дал высокую оценку научной деятельности акад. В. В. Виноградова и его роли в развитии советского языкознания. Он отметил большое значение исследований В. В. Виноградова в становлении и развитии стилистики и изучения языка художественной литературы. Ф. П. Филин остановился на некоторых актуальных проблемах данной области науки, подчеркнув необходимость дальнейшего изучения и развития этих и многих других проблем, так глубоко и перспективно обоснованных в трудах В. В. Виноградова.

Акад. И. К. Белодед в докладе «Украинский язык в трудах академика В. В. Виноградова» подробно охарактеризовал основные направления в изучении украинского языка В. В. Виноградовым. Украинский язык, отметил докладчик, занимает в исследованиях В. В. Виноградова, в его общеславянистической историко-литературной языковой концепции значительное место. Особое внимание докладчик уделил роли В. В. Виноградова в изучении взаимосвязей и взаимообогащения восточнославянских языков на протяжении всей истории этих языков, а также в советский период их развития. Основным у В. В. Виноградова было положение, что «тенденция к сближению славянских культур, славянских литературных языков — при полном сохранении их национальной независимости и их индивидуального облика — становится все более действенной и значительной»¹.

¹ В. В. Виноградов, Основные вопросы изучения современных славянских литературных языков, «Вестник МГУ», Серия обществ. наук, 7, 3, 1949, стр. 19. Статья И. К. Белодеда будет опубликована в следующем номере «Вопросов языкознания».

Доклад А. Н. Робинсона «Проблемы эпической символики „Слова о полку Игореве“» был посвящен вопросу о международных связях в области эпического творчества, отразившихся в образной системе «Слова о полку Игореве». Присоединяясь к гипотезе А. А. Шахматова, поддержанной В. В. Виноградовым, об устном происхождении «Слова» как памятника дружинного эпоса конца XII в., А. Н. Робинсон, однако, считает, что устное «Слово» впервые было записано не в XV или XVI вв., как полагал А. А. Шахматов, а еще в Киевской Руси до татаро-монгольского нашествия. Существующий текст «Слова», испытавший на себе второе южнославянское влияние, является более поздним (конец XV в.).

«Слово» для своего времени было архаичным по идейному содержанию и стилю устным произведением дружинной эпической традиции. По своей символике, антропоморфной образности, фольклорной традиционности, метафорическому стилю оно противоречит всей русской литературе XII в., но сближается с эпическими памятниками средневековья, такими, как «Песнь о Роланде», «Песнь о моем Сиде», «Песнь о Нибелунгах», поэмой «Витязь в тигровой шкуре». Для прояснения дружинно-эпического облика «Слова» необходимо учитывать и ближайшую к нему эпическую среду, с которой оно могло непосредственно взаимодействовать, — половецкий эпос. Важны тенденции к скрещению символики русско-половецкого происхождения. Докладчик подробно остановился на распределении между персонажами памятника идейно-эстетических функций славянских языческих символов (*Стрибог, Дажьдьбог*) и половецких тотемов (*волк, бык, лебедь*). Изучение международных эпических отношений, сказал докладчик, позволяет изучать и оценивать «Слово о полку Игореве» как памятник не только древнерусского, но и мирового раннефеодального эпоса.

А. П. Чудаков в докладе «Речевой уровень в художественной системе писателя» говорил о необходимости подхода к художественному произведению и миру писателя как целостной системе, что предполагает постановку особых системных задач при анализе произведения. Таковыми являются выделение различных уров-

ней художественной системы (например, речевого, предметного, сюжетно-фабульного и уровня идей), а также выявление доминанты, или «главного эффекта» художественного построения. Под «главным эффектом» понимается основная черта художественной системы, осознанная как основной принцип построения, проявляющийся во всех элементах системы. Докладчик считает принципиально важным положение о том, что именно речевой уровень должен быть начальным и необходимым этапом научного исследования художественной системы. Эти положения были проиллюстрированы материалами из произведений Гоголя.

Д. Н. Шмелев в докладе «О языковых особенностях художественного текста» остановился на разных аспектах исследования языка художественных произведений, в частности, на изучении роли различных общеязыковых средств в художественной литературе, с одной стороны, и с другой — на возможностях и границах «системного» анализа художественного произведения как целого в связи с анализом его речевой структуры.

Д. Н. Шмелев охарактеризовал речевой уровень как наиболее сложный элемент анализа художественного произведения. Развивая идею В. В. Виноградова об образе автора, докладчик на материале художественных текстов показал роль различных языковых средств в структуре художественного целого: сложного синтаксического построения; форм глагольного времени в их влиянии на микроструктуру художественного произведения и на все произведение в целом; звуковой формы слова; различных стилистических и семантических сдвигов при употреблении слова в художественных целях; диффузности значений полисемантического слова как средства для создания образности языка. Д. Н. Шмелев высказал мысль об определяющей роли речевой структуры в образной и идейной системе художественного произведения.

В докладе Е. А. Иванчиковой «О принципах изучения синтаксической композиции художественного текста» сохранилась попытка развития и конкретизации учения акад. В. В. Виноградова об индивидуальном стиле писателя как «своеобразной, исторически обусловленной, сложной, но структурно единой и внутренне связанной системе средств и форм словесного творческого выражения»². Доклад был посвящен обоснованию принципов изучения синтаксиса компонентов художественного текста и его синтаксической композиции — в плане постановки проблемы индивидуального синтаксиса писателя. Синтаксическую композицию художественного текста составляют его «синтаксические слои», или композици-

онно-синтаксические формы, т. е. характеризующиеся определенными синтаксическими признаками тематические отрезки текста. Методика изучения синтаксической композиции художественного текста в его структурной целостности была продемонстрирована на материале рассказа Ф. М. Достоевского «Кроткая». Изучение синтаксической композиции одного какого-либо художественного произведения представляет собой, по мнению докладчика, лишь первый этап в исследовании индивидуального синтаксиса писателя: система устойчиво повторяющихся, ожидаемых в определенных частях композиционной структуры синтаксических построений может быть выявлена на более широком пространстве текста.

В докладе В. Д. Левина «О чертах изоморфизма в развитии русской литературы и литературного языка» развивалась идея В. В. Виноградова о наличии «строго закономерного соотношения между оформлением реализма... и процессами образования национальных литературных языков»³ путем рассмотрения эволюции повествовательной речи в русской литературе. Выдвигается понятие «повествовательной нормы» как категории, в которой скрещиваются проблемы развития литературы и литературного языка, что особенно отчетливо проявляется в период формирования реализма и сложения национального литературного языка. Опора на общественный узаус, обобщенно-синтезированный характер, экспрессивная безграничность и принципиальная свобода, независимость от объекта изображения — таковы основные характеристики повествовательной нормы в объективном реалистическом повествовании, которые изоморфны «нормативному» образу автора. Изоморфные отношения между повествовательной нормой и образом автора отражают изоморфизм между литературным языком и литературой. Это становится особенно очевидным при историческом рассмотрении вопроса; в этой связи докладчик анализирует отношения повествовательной речи и образа автора в дореалистической литературе. Утверждается, что установленное исследователями (В. В. Виноградовым, Д. С. Лихачевым и др.) стремление реализма «к изображению действительности максимально соответствующими этой действительности языковыми средствами»⁴, характеризуя самый принцип национального литературного языка, нашедший выражение в сложении новой повествовательной нормы, не может восприниматься как принципиальный признак структуры конкретного произведения.

³ В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, М., 1959, стр. 466.

⁴ Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, Л., 1967, стр. 145.

² В. В. Виноградов, О теории художественной речи, М., 1971, стр. 105.

Ю. А. Б е л ь ч и к о в в докладе «Интимизация изложения в очерках 70—80-х годов XIX века в аспекте истории русского литературного языка» говорил о необходимости разграничения понятий «интимизация изложения», «сказ» и «лиризм», а также о речевых средствах интимизации в проблемном очерке конца XIX в. Интимизация, предполагающая обращение к разговорной речи, открывает широкие возможности разнообразного объединения разговорных и книжных элементов в речевой структуре очерков. Значение интимизации изложения в очерках для истории русского литературного языка, по мнению докладчика, определяется тем, что ставит на конкретно-исследовательскую почву изучение важнейших вопросов исторического движения русского литературного языка во второй половине XIX в., таких, как роль разговорной речи в литературно-языковой эволюции, соотношение и взаимодействие книжных и разговорных элементов в русском литературном языке этой эпохи в его основных функциональных стилях.

Е. С. Копорская (Москва)

*

12 января 1973 г. на кафедре русского языка филологического факультета МГУ состоялись очередные чтения памяти академика В. В. Виноградова. Рассматривались вопросы истории русского литературного языка.

С докладом «Структурные особенности литературного языка на Руси XVII века» выступил Н. И. Толстой, подчеркнувший, что выбор темы сообщения был навеян мыслями В. В. Виноградова, заключенными в статье «О задачах истории русского литературного языка преимущественно XVII—XIX вв.» (ИАН ОЛЯ, М., 1946, 3). Охарактеризовав экономическую и политическую обстановку на Руси в XVII в., эпоху экономической концентрации и роста русского национального самосознания, а также указав на расслоение русской литературы (литературы верхов и демократической), докладчик остановился на двух противоположных мнениях относительно состояния русского литературного языка той поры, принадлежавших А. И. Соболевскому и Б. А. Ларину. В 1911 г. А. И. Соболевский высказал мысль о том, что старая Россия пользовалась двумя языками, один из которых был литературным, церковнославянским, а другой — живым, деловым языком, и задачей каждого литератора являлось четкое различие двух этих языков. Полвека спустя, в 1961 г., Б. А. Ларин отметил, что характерным признаком образования национального русского

языка следует считать «органическое, проницающее сближение ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языка».

Анализируя эти два противоречивых мнения, Н. И. Толстой предложил свою трактовку разновидностей русского литературного языка в виде схемы, в которой выделяется сфера устного функционирования, куда входят диалекты, койне, язык фольклора, и сфера письменного функционирования, представленная церковнославянским литературным языком, приказным и повествовательным народно-литературным языком (которые отчасти имели и устное функционирование). В схеме отражена сложная языковая ситуация на Руси XVII в., соотношение различных языковых разновидностей, каждую из которых Н. И. Толстой подробно охарактеризовал, указав на наддиалектную сущность койне, на важность роли языка фольклора, незаслуженно преуменьшавшейся до сих пор, а также на слабую изученность приказного языка, который был достаточно нормирован и являлся не локальным, а деловым общерусским языком. Таким же общерусским, близким языку фольклора, был и повествовательный народно-литературный язык, богато представленный демократической литературой («Повесть об осаде Азова», «Повесть о Шемякином суде» и др.).

Обособленность каждой разновидности позволяет докладчику согласиться с мнением А. И. Соболевского, а взаимопроницающее их сближение, более ярко проявившееся в XVIII в., подтверждает справедливость замечаний Б. А. Ларина.

Н. И. Толстой выразил несогласие с тем мнением, что в XVII в. церковнославянский язык переживал свой кризис, и подчеркнул, что наблюдалось обратное явление — процесс четкой нормализации, о чем свидетельствуют споры старообрядцев, Никоновская справа, переделки разных житийных списков, в которых прямая речь — живая, разговорная — превращалась в книжную. Что касается русского литературного языка как такового, то в XVII в., по мнению Н. И. Толстого, его еще не было, происходил лишь процесс его образования, было то состояние, которое можно назвать «формирующимся русским литературным языком».

Доклад Б. А. Успенского «Фонетическая структура одного стихотворения М. В. Ломоносова» был посвящен орфоэпической проблеме — произношению буквы *з* («глаголя»), которой посвящено стихотворение М. В. Ломоносова «О сомнительном произношении буквы *з* в Русском языке». В церковном языке, равно как и в высоком стиле, буква *з* читалась как задненебный фриктивный согласный *ʒ*, а в живой русской речи как взрывной *g*. К середине XVIII в. живое произношение стало проникать в сферу книжного, происходила определенная интерференция

того и другого (по Г. О. Винокуру, существовало три стадии в эволюции литературного произношения *г*). На определенном этапе стало необходимым знать, какие слова произносятся по нормам книжного (в основе своей церковнославянского) произношения, т. е. с фрикативным *г*, а какие по нормам разговорной речи, т. е. со взрывным *г*. В связи с этим и было, очевидно, написано это стихотворение, состоящее из 20 строк и заканчивающееся вопросом: «Скажите, где быть га, а где стоять глаголю?» (название «глаголь» относится к церковнославянскому произношению буквы *г*, а «га» соответствует разговорному).

Стихотворение М. В. Ломоносова, как показал Б. А. Успенский, прочитанное по нормам XVIII в., представляет собой сложную аллитерационную структуру, для выяснения которой было привлечено большое количество источников: грамматических руководств, собственно литературных источников, стилистических помет в словарях, а также глосс, т. е. лексических параллелей, встречающихся в ряде произведений XVIII в.: были использованы даже данные об особенностях иностранного акцента Вральмана из «Недоросля» Фонвизина.

Последовательное рассмотрение произношения каждого знаменательного слова стихотворения (из 84 знаменательных слов букву *г* содержат 77 слов) позволило Б. А. Успенскому представить фонетическую структуру каждой строки, показав симметрическую организацию всего текста. Б. А. Успенский высказал мысль, что данное стихотворение произносилось как макароническое — с характерным соблюдением произносительных особенностей той и другой языковой системы. Кроме того, было замечено, что в стихотворении можно усмотреть скрытый намек на полемику М. В. Ломоносова с его литературными противниками (А. П. Сумароковым и др.).

А. П. Чудаков в докладе «„Прозаизмы“ и „поэтизмы“ в стиховом языке Н. А. Некрасова» изложил свое понимание некрасовской реформы стиха, сославшись на методику исследования художественного текста, применявшуюся В. В. Виноградовым. Сущность новаторства Н. А. Некрасова заключается не просто во введении канцеляризм, диалектизм, профессионализм в поэзию, а в том, что он принципиально изменил саму установку стихотворной речи, максимально приближая ее к прозаической, пародируя жанр баллады и включая в нее «прозаизмы». Так, например, в стихотворении «Влас» в авторский текст включаются голоса персонажей, чужие голоса: элементы крестьянского сознания, апокрифические картины в духе лубочной народной литературы сменяются речью повествователя, в авторскую патетику входит фольклорная лексика, в одном

предложении соседствуют и *матушка Москва*, и *царственная Нева*.

Другой стороной реформы Н. А. Некрасова, по мнению докладчика, является «поэтизация» стиха, включение в авторскую стихотворную речь фольклорной лексики, что было невозможно до Н. А. Некрасова. Именно в этом он обрел свой голос. Это оказывает влияние на русскую поэзию до наших дней. В наиболее совершенных формах этот принцип внедрения фольклоризмов был осуществлен в его поэмах, особенно в поэме «Кому на Руси жить хорошо».

В докладе «Словосочетание *борьба за существование* в русском языке 60—70-х годов XIX в.» А. В. Степанов отметил, что процессы проникновения профессионально-научной речи в литературный язык характерны для сравнительно позднего этапа его истории, отличительной особенностью которого было сложное взаимоотношение сложившихся функциональных стилей и языка художественной литературы. Научный термин «борьба за существование», являющийся калькой с английского *struggle for life* и ставший «крылатым» после выхода в свет книги Ч. Дарвина «О происхождении видов», попав в язык художественной литературы, не только воспроизводит свое старое значение, которое он имел в функциональном стиле, но в зависимости от того, кем и как он употреблен, развивает новые, дополнительные значения. Так, у Анны в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» это «борьба» не «за существование», а «за любовь», а для Левина характерно иное осмысление, для него разум открывает «борьбу за существование», которая предстает как «закон, требующий души всех, кто мешает удовлетворению его (Левина) желаний». Таким образом, анализ роли терминологического словосочетания в разных формах повествования позволяет, как считает докладчик, шире представить изменения в его семантике и модальной окраске.

Л. Л. Бабалова (Москва)

*

С 1 по 3 ноября 1972 г. в Белграде в Институте сербскохорватского языка Сербской академии наук и искусств под председательством акад. Б. Гавранка проходило очередное заседание Международной комиссии по изучению грамматического строя славянских языков при Международном комитете славистов. В рамках заседания был проведен симпозиум, на котором обсуждались две проблемы: «Соотношение грамматических и лексических свойств слова» и «Принципы построения описательных грамматик со-

временных славянских языков». В обсуждении указанных проблем приняли участие: Л. Андрейчин, С. Иванчев, А. Минчева (НРБ); Р. Ружичка, Г. Фаска (ГДР); С. Урбанчик, З. Тополинская, К. Писаркова, Р. Лясковский, М. Гроховский (ПНР); Б. Гавранек, М. Грешль, Я. Корженский, Й. Мистрик, А. Едличка, Й. Ружичка, В. Барнет, Ф. Мпко (ЧССР); А. Е. Михневич (СССР); М. Стеванович, М. Павлович, М. Ивич, Й. Топоришнич, Б. Корубин, Л. Минова-Гюркова, С. Павешич, М. Гркович, С. Попович, Л. Попович, М. Орожен, А. Толстой, Й. Дулар, Г. Йоканович, П. Мато, Г. Вукович, Т. Батистич, Ж. Станойич, Б. Погорелец и др. (СФРЮ); Л. Миксен, Г. Матейко (США).

При обсуждении проблемы «Соотношение грамматических и лексических свойств слова» было прослушано и обсуждено десять докладов и сообщений.

Й. М и с т р и к в докладе «Компетенция грамматической и лексической составляющих в высказывании» показал, что в высказывании потенциально существуют и реализуются три типа составляющих: лексическая, грамматическая и текстообразующая. Теоретически каждое слово способно быть носителем одного, двух или всех трех типов составляющих одновременно. На первом месте в синтаксической конструкции стоят носители текстообразующей, затем грамматической и лексической составляющей. Актуальной задачей является описание динамического взаимодействия всех трех составляющих высказывания.

В докладе Я. К о р ж е н с к о г о «К вопросу о системных и функциональных связях между семантикой и грамматикой естественного языка» рассматривались методологические вопросы описания славянских языков. Докладчик пришел к выводу, что между базисными единицами семантики и высказывания нельзя постулировать однозначные соотносительные связи. Свойством естественного языка является адекватная интерпретация отношений между семантикой и соответствующими средстами передачи этой семантики по принципу постоянного нарушения и восстановления единства содержания и формы знака. Механизм этого процесса основан на единстве и борьбе противоположностей, позитивном отрицании, диалектической связи функции и структуры. Внутренним стимулом этого процесса является противоречие между компонентами языкового знака. Следствие этих сложных отношений — объективное существование грамматических категорий: грамматическая категория — это форма взаимосвязи семантических и формальных («высказывательных») единиц. Поэтому с позиций точного (генеративного, стратификационного) моделирования славянских языков определить эти «традиционные» категории нельзя. Однако нельзя

эти категории и механически включать в модели, если последние строятся по принципу однозначного соответствия и параллелизма, а их правила имеют характер однозначных импликаций. Все это заставляет искать новые, более адекватные способы формализации и моделирования языковых явлений.

М. И в и ч предложила вниманию участников симпозиума доклад на тему «О некоторых синтаксических конструкциях с квантификаторами в сербскохорватском литературном языке». Основной тезис доклада — о важности лексического материала для формирования синтаксических конструкций и их последующей семантической интерпретации — иллюстрировался анализом конструкций с квантификаторами *два, три, четыре, оба, все, всякий, некоторые* и др.

Р. Р у ж и ч к а рассмотрел «Соотношение синтаксических и семантических свойств неопределенных местоимений». Он пришел к выводу, что необходимо дифференцировать семантическое пересечение классов лексем и синтаксические последствия, вытекающие из общих всем элементам данного класса семантических признаков, с одной стороны, и семантику определенных лексем в отдельных славянских языках и синтаксические явления, коррелирующие с ними, с другой стороны.

С. И в а н ч е в выступил с докладом «О функционально-семантической связи личных местоимений с актуальным членением предложения», в котором было рассмотрено варьирование форм личных местоимений в зависимости от позиции в предложении с точки зрения актуального членения (тема, транзит, рема). Автор представил опыт типологической характеристики славянских языков на основании описанной вариативности личных местоимений.

К. П и с а р к о в а посвятила свое выступление теме «Лексические сигналы сегментации текста». Указав на наличие трех главных типов сигналов сегментации текста (пространственных, просодических и лексических), она подчеркнула первоочередную роль сигналов лексических, дала классификацию последних и подробно охарактеризовала те элементы текста, которые выполняют роль сигналов синтаксической сегментации текста.

А. Е. М и х н е в и ч в сообщении «Структура предложения и вторичные функции лексических значений» рассмотрел два способа включения значения слова в семантико-синтаксическую структуру предложения: непосредственно и через класс изофункциональных единиц.

М. Г р е ш л ь прочел доклад о «Семантической обусловленности реализации структур предложения», в котором рассмотрел возможности типологического описания славянских языков в зависимости от реализации в них предложений типа *мне хочется* и под.

Участники симпозиума прослушали также сообщения Й. Топоришча «Проблема частей речи в словенском языке» и Б. Корубина «Некоторые случаи семантической дифференциации форм множественного числа в македонском языке».

Проблеме «Принципы построения описательных грамматик современных славянских языков» было посвящено девять докладов и сообщений.

М. Стеванович рассмотрел вопрос о «Предмете синтаксиса в описательной (нормативной) грамматике». Он представил слушателям картину развития синтаксических взглядов от Миклошича до наших дней и в заключение обосновал свою точку зрения, согласно которой предметом синтаксиса являются не только предложения, взятые в целом, вместе с их членами и во взаимном их соотношении, но также и формы слов в функции обозначения таких связей и отношений.

З. Тополинская посвятила свой доклад «Методам описания синтаксических явлений в новой описательной грамматике польского языка». Она определила грамматику как упорядоченную совокупность правил использования словаря в целях семантической интерпретации текста и / или в целях порождения текста, допускающего семантическую интерпретацию, а также рассмотрела ряд понятий и методологических принципов, используемых в работе над описательной грамматикой польского языка (иерархия функций элементов текста, грамматикализованная информация, структура высказывания, предложения, группы и т. д.).

Р. Лясковский в докладе «Морфология в грамматике современного польского языка» говорил о компетенции морфологии и морфологии в описательной грамматике. В задачу морфологии входит, по мысли докладчика, анализ системы морфологических категорий данного языка, описание парадигматических отношений между формальными средствами выражения морфологических категорий (морфологическая парадигматика), дистрибутивная классификация морфем (морфологическая синтагматика).

М. Гроховский в сообщении «Синтаксические и семантические составляющие предложения (в свете анализа польской номинальной фразы)» затронул вопрос о соотношении синтагматической характеристики единиц текста (т. е. описания иерархии формальных составляющих текста) и их семантической характеристики (т. е. описания отношений между составляющими содержания текста).

Л. Андрейчин в докладе «Формальная классификация болгарских глаголов» рассмотрел возможность описания глаголов в болгарском языке в зависимости от их парадигматических и синтагматических свойств.

И. Ружичка в докладе «Динамич-

ность синхронного состояния языка» утверждал, что синхронное состояние языковой системы имеет динамическую сущность. Это находит свое выражение в расчленении системы на центральную и периферийную области, а также в «напряжении», существующем между синонимическими средствами языка, и объясняется тем, что синхронный срез в развитии языка — не только результат прежнего, но и источник дальнейшего развития языка.

Р. Ружичка в докладе «О месте абстрактных структур в описательной грамматике» привел аргументы в защиту тезиса о том, что в грамматических описаниях нельзя ограничиваться элементами, выступающими фонетически в наличующем предложении. Необходимо учитывать и представлять в описаниях гипотетические элементы, ибо только в этом случае можно адекватно отразить действительное структурное и семантическое построение и восприятие данного предложения.

Ф. Мико рассмотрел некоторые вопросы синтаксиса в докладе «Генеративный метод и стандартный структурный анализ в описании предложения», где представил главные результаты своего исследования, посвященного структуре предложения в словацком языке (см.: F. Miko, The generative structure of the Slovak sentence, 1972).

В сообщении Ф. Михалка «Об иронической функции копулятивной конъюнкции», прочитанном Г. Фаской, утверждалось, что в предложениях типа *Я — и не встану* в славянских и немецком языках копулятивная конъюнкция служит не для связи частей высказывания, а для иронического противопоставления темы и ремы.

Доклады и сообщения стали предметом оживленной дискуссии. Материалы симпозиума будут опубликованы Сербской академией наук и искусств.

На заключительном заседании было определено, что на следующем заседании будут обсуждены две проблемы: «Принципы построения описательных грамматик современных славянских языков» и «Порядок слов в славянских языках в его отношении к структуре предложения».

А. Е. Мигневич (Минск)

*

С 7 по 9 июня 1972 г. в Горьковском гос. ин-те иностранных языков им. Н. А. Добролюбова состоялась третья конференция, посвященная проблемам лингвистического описания разговорной речи. Конференция была организована проблемным советом по изучению иностранной разговорной речи.

Дискуссия по вопросу об определяющих признаках разговорной речи была начата докладом О. Б. Сиротининой (Саратов) «Непосредственность общения — определяющий фактор разговорной речи». По мнению докладчика, неофициальность общения создает разговорный стиль, противопоставленный книжным стилям. Литературно-разговорная речь в своем ядре есть устная форма разговорного стиля литературного языка, однако условие непосредственного общения столь существенно, что заставляет выделять разговорную речь в особое явление. Докладчик перечисляет ряд характерных особенностей разговорной речи, вызванных непосредственностью общения. Это — параллельное использование нескольких каналов передачи информации, избыточность, возможность переспроса, устранение заботы о форме передачи информации, максимальная спонтанность. Мысль о том, что неофициальность общения не может считаться определяющим параметром разговорной речи, поддерживали О. А. Лаптева (Москва), В. Ф. Егоров (Калуга), Б. Н. Головин (Горький), который в докладе «О языковом статусе разговорной речи» на вопрос, является ли разговорная речь подсистемой литературного языка, ответил отрицательно. В докладе К. А. Д о л и н и н а (Ленинград) «Об одной характерной черте синтаксиса спонтанной речи» разговорная речь рассматривалась прежде всего как речь спонтанная. Понимание разговорного языка как особой системы, организуемой прежде всего фактором неофициальности общения, было представлено в выступлениях Е. А. Земско́й (Москва) и Е. Н. Ш и р я е в а (Москва). Эту же проблему поставил в своем докладе «Подъязык „разговорной“ речевой сферы и совокупный лингвистический объект» Ю. М. С к р е б н е в (Горький). Он настаивает на несостоятельности поисков реальных границ объекта исследования (в рамках различных терминологий — «разговорной речи», «обиходной речи», «разговорного подъязыка», «разговорного субъязыка» и т. д.), учитывая его дискретность.

Развитие науки о разговорной речи и практика преподавания иностранных языков показала всю необходимость постановки и решения вопроса о разговорной норме. Этому был посвящен доклад О. А. Л а п т е в о й (Москва) «Характер нормативности устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка». Характер нормы в разговорной речи определяется, по мнению докладчика, двумя моментами: автоматизмом устно-речевого построения, с одной стороны, и его слабоформальностью, с другой. Устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка свойственны нормы трех родов: общелитературные, общелитера-

турные смещенные и собственно устно-разговорные. Большой динамизм устно-литературной нормы создает условия для возникновения своеобразных «возрастных» нормативных систем, которые могут совмещаться во времени в пределах одной эпохи. О. Б. Сиротинина (Саратов) высказала мысль о том, что в разговорной речи существуют два вида нормы: а) норма общепринятая, когда смысл речи понятен вне ситуации, и б) норма, зависящая от ситуации. При обучении русскому языку следует ориентироваться на первый вид нормы.

Проблема экономии речи была поднята в докладе Г. Г. И н ф а н т о в о й (Таганрог) «О системном подходе к изучению явлений экономии в синтаксисе современной русской разговорной речи». По мнению докладчика, способность к экономии сегментных и сверхсегментных средств — типичное свойство разговорной речи. Свойство, проявляющееся фактами не окказиональными, а стабильными, реализует определенную систему. В связи с этим к синтаксису разговорной речи применим принцип системного подхода.

Ряд докладов был посвящен описанию характерных особенностей разговорной речи.

Тезис о разговорной речи как особой системе получил развитие на конкретном материале в докладе Е. А. Земско́й (Москва) «Наблюдения над синтагматикой русской разговорной речи». В докладе было показано, что им. падеж существительных, а также инфинитив глагола имеют в разговорной речи такую синтагматику и соответственно такие функции, которые кодифицированному языку не свойственны (больше число означаемых). По мнению Е. А. Земско́й, выявить и верно интерпретировать эти функции можно только в том случае, если рассматривать разговорную речь как самостоятельную языковую систему. Вопрос о степени изменения содержания термина в бытовой ситуации был поставлен в докладе Л. В. М о р о з о в о й (Горький). На важность валентных связей при определении лингвистических условий образования окказионализмов в речи указала М. С. Р е т у н с к а я (Горький). Н. Д. А р у т у н о в а (Москва) в своем докладе «О типах диалогического стимулирования» указывает на то, что каждая реплика наряду с прямым диалогическим стимулом содержит ряд косвенных стимулов, открывающих возможности разного ведения разговора.

Особый интерес у исследователей вызывает синтаксис разговорной речи. Кроме доклада Е. А. Земско́й, ему были посвящены доклады Т. И. Л о м з о в о й (Горький) «Адъективные словосочетания в разговорной речи», Г. В. М и л ю к о в а (Горький) «Функции порядка слов в простом вопросительном предложении

французского языка». К. А. Долинин фиксирует в синтаксисе спонтанной речи достаточно длинные и сложные предложения.

Особые конситуативные высказывания, т. е. такие высказывания, которые, будучи вырваны из конситуации, не могут быть верно осмыслены, отметил в своем докладе «О некоторых аспектах описания конситуативных высказываний разговорного языка» Е. Н. Ширяев. Примером такого высказывания может быть фраза *звони на лыжах*. Смысл этой фразы может быть вербализован различными синтаксическими структурами. В разговорном языке конситуативное высказывание в структурно-синтаксическом отношении следует считать самостоятельной моделью. В докладе О. Б. Сиротиной и коллектива студентов (Саратов) «Семантические модели предложения в разговорной речи» были отмечены особенности в реализации моделей, в использовании разновидностей моделей. Попыткой применить принцип парадигмы к синтаксису разговорной речи интересен доклад В. Ф. Егорова (Калуга) «Конструкции разговорной речи и синтаксическая парадигматика». Синтаксис национального языка, включающий и предложения, встречающиеся в разговорной речи, предстает в докладе в виде единого целого с центром, промежуточной областью и периферией. Вопросы парадигматики в плане разработки моделей предложений, выражающих экспрессивность, затрагиваются в докладе Э. А. Трофимовой (Ростов), сделанном на материале английского языка.

Проблему выражения эмоционального содержания предложения затронул в своем сообщении В. Б. Лебедев (Горький). Коммуникативному синтаксису был посвящен доклад И. И. Туранского (Горький) «К проблеме бинарности коммуникативного членения двусоставных безглагольных предложений».

Фонетике были посвящены сообщения В. М. Бухарова (Горький) «Наблюдение над реализацией немецких дифтонов в потоке речи» и доклад Р. Р. Каспранского (Горький) «Речевая омофония», в котором докладчик провел интересные параллели, обнаруживающие общность природы фонетических и синтаксических явлений (редукция слова и предложения).

Одним из центральных вопросов, обсуждавшихся на конференции, было соотношение разговорной речи и функциональных стилей.

Т. Г. Винокур (Москва) в докладе «Разговорная речь и стиль» предлагает рассматривать разговорную речь не как стилистическое единство, а как функциональную языковую подсистему, имеющую

свои внутренние стилистические градации. Они основаны на внеязыковых и внутриязыковых условиях функционирования разговорной речи и связаны с ее структурными особенностями. В то же время реально существует и некая общая стилистическая характеристика разговорной речи как узуальной языковой свойство, которое подтверждается стилистической интерпретацией структурных признаков разговорной речи в других функциональных языковых подсистемах. Принципиальная разница между разговорной речью и художественным, научным стилями была показана в докладе О. Б. Сиротиной и коллектива студентов. Разговорный стиль в этой системе занимает особое место. Активность разговорного стиля по отношению к художественному, публицистическому, техническому отмечается С. С. Беркнером (Воронеж). Анализ разговорной лексики в аспекте сопоставительной стилистики в разных языках обнаруживает сходные тенденции в использовании различных лексико-семантических пластов (О. С. Сапожникова, Горький). Общность семантических и семантико-грамматических особенностей стиля разговорной речи по сравнению со стилем авторского текста художественной литературы и технического стиля по разным языкам (французский, испанский, румынский) была отмечена С. И. Кауфманом (Коломна). Эту же проблему затронул В. А. Портяников (Горький) в докладе «Функционально-стилистические особенности одного типа обиходно-разговорных моделей немецкого предложения».

Частных вопросов английской разговорной речи касались в своих сообщениях Б. А. Князев (Уфа) «К вопросу о лексико-семантическом составе современной английской разговорной речи», Р. Р. Ковнер и Е. С. Смушкевич (Магнитогорск) «*Have got* как эквивалент *have* в разговорном английском языке», Я. Г. Биренбаум (Магнитогорск) «Союз *like* в разговорном языке», А. И. Литвиненко (Горький) «К вопросу о грамматической правильности в разговорной речи современного английского языка».

Участники конференции выразили удовлетворение работой конференции, которая дала возможность подвести итоги всему ценному в изучении разговорной речи за последние годы, и подчеркнули необходимость продолжения начатой Горьковским гос. пед. ин-том иностранных языков традиции регулярного созыва таких конференций.

З. Л. Новоженова (Саратов)

CONTENTS

Articles: A. V. Desnitskaja (Leningrad). Problems of a historical dialectology of the Albanian language; **Discussions:** I. R. Galperin (Moscow). On notions «style» and «stylistics»; A. I. Žuravskij (Minsk). On some differences between written and spoken forms of the Byelorussian literary language; L. P. Krysin (Moscow). Concerning social differences of language variants usage; L. S. Barkhudarov (Moscow). On the question about surface and deep structure of sentence; R. K. Potapova, N. G. Kamyšnaja (Moscow). Syllabication from the position of segmenting function of speech; **Materials and notices:** M. N. Bogolyubov (Leningrad). Arameic legislative inscription of Aśoka from Afghanistan; E. I. Tsarenko (Donetsk). On the functional characteristic of the laryngealisation in the quechua language; V. E. Sevyakova (Moscow). Actual division of the narrative sentence in English; V. N. Kholčeva (Moscow). Some questions of word-formation theory. **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: A. V. Desnitskaja (Léningrad). Problèmes de la dialectologie historique de l'albanais; **Discussions:** I. R. Galperine (Moscou). Sur les notions de style et de stylistique; A. I. Žouravskij (Minsk). Sur quelques différences entre les formes écrites et parlées de la langue biélorusse littéraire; L. P. Krysin (Moscou). A propos des différences sociales dans l'emploi de variantes dans une langue; L. S. Barkhudarov (Moscou). A propos des structures superficielles et profondes de l'énoncé; R. K. Potapova, N. G. Kamyšnaja (Moscou). Syllabication du point de vue de la fonction segmentative du discours; **Matériaux et notices:** M. N. Bogolyubov (Léningrad). Une inscription législative arméenne d'Asoka en Afghanistan; E. I. Tsarenko (Donetsk). La caractéristique fonctionnelle de la laryngalisation en quechua; V. E. Sevyakova (Moscou). Division actuelle de la phrase narrative en anglais; V. N. Kholčeva (Moscou). Quelques questions de la théorie de la dérivation; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. И. Шеленкова*

Сдано в набор 2/III-1973 г. Т-07046 Подписано к печати 8/V-1973 г. Тираж 7260 экз.
Зак. 1828 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 14,0. Бум. л. 5,0. Уч.-изд. л. 15,8

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах).

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их — в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величины должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью; чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями; все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два — три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).